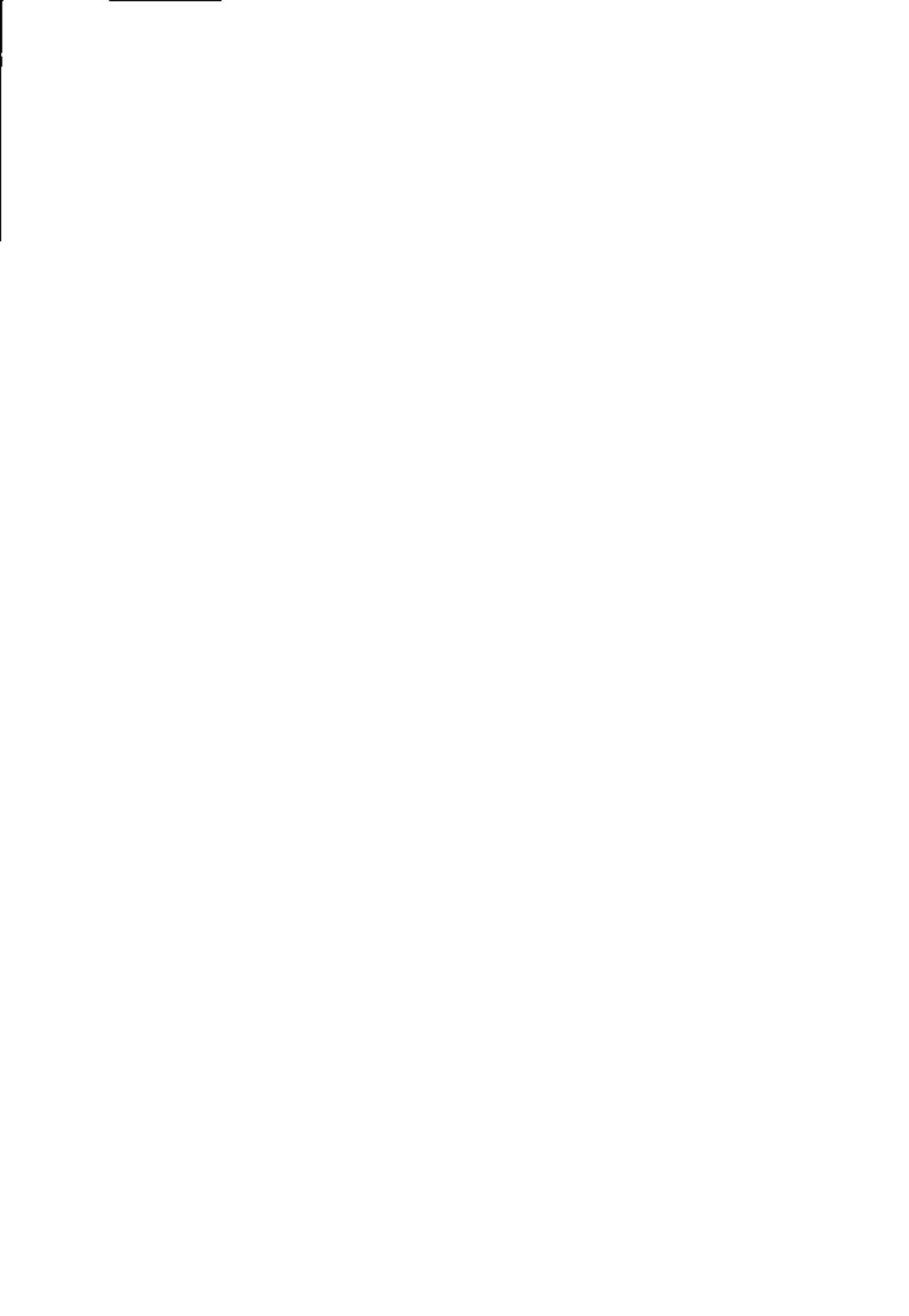


**АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОЙ
РУСИСТИКИ**

**ДИАХРОНИЯ
И СИНХРОНИЯ**

ВЯИ



**ВОПРОСЫ
РУССКОГО
ЯЗЫКОЗНАНИЯ**

Выпуск VI

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РУСИСТИКИ:

ДИАХРОНИЯ И СИНХРОНИЯ

**Издательство
Московского университета
1996**

Ответственные редакторы:
К. В. Горшкова, М. Л. Ремнева

Составители:
Е. А. Галинская, Е. Б. Степанова

Рецензенты:
доктор филологических наук В. А. Белошапкина,
доктор филологических наук В. К. Журавлев,
доктор филологических наук Н. Г. Комлев

**Актуальные проблемы современной русистики: Диахрония
А 43 и синхрония.**—М.: Изд-во МГУ, 1996.—272 с.

ISBN 5-211-03572-0

VI выпуск "Вопросов русского языкознания" включает в себя исследования по проблемам диахронной и синхронной русистики. Здесь рассматриваются вопросы исторической фонетики и исторического словообразования русского языка, а также некоторые аспекты нормы церковнославянского языка восточнославянской редакции. Ряд статей посвящен проблемам прагматики и морфологии.

Для специалистов в разных областях русистики, преподавателей, аспирантов, студентов.

077 (02)-96-заказное

ББК 81

© Филологический факультет
МГУ им. М. В. Ломоносова, 1996

© Галинская Е. А., Степанова Е. Б. —
составление, 1996

ISBN 5-211-03572-0

© Коллектив авторов, 1996

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Темчин С. Ю.</i> Установление направления правки в церковнославянском тексте: формы имперфекта в Остромировом евангелии.	7
<i>Шевелева М. Н.</i> «Житие Андрея Юродивого» как уникальный источник сведений по исторической фонетике русского языка (Новые данные о рефлексах сочетаний редуцированных с плавными).	20
<i>Галинская Е. А.</i> Фонетика смоленского диалекта начала XVII века.	66
<i>Шимчук Э. Г.</i> Из истории семантики и словообразования (Др.-русск. <i>пакость</i> и <i>паки</i>).	118
<i>Кукушкина О. В.</i> О механизме развития непространственных значений у приставок.	135
<i>Степанова Е. Б.</i> Семантика и употребление косвенных вопросов с лексемой «ли».	151
<i>Клобуков Е. В.</i> Типы фатических ситуаций.	185
<i>Безяева М. Г.</i> Русский диалог сквозь призму систем других языков.	208
<i>Шахмайкин А. М.</i> Проблема лингвистического статуса категории рода.	226

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

На филологическом факультете Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова было подготовлено в период с 1976 по 1984 гг. и вышло в свет в издательстве МГУ пять сборников серии «Вопросы русского языкознания» (под редакцией К. В. Горшковой) *. Настоящее издание возрождает эту, прерванную более десяти лет назад, традицию, включая в себя ряд статей по актуальным вопросам современной русистики. Здесь собраны исследования, посвященные как историческому, так и синхронному анализу русского языка в разных его аспектах, причем во всех работах учитываются новейшие достижения лингвистической мысли. В дальнейшем выпуск сборников серии «Вопросы русского языкознания» предполагается сделать регулярным.

* Вопросы русского языкознания. Вып. I. М., 1976; Вопросы русского языкознания. Вып. II. М., 1979; Вопросы русского языкознания. Вып. III. Проблемы теории и истории русского языка. М., 1980 (в качестве IV выпуска был издан сборник «Этимологические исследования по русскому языку» IX. М., 1981); Вопросы русского языкознания. Вып. V. История русского языка в древнейший период. М., 1984.

С. Ю. Темчин

**УСТАНОВЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРАВКИ
В ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОМ ТЕКСТЕ:
ФОРМЫ ИМПЕРФЕКТА
В ОСТРОМИРОВОМ ЕВАНГЕЛИИ**

При изучении древнейшего периода истории церковнославянского языка важно учитывать принципиальное различие между языком повседневного общения (объектом исторической грамматики) и литературным языком (объектом истории литературного языка), связанное со взаимоотношением архаизмов и инноваций. Формы, однозначно определяемые в исторической грамматике как инновационные, в отдельных памятниках письменности могут быть **исконными**, если автор текста ориентировался на языковую систему инновационной диалектной зоны. При смене языковой установки переписчиков, обусловленной, например, бытованием такого памятника в иных диалектных условиях, в текст могут вводиться **новые** для него элементы, являющиеся архаизмами с точки зрения исторической грамматики. Поэтому в литературном языке, в отличие от диалектного, взаимоотношения архаизмов и инноваций оказываются неоднозначными, непредсказуемыми и могут меняться от текста к тексту, а само определение форм как архаичных или инновационных в исторической грамматике и истории литературного языка может не совпадать.

Нестяженные формы имперфекта древнейших славянских памятников единогласно признаются архаичными, а стяженные — инновационными. Первые преобладают в Зографском и Мариинском евангелиях, несколько реже употребляются они в Ассеманиевом евангелии, Синайской псалтыри, Синайском требнике и почти полностью отсутствуют в Саввиной книге. Преобладание нестяженных форм в Супрасльской рукописи А. Вайан

связывает со вторичной архаизирующей правкой **-ѣхъ, -ахъ** → **-ѣахъ, -аахъ**, в то время как еще большее их преобладание в Остромировом евангелии (далее — **Ос**) объясняет иначе, видя в нем воспроизведение старых форм ранних текстов [см. Вайан 1952: 268–269]. Такое объяснение ставит **Ос**, в котором стяженные формы имперфекта составляют всего 9,5 %, в один ряд с глаголическими Зографским, Мариинским и Ассеманиевым евангелиями. Более того, **Ос** представляет нестяженные формы даже в тех местах текста, в которых все три глаголических списка содержат уже стяженные формы ¹, напр.:

Мт 26.26 **даѣаше Ос** 158г 3 (ЧТ ВЕЛ ЛИТ) — **даѣше ЗОГР, МАРН, АС;**

Мт 27.48 **напаѣаше Ос** 190в 8–9 (ЕВ СТР 7) — **напаѣше ЗОГР, МАРН, АС;**

Л 8.5 **сѣѣаше Ос** 94в 4 (ВС 4 НЛ) — **сѣѣаше ЗОГР, МАРН, АС.**

Все же существуют основания считать нестяженные формы имперфекта **Ос** инновационными, возникшими, подобно аналогичным формам Супрасльской рукописи, в результате правки текста.

Во-первых, в **Ос** полностью отсутствуют архаичные окончания 2 л. мн. ч. и 2 и 3 л. дв. ч. имперфекта **-ашете, -ашета**, которых следовало бы ожидать, если архаичные формы имперфекта переносились бы в **Ос** по традиции из протографов. Такие окончания можно встретить, например, в русской части Саввиной книги XI в. и в Архангельском евангелии.

¹ При обозначении апракосных чтений приняты следующие сокращения: п — Пасха, пд — Пятидесятница, нл — «новое лето», пс — пост, св — Светлая неделя, вел — Великая (Страстная) неделя, утр — чтение на утрени, лит — чтение на литургии, ев стр — страстное евангелие, ев вс — воскресное евангелие, а также общепринятые сокращения названий дней недели и месяцев.

Во-вторых, в ОС обнаруживаются примеры гиперкоррекции, однозначно говорящие о том, что на одном из этапов истории текста в нем проводилась регулярная и целенаправленная правка *a* → *aa* в формах имперфекта. Таковы гиперкорректные формы: 1) с утроенным гласным в форме имперфекта *ġāaaax̄* 131в 1–2 (СБ 3 ПС); 2) с удвоенным гласным в глагольных формах, не допускающих подобного удвоения: инфинитив *ġāaati* 171в 18, 171г 12 (ЕВ СТР 1), 235г 17 (ОКТ 25), причастие *ġāaal̄* 55а 5 (ВС ПД); 3) в именной конструкции *въ притъчаахъ* 173а 9–10 (ЕВ СТР 1), в которой гласный был удвоен благодаря сходству с формами 1 л ед. ч. имперфекта и аориста на *-ахъ*. Эти примеры гиперкоррекции позволяют утверждать, что нестяженные формы имперфекта в ОС появились в результате правки *a* → *aa* соответствующих глагольных форм и, следовательно, являются в данном списке инновационными. Гиперкорректные формы возникают в процессе реализации установки писца последовательно заменять одни элементы текста другими. При этом в самих примерах гиперкоррекции воспроизводятся инновационные элементы, которые могут служить надежным критерием при установлении не только самого факта исправления текста, но и направления правки.

В-третьих, дистрибуция стяженных и нестяженных форм имперфекта в ОС обнаруживает зависимость от литургического членения текста; стяженные формы встречаются лишь в некоторых циклах апракосных чтений, в то время как нестяженные употребляются регулярно на протяжении всего списка. Подобное распределение конкурирующих вариантов возникает в результате компиляции текста из источников, созданных в русле различных традиций орфографии и языка, с последующей правкой всего текста [см. Темчин 1993: 15–16]. При этом важно, что на протяжении всей рукописи встречаются именно инновационные элементы, возникшие в результате послекомпиляционной правки, в то время как варианты, ограниченные лишь некоторыми циклами апракосных чтений, представляют собой гипокорректные (не-

исправленные) формы, перенесенные в список из протографов и, следовательно, являющиеся архаизмами. Распределение в тексте Ос стяженных и нестяженных форм имперфекта также говорит об инновационности последних.

Ограниченная дистрибуция стяженных форм в Ос может быть выявлена, если фиксировать, в каких именно апракосных чтениях и в каком количестве они встречаются.

В тексте, написанном первым писцом (л. 2–24), насчитывается 18 несомненных форм стяженного имперфекта: *подобаше* 5б 11 (ВТ СВ), *дашаше* 5в 16 (там же), *стопаше* 6а 10–11 (СР СВ), *живѣше* 6б 12–13 (там же), *крышаше* 9в 18 (СБ СВ), *вѣхѣ* 9г 4 (там же), *вѣхѣ* 10в 17 (ВС 1 П), *вѣше* 12а 5 (ПН 2 П), *вѣдѣше* 12б 5 (там же), *искахѣ* 13а 17–18 (СР 2 П), *разараше* 13б 2 (там же), *гѣлаше* 13б 3–4 (там же), *вѣсташе* 16б 17 (СБ 2 П), *хотѣхѣ* 16в 9 (там же), *имѣше* 18б 16 (ВС 3 П), *болѣше* 18в 8 (ПН 3 П), *идѣше* 18г 16 (там же), *мышаше* сж 23а 10–11 (ВС 4 П).

Еще 30 подобных форм вышли из-под руки второго писца, создавшего основную часть текста Ос (л. 25–294): *хотѣше* 25б 7–8 (ВТ 4 П), *вѣровахѣ* 25в 12 (там же), *искахѣ* 26а 1 (там же), *дивлахѣ* сж 26б 4–5 (СР 4 П), *молахѣ* 41г 18–42а 1 (ВТ 6 П), *подобаше* 85б 5–6 (ВС 16 ПД), *можаше* 139б 17 (СБ 6 ПС), *подобаше* 150б 14–15 (ВТ ВЕЛ), *прѣдашаше* 177а 12–13 (ЕВ СТР 2), *внлахѣ* 187в 2–3 (ЕВ СТР 5), *внлахѣ* 188а 4 (ЕВ СТР 6), *далахѣ* 188б 14–15 (там же), *подражахѣ* 191в 13–14 (ЕВ СТР 8), *прѣщаше* 192а 10–11 (там же), *стоплахѣ* 192г 10 (там же), *стрѣжахѣ* 199а 18 (ПТ ВЕЛ ЛИТ), *оучаше* 227г 15 (СЕНТ 3), *оугнѣтахѣ* 243б 2 (ДЕК 4), *спѣаше* 257в 8 (ЯНВ 1), *рѣпѣтахѣ* 268в 17 (МАРТ 9), *моуждашеть* 279а 18–б 1 (ИЮНЬ 24), *ташаше* сж 279в 1–2 (там же), *стопаше* 281в 18–г 1 (ИЮНЬ 30), *гѣлаше* 284а 18–б 1 (АВГ 6 УТР), *гнѣваше* сж 287б 2–3 (АВГ 29), *искахѣ* 290г 17 (ПТ ВЕЛ ЧАС 3), *сѣвѣдѣтельствовахѣ* 291а 4–5 (там же), *сѣвѣдѣтельствовахѣ* 291а 9–10 (там же),

мѣчаше 291б 10–11 (там же), крѣплаше сѧ 293г 14–15 (ПТ ВЕЛ ЧАС 6) ².

Как видим, 46 стяженных форм из 48 приходится на чтения цикла Пасхи, Великой (Страстной) недели и некоторые чтения месяцеслова — именно эти части краткого апракоса, согласно выдвинутому ранее предположению, могли составлять первоначальный славянский перевод Евангелия [см. Темчин 1991: 34]. В циклах же от Пятидесятницы до Великой недели, составляющих почти треть текста Ос (л. 58а–143в), представлены всего два примера, причем форма МТ 25.25 *подоваше* (ВС 16 ПД) могла быть перенесена из чтения на вторник Великой недели. В чтениях срединных циклов в протографах Ос могли быть представлены и иные формы стяженного имперфекта, о чем свидетельствует пример Л 5.1 *стоаше* (ИЮНЬ 30) с отсылкой к чтению ВС 1 НЛ, в котором, однако, представлена уже нестяженная форма *стоаше* 89в 13. Архаичность описанной дистрибуции подчеркивается тем фактом, что она одинаково реализуется в частях Ос, написанных разными писцами, и, следовательно, имела место уже в более или менее отдаленных протографах.

При замене стяженных форм имперфекта нестяженными путем удвоения гласного *а* → *аа* переписчик неизбежно должен был столкнуться с проблемой разграничения форм стяженного имперфекта и аористных форм в тех случаях, когда их окончания совпадают. Если этот писец был восточнославянином, его задача объективно затруднялась тем обстоятельством, что язык повседневного общения в восточной Славии в то время, скорее всего, не знал имперфекта как особой временной формы [см. Хабургаев 1991: 45–51], и, следовательно, переписчик не имел возможности опираться на временную семантику и собственное языковое чу-

² М. М. Козловский в ряду форм стяженного имперфекта цитирует написание Ос *сѣмѣаше* 210б 12 и *вѣлаахъ* сѧ 244г 14–15 [см. Козловский 1885: 80–83], которые в действительности являются формами нестяженного имперфекта.

тъе. В таких условиях адекватно справиться с задачей практически невозможно. Даже априорно можно предположить, что писец оставит неисправленным некоторое количество форм стяженного имперфекта (примеры гипокоррекции) и в то же время удвоит гласный элемент в формах аориста (примеры гиперкоррекции), причем процент таких ошибок будет значительным.

Чтобы обнаружить такие примеры, необходимо проделать определенную текстологическую работу, используя показания древнейших глаголических списков текста — Зографского, Мариинского и Ассеманиева евангелий. Регулярное употребление в этих рукописях нестяженных имперфектных форм и особых окончаний имперфекта во 2 л. мн. ч. и 2 и 3 л. дв. ч. позволяет с достаточной степенью надежности ориентироваться на их показания (в случаях, когда данные трех списков совпадают или по крайней мере не противоречат друг другу) при разграничении форм аориста и стяженного имперфекта в списках, в которых они формально не различаются. Саввину книгу в данном случае использовать невозможно, поскольку она практически не знает нестяженного имперфекта и, следовательно, сама не различает аорист и имперфект в формах с тождественными окончаниями.

В целом ряде случаев ОС содержит нестяженные формы имперфекта в тех местах текста, в которых глаголические списки употребляют аорист:

МТ 9.28 глааста ОС 68в 1 (ВС 7 ПД) — гласте ЗОГР, МАРН, гласта АС.

Л 12.3 глаасте ОС. 234г 18 (ОКТ 25) — гласте ЗОГР, МАРН, АС.

Л 24.21 надъглаахомъ сѧ ОС 5а 1 (ВТ СВ) — надъбахомъ сѧ ЗОГР, АС, но надъемъ сѧ МАРН.

И 4.42 слышаахомъ ОС 32в 12–13 (ВС 5 П) — слышахомъ ЗОГР, МАРН, АС.

И 8.40 глаахъ ОС 29в 12 (СВ 4 П) — глахъ ЗОГР = АС, глахъ МАРН.

- И 15.3 *ѣлаахъ* Ос 49а 1 (ПН 7 П) — *ѣлахъ* ЗОГР, МАРН, АС.
- И 15.11 *ѣлаахъ* Ос 169а 14 (ЕВ СТР 1) — *ѣлахъ* ЗОГР, МАРН, АС.
- И 15.15 *съказаахъ* Ос 169 в 9 (ЕВ СТР 1) — *съказахъ* ЗОГР, МАРН, АС.
- И 16.4 *ѣлаахъ* Ос 49в 9 (ВТ 7 П) — *ѣлахъ* ЗОГР, МАРН, АС.
- И 16.6 *ѣлаахъ* Ос 49г 5 (ВТ 7 П), 171б 8–9 (ЕВ СТР 1) — *ѣлахъ* ЗОГР, МАРН, АС.
- И 16.25 *ѣлаахъ* Ос 51б 17 (ЧТ 7 П), 173а 5–6 (ЕВ СТР 1) — *ѣлахъ* ЗОГР, МАРН, АС.
- И 16.33 *ѣлаахъ* Ос 58а 8 (ЧТ 7 П), 173г 3–4 (ЕВ СТР 1) — *ѣлахъ* ЗОГР, МАРН, АС.
- И 17.26 *съказаахъ* Ос 176б 10 (ЕВ СТР 1) — *съказахъ* ЗОГР, МАРН = АС.
- И 18.20 *ѣлаахъ* Ос 178б 17, 178в 7 (ЕВ СТР 2) — *ѣлахъ* (bis) ЗОГР, АС, в МАРН утрата текста.
- И 18.21 *ѣлаахъ* Ос 178в 12–13 (ЕВ СТР 2) — *ѣлахъ* ЗОГР = АС, в МАРН утрата текста.
- И 18.23 *ѣлаахъ* Ос 178г 8 (ЕВ СТР 2) — *ѣлахъ* ЗОГР, АС, в МАРН утрата текста.

Ввиду наличия в Ос явных следов исправления стяженных форм имперфекта на нестяженные наиболее вероятно следующая интерпретация приведенных выше соответствий: глаголические списки содержат формы аориста (не стяженного имперфекта!), а в Ос представлены гиперкорректные примеры, обусловленные правкой текста. Перечисленные выше 20 словоформ приходятся на следующие апракосные чтения (в скобках указывается количество употреблений): ВТ СВ (1), СБ 4 П (1), ВС 5 П (1), ПН 7 П (1), ВТ 7 П (2), ЧТ 7 П (2), ВС 7 ПД (1), ЕВ СТР 1 (6), ЕВ СТР 2 (4), ОКТ 25 (1). Как видим, 19 гиперкорректных примеров из 20 приходятся на предположительно древнейшие чтения цикла Пасхи, Великой недели и некоторые чтения месящеслова. О правомерности интер-

претации приведенных выше форм нестяженного имперфекта как гиперкорректно исправленных из аористных говорит тот факт, что они встречаются в тех же чтениях Ос, что и несомненно гиперкорректные написания: ЕВ СТР 1 — шесть словоформ, соответствующих аористу глаголических списков и написания *ѣлаати* (bis) и *въ притъчаахъ*; ОКТ 25 — *ѣлаате* в Ос (при *ѣласте* в ЗОГР, МАРН, АС) и инфинитив *ѣлаати*.

В Ос насчитывается еще 20 форм нестяженного имперфекта с тождественными аористным окончаниями, которые имеют прямые соответствия хотя бы в одном из глаголических списков и потому могут быть исконными: *ндаста* 5в 3–4 (ВТ СВ), *нждаста* 5в 6 (там же), *зрмста* 17г 7 (ВС 3 П), *бѣаста* 60в 1 (ВС 2 ПД), *зѣваста* 76в 5 (СБ 12 ПД) *вѣдѣахъ* 85а 4 (ВС 16 ПД), *вѣдѣахъ* 139г 13 (СБ 6 ПС), *вѣдѣахъ* 150а 11 (ВТ ВЕЛ), *сѣдѣахъ* 161г 8 (ЧТ ВЕЛ ЛИТ), *ндаста* 203б 18-в 1 (СБ ВЕЛ), *ндаста* 207в 2–3 (ЕВ ВС 7), *течааста* 207в 4 (там же), *бѣаста* 211в 8 (СЕНТ 1 НАЧАЛО ИНДИКТА), *помышмаасте* 248в 2–3 (ДЕК 20), *хждааста* 256в 11–12 (ЯНВ 1), *искааста* 256г 15–16 (там же), *вѣдѣахъ* 260г 11 (ЯНВ 7), *вѣдѣахъ* 261а 6–7 (там же), *бѣаста* 277г 5 (ИЮНЬ 24), *бѣаста* 277г 17 (там же).

Таким образом, ровно половина нестяженных форм имперфекта (20 из 40) представляют собой преобразованные гиперкорректным образом аористные формы. Следовательно, производивший данную правку писец не различал аорист и стяженный имперфект с тождественными окончаниями, допуская ошибку в каждом втором случае (классический пример случайного распределения).

При осуществлении правки несколько форм стяженного имперфекта писец оставил неисправленными, просмотрев их либо приняв за аористные. Именно на такую интерпретацию указывают параллели глаголических списков:

МТ 27.44 *поношаста* Ос 190а 16–17 (ЕВ СТР 7) — *поношаашете* ЗОГР, *поношаасте* МАРН, в АС отсутствует.

- М 15.47 зьрѣста Ос 194г 3–4 (ЕВ СТР 10) — зьрѣшете
ЗОГР, МАРН, зьрѣста АС, ср. зьрѣста Ос 17г 7
(ВС 3 П).
- Л 2.49 искаста Ос 257б 10 (ЯНВ 1) — искашета МАРН, АС,
искашета ЗОГР.
- Л 9.31 гласта Ос 283г 12–13 (АВГ 6 УТР) — глашете
МАРН, глаше (sic!) ЗОГР, в АС отсутствует.
- Л 24.14 бесѣдоваста Ос 4б 17 (ВТ СВ) — бесѣдовашете
ЗОГР, МАРН, бесѣдоваста АС.
- Л 24.35 повѣдаста Ос 6а 1 (ВТ СВ) — повѣдашете МАРН,
повѣдасте АС, в ЗОГР утрата текста.
- И 9.22 вокаста сѧ Ос 39г 7 (ВС 6 П) — вокашете сѧ ЗОГР,
МАРН = АС.

В тех случаях, когда показания глаголических списков различаются, определить стяженные формы имперфекта в Ос помогают имперфектные формы греческого текста ³, которые практически всегда соответствуют имперфекту первых славянских переводов (лишь очень редкие греческие формы имперфекта с аористным значением переводились славянским аористом) [см. Темчин 1989: 20–22]. Таким образом определены следующие формы стяженного имперфекта Ос:

- Л 2.48 искаховѣ Ос 257б 7–8 (ЯНВ 1) — искааховѣ МАРН,
АС, искаховѣ ЗОГР — греч. ἐζητοβμεν (вариант: ζηтоб-
μεν).
- Л 7.41 вѣста Ос 223а 11 (СЕНТ 16) — вѣшете ЗОГР,
вѣсте МАРН, АС — греч. ἦσαν.
- Л 24.16 дръжасте сѧ Ос 4в 8 (ВТ СВ) — дръжаашете сѧ
ЗОГР, МАРН, [дръж]асте сѧ АС — греч. ἐκρατοβντο.
- И 17.12 съблюдахъ Ос 48а 10–11 (ВС 7 П) и 175а 2–3
(ЕВ СТР 1) — съблюдаахъ АС, съблюдахъ МАРН, в
ЗОГР утрата текста — греч. ἐτήρουν.

³ Нами использовалось критическое издание Г. фон Зодена [1913].

Таким образом, в Ос обнаружено 12 форм стяженного имперфекта с тождественными аористным окончаниями. Все они также приходятся на предположительно древнейшие апракосные чтения.

	Формы имперфекта с окончаниями				Гиперкорректные написания	
	собственно имперфектными		омонимичными аористным		нестяженный имперф. из аор.	иные
	стяженными	нестяженными	стяженными	нестяженными		
Пасха:						
1-й писец						
л. 2–16	14	23	3	2	1	
л. 17–24	4	20		1		
2-й писец						
л. 25–56	5	72	2		7	1
Цикл Пятидесятницы	1	30		3	1	
Цикл «нового лета»		93				
Цикл поста	1	50		1		1
Великая неделя:						
чтения на литургии	2	37		3		
страстные евангелия	7	54	3		10	3
часы Великой пятницы	5	14				
Воскресные евангелия		12		2		
Месяцеслов	9	126	4	8	1	1
Всего	48	531	12	20	20	6

В представленной таблице показано положение в Ос всех рассмотренных в статье примеров. В тексте, написанном первым писцом, учитывается граница между разными почерками в непо-

средственном протографе **ОС**, проходящая после л. 16 Остромирова евангелия [см. Фортунатов 1908: 1416–1479].

Как видим, наиболее высокая норма употребления стяженных форм имперфекта наблюдается в тексте **ОС**, написанном первым писцом: на л. 2–16 она составляет 40 %, на последующих восьми листах — 16 %. В то же время в тексте первого писца обнаружен всего один пример гиперкоррекции.

В тексте второго писца **ОС** употребление стяженных форм имперфекта зависит от литургического членения текста: эти формы встречаются регулярно лишь в чтениях пасхального цикла, Великой недели и в некоторых чтениях месящеслова — здесь наблюдается наиболее низкая норма их употребления, равная 11 %. На те же чтения приходится и наибольшее количество гиперкорректных написаний. Чтения же циклов Пятидесятницы, «нового лета» и поста, которые могут быть вторичными в составе краткого апракоса (в таблице они выделены), практически не знают стяженных форм имперфекта, примеры гиперкоррекции здесь также редки. Интересно, что текст воскресных евангелий объединяется по данному признаку с чтениями этих вторичных (срединных) циклов.

Такое распределение форм можно объяснить следующим образом:

1. Формы стяженного имперфекта в более или менее отдаленном протографе **ОС** регулярно употреблялись лишь в наиболее древних чтениях пасхального цикла, Великой недели и в некоторых чтениях месящеслова, в то время как иные чтения первой (подвижной) части этого списка стяженных форм имперфекта практически не знали. Данное различие объясняется компилятивным характером краткоапракосного текста, легшего в основу отраженной в **ОС** текстологической традиции.

2. Не позднее как в непосредственном протографе **ОС** началось исправление стяженных форм имперфекта на нестяженные,

которые, по крайней мере в указанных выше чтениях, являются инновационными. Первый писец этого протографа (л. 2–16 в Ос) провел данную правку не слишком радикально, оставив более трети форм неисправленными. Второй писец (после л. 16 в Ос) производил замену форм гораздо более последовательно, оставив незначительное количество (16 %, судя по л. 17–24 Ос) гипокорректных примеров в тех чтениях, в которых ранее они были нормативными. Именно этому писцу, скорее всего, принадлежат наблюдаемые в тексте Ос гиперкорректные написания (в том числе формы нестяженного имперфекта, исправленные из аористных и говорящие о практическом неразличении аориста и имперфекта с тождественными окончаниями). В чтениях циклов Пятидесятницы, «нового лета» и поста, которые, судя по всему, знали лишь единичные формы стяженного имперфекта, могла проводиться лишь спорадическая правка, поэтому и гиперкорректные примеры в них редки.

3. Писцы, принявшие непосредственное участие в создании Ос, существенно не меняли текст по данному признаку. Первый писец списка (л. 2–24), видимо, не стремился к замене стяженных форм имперфекта нестяженными, просто перенося в текст написания протографа, о чем говорит различная норма употребления стяженных форм на л. 2–16 и л. 17–24, а также практическое отсутствие гиперкорректных примеров в тексте, написанном его рукой. Второй писец (после л. 24) если и устранял стяженные формы имперфекта, то очень незначительно, судя по снижению нормы их употребления с 16 % на л. 17–24 до 11 % в установленных чтениях последующего текста. Именно это обстоятельство не позволяет считать его автором гиперкорректных примеров, представленных в написанном им тексте — этот писец лишь переписал их из протографа вместе с оставшимися неисправленными (гипокорректными) стяженными формами имперфекта.

ЛИТЕРАТУРА

- Вайан 1952 — В а й а н А. Руководство по старославянскому языку. М., 1952.
- Зоден Г. фон 1913 — S o d e n H. F., v o n. Die Schriften des Neuen Testaments in ihrer ältesten erreichbaren Textgestalt hergestellt auf Grund ihrer Textgeschichte. В. 2: Text mit Apparat. Göttingen, 1913.
- Козловский 1885 — К о з л о в с к и й М. Исследование о языке Остромирова евангелия // Исследования по русскому языку. Т. 1. СПб., 1885.
- Темчин 1989 — Т е м ч и н С. Ю. Реконструкция видо-временной системы языка первых славянских переводов с греческого: Автореф. канд. дис. М., 1989.
- Темчин 1991 — Т е м ч и н С. Ю. Дистрибуция глагольных разночтений в древнейших славянских списках Евангелия и объем первоначального перевода // Исследования по глаголу в славянских языках: История славянского глагола. М., 1991.
- Темчин 1993 — Т е м ч и н С. Ю. Было ли краткоапракосное Евангелие первой славянской книгой, переведенной с греческого // Исследования по славянскому историческому языкознанию: Памяти профессора Г. А. Хабургаева. М., 1993.
- Фортунатов 1908 — Ф о р т у н а т о в Ф. Состав Остромирова евангелия // Сборник статей, посвященных почитателями академику и заслуженному профессору В. И. Ламанскому по случаю пятидесятилетия его ученой деятельности. Ч. 2. СПб., 1908.
- Хабургаев 1991 — Х а б у р г а е в Г. А. Древнерусский и древнепольский глагол в сравнении со старославянским: (К реконструкции праславянской системы претеритов) // Исследования по глаголу в славянских языках: История славянского глагола. М., 1991.

М. Н. Шевелёва

**«ЖИТИЕ АНДРЕЯ ЮРОДИВОГО»
КАК УНИКАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК СВЕДЕНИЙ
ПО ИСТОРИЧЕСКОЙ ФОНЕТИКЕ
РУССКОГО ЯЗЫКА**

**(НОВЫЕ ДАННЫЕ О РЕФЛЕКСАХ СОЧЕТАНИЙ
РЕДУЦИРОВАННЫХ С ПЛАВНЫМИ)**

§ 1. «Житие Андрея Юродивого» (далее — ЖАЮ) давно привлекает к себе внимание лингвистов. Язык перевода этого памятника, явно стоящего особняком среди переводной агиографии Древней Руси, крайне архаичен, причем содержит большое количество восточнославянской лексики, на что обращали внимание еще И. И. Срезневский и А. И. Соболевский [Срезневский 1879; Соболевский 1980: 137–138] и что позволило А. И. Соболевскому отнести ЖАЮ к числу древнейших переводов, выполненных на Руси. Вывод А. И. Соболевского подтверждается и позднейшими работами, причем данные полного лингво-текстологического исследования рукописной традиции ЖАЮ, предпринятого в недавнее время А. М. Молдованом, дают основания предполагать новгородское происхождение первого славянского перевода памятника: об этом свидетельствует как география бытования (древнейшие списки ЖАЮ — наиболее архаичные по языку — связаны своим происхождением с Новгородской землей), так и лексические и некоторые синтаксические особенности перевода, обнаруживающие отличия от стандартных норм раннего церковнославянского и указывающие на связь с северо-западно-русским диалектным субстратом [см. Молдован 1993; Молдован 1994; Молдован 1994а; Молдован 1994б: 21–35, 38; ср. также дипломную работу Могучева 1993].

В свете всех этих данных замечательным представляется тот факт, что списки ЖАЮ содержат написания, передающие рефлексы сочетаний редуцированных с плавными типа *tʹrt не отмечавшимся до сих пор в традиции русского церковнославянского способом — как ТРОТ: проты Тип., 19; на трог҃у Тип., 20, Сол., 46; грошокъ Сол., 34; чюенно Тип., 18 об., Сол., 43; помрекнеть Тип., 62, Сол., 154; влочець Тип., 27, Сол., 61 об.; млонна Тип., 54, Сол., 119 об. и др.¹ Особенно много таких случаев в древнейших списках ЖАЮ — Тип. № 182 и Сол. № 216, однако встречаются они и в более поздних, прежде всего — в списке РГБ, собр. Егорова, № 162, XV в. (Егор. № 162) и в Великих Минеях Четиих (далее — ВМЧ).

Следует заметить, что И. И. Срезневский, которому древнейший список памятника (Тип. № 182) оставался неизвестен, отметил некоторые написания такого рода в списках XV–XVI вв., не придав им, однако, большого значения, считая их, видимо, скорее фактами чисто орфографического порядка, возможно, связанными с влиянием инославянской орфографии [Срезневский 1879: 165]². После И. И. Срезневского на эти написания внимание исследователей не обращалось.

Однако указанным написаниям ЖАЮ существуют прямые аналоги в памятниках не книжной письменности — в новгородских берестяных грамотах. Такие написания обнаружены А. А. Зализняком в грамотах XII–XIII вв.: № 731 (сер. XII в.) — мловила и воброзѣ, № 722 (1-я четв. XIII в.) — во хлостѣхо; в этом же ряду

¹ Первые примеры такого рода в рукописи Тип. № 182 были обнаружены студенткой Е. Могучевой.

² «Есть несколько случаев, — замечает И. И. Срезневский, — указывающих, что в списках, с которых делались другие, употреблено было ѣ после р (*мродати* вместо *мрьдати*), но это может быть объяснено различно. Значение влияния русского языка в переводе может быть скорее оценено не такими случаями написания некоторых слов в некоторых списках...» [Срезневский 1879: 165].

стоят, видимо, отмеченные тоже в бытовой грамоте XII в. № 336 написания с -лъ- — къ влъчьковн и не дльжьнъ [Зализняк, в печати]. Явно некнижный характер этих текстов, исключаяющий возможность влияния южнославянской орфографической традиции, а также сопоставление с данными современных северных говоров, представляющими, как обнаружилось, немалый ряд слов с рефлексами типа *trot, tret, tlot* (< *tʀgt, *tʀgt, *tʀlt, *tʀlt), позволили А. А. Зализняку прийти к выводу о бесспорно фонетическом характере данных написаний и предположить существование на севернорусской территории особых, неизвестных до сих пор у восточных славян рефлексов сочетаний редуцированных с плавными, находящих аналоги в южнославянской зоне [Зализняк, в печати].

Списки ЖАЮ несомненно отражают те же самые рефлексы. Обратимся к анализу этих написаний более подробно.

При этом особого внимания требуют древнейшие списки ЖАЮ — Тип. № 182 и представляющий непосредственную копию с него Сол. № 216.

§ 2. Древнейший сохранившийся список ЖАЮ — РГАДА, Типографское собр., № 182 (Тип. № 182). Рукопись кон. XIV в. без конца; 1°, 66 л., пергамен [см. Каталог: 169–171]. Рукопись имеет много утрат в разных частях [см. там же: 170–171]. Писана уставом, по-видимому, одного почерка: некоторые различия внешнего вида письма, связанные со сменой пера и большей — меньшей «убористостью» написаний, все-таки не позволяют говорить о разных почерках, поскольку начертания букв остаются тождественными³; полным единством отличается орфография и морфология рукописи. Рукопись содержит правку полууставом XVI в.; в большинстве случаев редактор выскабливал буквы и

³ Данное в [Каталог: 170] указание на несколько почерков впоследствии скорректировано одним из авторов описания Л. В. Мошковой, подтвердившей наше предположение об одном писце рукописи Тип. № 182.

писал по выскобленному. Список принадлежал библиотеке Лисицкого монастыря под Новгородом, о чем свидетельствует запись скорописью XVII в. по нижнему полю на лл. 4-7, 15, 28, 35, 43 об., 46, 55, 60, 66: *Вня книга Ли(сь)я мн(с)тря харате(и)нама глѣ маа... і(з) мѣна(с)тыря казе(и)нама а по(д)писа(л) того же Ли(с)на мѣ(с)тыря дячек*. Можно предположить, что в книгописной мастерской Лисицкого монастыря рукопись и была написана, так как известно, что в XV в. она была там — именно оттуда около 1494 г. брал список ЖАЮ «игумень застѣньскон Шлекси Смола» и снял с него копию [см. Бобров 1991: 86].

Этой копией, и весьма точной, с рукописи Тип. № 182 является список ГПБ, Соловецкое собр., № 216 / 216 (Сол. № 216). Рукопись на бумаге, 4°, 195 л. (ЖАЮ занимает лл. 1–176, кроме того рукопись содержит два слова Иоанна Златоуста и слово апостола Павла); полуустав одного почерка XV в. Рукопись писана около 1494 г. по заказу основателя Соловецкой библиотеки Досифея игуменом «застѣньским» (Георгиевский монастырь в Старой Ладоге?) Алексеем Смолой, о чем свидетельствует запись на переплетном листе: *Вню книгѣ писалъ игумень застѣньскон Шлекси Смола а имаѣ списокъ с Ли(с)и горки* [см. Бобров 1991: 86.] Список сделан с рукописи Тип. № 182 до того, как там была проведена правка: Сол. № 216 сохраняет многие написания, выправленные позднейшим редактором в Тип. № 182; кроме того, копия сохранила текст ЖАЮ почти полностью и дает возможность восстановить утраченные в Тип. № 182 части.

Рукопись Сол. № 216 тоже содержит правку поздним полууставом кон. XVI в., однако здесь справщик чаще не выскабливал прежнее написание (хотя такие случаи тоже встречаются), а подправлял по написанному — первоначальные написания в этих случаях хорошо читаются.

§ 3. Новгородское происхождение обоих списков бесспорно подтверждается их лингвистическими особенностями: и в том и в

другом широко отражаются фонетические и морфологические признаки древненовгородского диалекта ⁴.

В Тип. № 182 широко представлено цоканье (концать 64, мець 44, нацнеть 41, цашо 16 об., цюжь 33, не имѣюци 22, плацюще 62, рчи 33, множчею 34 об., почѣловавыи 40 об. и др.); смешение Ъ — И (прилесть 62 об., посмихатель 8 об., смилшеса 10 — ср. здесь же смѣющаса 8 об., са смѣють 10, ициленьк 22 об., посинилѣ 29, двннцама 63 об., помолви са оба (1 л. дв.ч.), терпѣ в печали не осужан никого же (пов. накл.), кмѹ надови 4 об. и др.), а также Ъ — Ъ (старѣць 4 об., двѣрем 20 — ср. прѣдъ двѣрми 20, посредѣ людѣи 54 об., 59, вѣртѣти 3 об. — вѣртим 3 об., тѣрпѣливъ 26 — тѣрпѣ 26, сѣрпы 63, грѣчки молвиги 2, зрѣти на птице (В. мн.) 27 об. и др.); встречаются написания ЖГ < *zgj (дожгъ 53, вездожгиа 54 об.), написания, отражающие отвердение р (по ширинѣ 12 об., шириню 13, 53, оукарати 18, горко 24 об.); широко отражаются такие яркие новгородские формы, как И. мн. на -Ѣ, в адъективном склонении -ѢИ (слѣпѣ 46 об., правѣ 48, вѣтрѣ 51, садѣ тѣ 12 об., мнозѣ градѣ 63 об., сапозѣ мои оуглаженѣи 22, выхомъ дѣвалѣ 15 об., выша не миновалѣ 32, са сѹть истопилѣ 15, ксте въсталѣ 22, сѹть билѣ палицею 22, друзѣи 19 об., 20, 26, жадѣи 32 об., краснѣи тѣ (сади) 12, синѣи 31 об., нѣкторѣи 40 об. и др.), то же в В. мн. (повѣргъ же чатѣ 10 об. и др.); Р. ед. *ā-склонения на -Ѣ (без лѹнѣ и безъ звѣздъ 28, нѣѣ кмѹ трѣбѣ 4 об. и др.), Д.—М. *jā-склонения и М. *jō-склонения на -Ѣ (на лавицѣ 26, по землѣ 26 об., к оуношѣ 42 об., на полѣ 26 об., о бѣсловцѣ 53 об. и др.); встречаются глагольные формы 1 л. мн. на -мѣ (ксме 8 об.), презенса без -тъ (не бѹде 33 об.).

В Сол. № 216 представлены те же признаки с той разницей, что цоканье здесь отражается несколько реже, поскольку пере-

⁴ Указываем здесь только самые показательные диалектные признаки.

писчик нередко заменяет «цокающие» написания Тип. № 182 на этимологически правильные (нацнеть Тип., 41 → начнеть Сол., 91 об., цюжь Тип., 33 → чюжь Сол., 76, мець Тип., 52 об. → мечь Сол., 117, цинъ Тип., 50 об., → чинъ Сол., 113 об., сынъ ч̄лвць Тип. 54 об., 55 → сынъ ч̄лвчь Сол., 120 об., 123, проклѣтце (Зв.) Тип., 22 → проклѣтче Сол., 51 об., не цюють Тип., 48 → не чюють Сол., 107, плацюще Тип., 62 → плачюще Сол., 154, оци Тип., 13 → очи Сол., 19 об. и др., ср. сохранение написаний со смешением: почѣловавыи Тип., 40 об. = Сол., 90 об., рчи ми Тип., 33 = Сол., 75 об., чинъ чьрньць (притяжат.) Тип. 33 = Сол., 76, оцицакть Тип., 54 = Сол., 119 и др.); с другой стороны, с м е ш е н и е Ъ — И представлено еще шире, и в ряде случаев на месте этимологически правильных написаний Тип. № 182 в Сол. № 216 мы находим формы со смешением (ср.: ходилъ Тип., 19 → ходѣлъ Сол., 43 об., възри (повелит.) Тип., 18 об. → възрѣ Сол., 42 об., нелицемѣрному Тип., 45 об. → нелицемирному Сол., 101 об., сущимъ в синѣ Тип., 52 → сущимъ в сѣнѣ Сол., 115 об., прѣврати (аор. 3 ед.) Тип., 16 об. → прѣвратѣ Сол., 38 и др., ср. воспроизводимые написания протографа со смешением: исцили Тип., 61 = Сол., 138, на вѣтвѣ Тип., 27 = Сол., 61 об. и др.); появляются новые написания, отражающие отверждение *p* (изо олтарѣ Тип., 26 об. → изо олтара Сол., 60 об., навару (1 ед. през.) Сол., 30 об. — в Тип. нет лл.) и написания с конечным -вѣ вместо -въ (любовѣ Тип., 60 об. → любовѣ Сол., 138, цѣрквѣ Тип., 61 → цѣрквѣ Сол., 138 об., ср. прольетсѣ кровѣ Сол., 149 об. — нет в Тип.), а также появилось два написания с Ы после Ц (рчи ми Тип., 22 → рцы ми Сол., 51 об., нѣции Тип., 21 об. → нѣцыи Сол., 48 об.) — что-то изменилось в качестве аффрикаты. Морфологические диалектные формы в основном сохраняются (суть истопилѣ Сол., 36 об. = Тип., 15, трѣдѣ Сол., 87 об. = Тип., 39; безъ лунѣ и безъ звѣздѣ Сол., 65 об. = Тип., 28; къ оуношѣ Сол., 94 = Тип., 42 об. и др.) с незначительным количеством колебаний (суть вилѣ Тип., 21 об. → суть вили Сол., 49 и др.). Отмечены также случаи Д.-М. *ā — склонения на

- **Ы** в части рукописи, не имеющей соответствия в Тип. № 182 (поискавшие же по хранины не могоша обрѣсти ничто же Сол., 28; ве(се)лщесе о доброты дѣши его Сол., 35 об.), зафиксированы и новые формы есме (приобрѣли есме Сол., 131 об. и др. — в Тип. нет лл.).

Создатель списка Сол. № 216 в основном достаточно точно копирует свой протограф, однако все-таки иногда отклоняется от него и допускает колебания в показательных точках, свидетельствующие о наличии соответствующих диалектных особенностей и в его собственном говоре (в некоторых признаках, возможно, отражены определенные сдвиги (?) в диалектной системе — ср. явное увеличение числа смещений **Ѣ** — **И**, появление написаний с **Ы** после **Ц**); стремление же устранить «цокающие» написания указывает на осознаваемое несоответствие их книжной норме — при явном наличии цоканья в живом говоре писца.

В этих рукописях, связанных с северо-западным диалектным субстратом, зафиксированы неизвестные до сих пор в церковнославянских текстах написания сочетаний гласных с плавными, точно соответствующие написаниям бытовых берестяных грамот XII–XIII вв.

§ 4. Основным способом передачи рефлексов сочетаний типа *тъгѣ в обеих рукописях является нормальный древнерусский — с постановкой гласного перед плавным.

В Тип. № 182 в подавляющем большинстве случаев это написания, соответствующие позднерусской норме, — с о / е перед плавным: торгѣ 7 об., на торгѣ 30 об., 59, молниа 25, 34, 44, 52, 54 и др., порты 4, 14 об., ѿ портѣ 11, 2, молвити 2, 4, 8 об., молца 12 об., мерзѣкъ 38, чернѣ 41 об., 42, чернѣць 32, 33 об., гордѣ 32, 35 об., терник 27, держати 55, 57 об., повергѣ 44 об., притерпи 6, 46 об., первок 55, 57, 62 об. и др., столпа 59, волци 39 об., 43 об., долженѣ 16, 34, исполнени 29 и под. Изредка встречаются написания по раннедревнерусской норме — с редуцированным перед плавным: тѣргѣ 43, чѣрнѣ 28, пѣрвок 6 об., 29 об.,

50, 56 об., 61, 64 об., первоначального 56, чьрвлена 3, пьръсть 64 и некоторые др. (в большинстве случаев — в корне пьрв-). Есть написания с двумя гласными вокруг плавного: крайне редко — с двумя редуцированными (пьръстомъ 34 об.), чаще — типа -олъ-, -оръ-, -ерь- (пьръстомъ 21 об., 53 об., молъвлаше 5, 7 об., 6 об., мерътвецъ 23, меръзкымъ 24, деръжати 19 об., черныхъ 43 об., горъсти 46, деръзновенье 60 об. и др.). Написаний южнославянского типа с редуцированным после плавного (типа ТРЪТ) практически нет: рукопись вообще не содержит следов южнославянского влияния; три случая таких написаний, зафиксированные в Тип. № 182 (повръзъше 18 об., въ припрътъ 25 об., понрълъ 19 об.), явно не были нормативными для данной рукописи и требуют особого обсуждения (см. ниже).

В Сол. № 216 в основном сохраняется та же норма и воспроизводятся написания Тип. № 182, только еще более уменьшается число раннедревнерусских написаний за счет замены их позднедревнерусскими (чьрвлена Тип., 3 → червлена Сол., 3, пьрвок Тип., 61 → первое Сол., 138), а также появляется довольно много написаний с паерком после плавного (търргъ Тип., 43 → тър'гъ Сол., 95, пьрво Тип., 61 об. → пьр'во Сол., 139 об., долги Тип., 48 об. → дол'гы Сол., 107 об., свершили Тип., 47 → свер'шили Сол., 104 об. и др.).

Единичные случаи каких-либо иных написаний или замен, а также вопрос о фонетическом значении написаний со вторым гласным или паерком после плавного требуют специального рассмотрения (см. ниже).

Написания с о/ѣ после плавного (типа ТРОТ < *тъrt) в рассматриваемых списках ЖАЮ нельзя считать спорадическими: в Тип. № 182 отмечено 23 бесспорных случая таких написаний (+ 3 случая с позднейшей правкой), в Сол. № 216, гораздо более сохранным списке, их 39. В подавляющем большинстве случаев написания рассматриваемого типа списка Тип. № 182 сохраняются в Сол. № 216, хотя позднейший редактор этой рукописи (кон. XVI в.) уже явно старается исправить их на стандартные с глас-

и бѣаше в судѣ (<*съсудѣ) томъ нечто ЧРѢМНО добрѣ
вонам вельми Тип., 61 об. = Сол., 139 об.;

прѣпопсан же бѣхъ и попасомъ драгымъ црѣкъмъ почрѣ-
влѣнъ сущъ Тип., 11 об. = Сол., 16 (позднейшая правка на по-
червлѣнъ — сверху подписано е и исправлено после р е → ь;
ср.: Ѡ всякого цвѣта червлѣна и бѣла Тип., 3 — Сол. червлѣна
3, бѣаху же в бѣлахъ ризахъ а друзѣи в червлѣнахъ Тип.,
61 об. = Сол., 139);

и ЧРѢНИЛО творяще сажами мазаху ко по лицу Тип.,
18 об. = Сол., 43 об.;

оскверненна дѣла кже ти МРЪЗЦИ языци створать и сн-
це вудеть яко кровь видѣ МРЪЗЬКАИЯ по земан ходѣща луна и
вса дѣла ПОМРЪКНѢТ Тип., 62 = Сол., 154 (совпадают все три
написания);

любаше же кпифана яко ВРЪСТУ свою Тип., 36 = Сол.,
81 об. («сверстника», ср.: занеже бѣаше епифану верста Сол.,
36);

да црковъ бѣаше затворена. да ПРИПРѢТѢ стоа съ слеза-
ми молашеса Тип., 61 = Сол., 138 («на паперти», ср.: приведе ко
въ приперть сѣга агафоника и чю сѣдше въ скровнѣ мѣстѣ
Тип., 49);

такъ та ксть ОХЛОСТАВЪ привязалъ Тип., 10 об. = Сол., 10
(«взнуздав, одев узду» [см. Срезневский 1879: 173; Срезневский,
II: 837; *хълстаті — ЭССЯ, вып. 8: 140: ср. укр. *ховстатти* «стегать,
хлестать», ст.-польск. *shełzno* «узда»]);

любзавъ КРОСТУ сѣго Ѡиде домови Тип., 61 = Сол., 139
(*корста* < *кърста* = *керста* < *кърста* — «гроб» [Срезневский, I:
1411, 1206]; ср. *керста* — арх., он. «могила» [Даль, II: 106]).

В двух случаях на том же л. 61 в Тип. № 182, где представле-
но кросту, буква после р выскоблена редактором XVI в., однако
первоначальное написание воспроизведено в Сол. № 216: да яко
же приважиша къ КР-СТИ сѣга Тип., 61 — ср. къ КРЪСТИ Сол.,
138 об.; ишедшо ис КР-СТЫ сѣга Тип., 61 — ср. ис КРЪСТЫ
Сол., 138 об.

Только в двух случаях написания рассматриваемого типа заменяются копиистом Сол. № 216 на написания с гласным перед плавным: и се словомъ тѣмъ съволокъ оубѣго того ПРОТА на безличнок кго лице вѣрже и нача нагъ ходити Тип., 22 — ср. того порта Сол., 52; оуноша нѣкто явнса стоа прѣд нимъ. и видиньк имѣа млоння Тип., 21 — ср. мольница Сол., 48 (-ло- > -оль-, причем это единственный зафиксированный случай написания с ь после -оа- — см. об этом ниже).

По-видимому, в Сол. № 216 есть еще один случай замены нестандартного написания на стандартное: в Тип. № 182 в этом случае выскоблена буква после плавного (причем, кажется, просматриваются следы о), а в Сол. № 216 мы имеем нормальное -ор-: и немаѣрдъ бѹи и ГР-ДѢ и сребролюбець. и лживъ и чѣвконе-навистникъ Тип., 24 — ср. гордъ Сол., 55 об.

Помимо рассмотренных написаний типа ТРОТ в Сол. № 216 сохраняется значительное число таких написаний в частях текста, утраченных в Тип. № 182. По всей вероятности, они тоже восходят к списку Тип. № 182. Приведем их полный список:

тремя своими пьрсты вземъ яко же зелье въ ГРОШОКЪ крѣтмъ всыпа Сол., 34;

да (ч)то са не плачешн въздыхан, съгнилаа мерзости померкълаа гношце бабо ГРОБАТА Сол., 27 об. (поздняя правка о > ъ, т. е. на грѣбата);

азъ ти навару ГРОНЕЦЬ противнице мои Сол., 30 об. («горшок»), ср. горньць варимъ на многы чаѣ сласти сладъкы не имѣ-кть Тип., 35 об. = Сол., 81);

КРОЧАСА великою зимою и трепетомъ плакахса Сол., 15 (поздняя правка на коръчаса — дописана мачта о > ъ и подписано сверху о перед р);

скончавъшюса етому посту и множеству црвѹ граду съ ВРЕБИИМЪ и пѣнѣимъ влакѹ хѣ славащемъ Сол., 99 об.;

а друзиں поврѣзъше его, за нозѣ влачахѹ Сол., 26 об. (поздняя правка на поверъзъше, т. е. исправлено е > ъ и подписано е перед р);

тогда смѣсится море на томъ мѣстѣ съ кровью двѣ на
десять ВРБСТѢ Сол., 149 об. (ср. выше вресту Тип., 36 = Сол.,
81 об. в переносном значении);

се они слышавше. не вѣдаше ПОМРОДАША смѣющеса оти-
доша Сол., 100 (ср. выше помродавѣ Тип., 24 = Сол., 56 об.; в
поздних списках помордаша [см. Срезневский 1879: 174]);

ни прекрести лица своего, ни лобза икону ѿго нѣ стояше
повѣсивѣ долу рѹцѣ и МРБДАМ на молшцаа са ко бѹ а нного
ничего же твораше Сол., 133 об. (тот же корень *мъгд- / *мъгд- с
другой огласовкой, то же значение «усмехаясь, гримасничая»; в
поздних списках мердага [см. Срезневский, II: 173–174]);

что же тако оу бѣ ДРБЗНОВЕНЬБ подасть въ днь сѹдныи
Сол., 171 об.;

да МРБЗИТИ нача саоуль гѣи и низъложи силнаго съ прѣст-
ла и възнесе смиренаго срѹцемъ кроткаго дѣвда Сол., 163 («вызы-
вать омерзение, отвращение, становиться противным»; ср. выше
мрезци, мрезъкаа Тип., 62 = Сол., 154);

держаше же и [свѣтокъ — вставка на полях] в лѣ(в)и рѹцѣ
написану ѿтъ ѿтъ ѿтъ ЧРБВАВНАМИ грамогами Сол., 64 об. (ср.
выше почрваенѣ Тип., 11 об. = Сол., 16 об.);

тогда свереть ЧРБМНЫИА роды Сол., 149 («огненно-рыжие,
рыжеволосые» — пророчество о трех царствах, ср. выше чрѣмно
Тип., 61 об. = Сол., 139 об. в первичном значении «красный, баг-
ряный»);

и пожнеть на воннѹ попы и ЧРБНЦА и вса люди гиѣвомъ
великомъ Сол., 149 (ср. черницей 148 об., чернецъ 173 об.);

потомъ възстанѹтъ и агарини съ моамедѣ полкъ велии ве-
ликъ възсплачютса горко тако прѣльщени сѹще. и по ложнѣмъ
томъ ЧРБНЦИ и възпиюще к нему възъглють Сол., 165 об.;

влач(а)ти ма нача за власы держа ово сѣмо ово овамо нѣ
// ИСТРОГААЪ ми естъ сѣдины и оутровѹ ми естъ розоп'халъ но-
гама Сол., 27–27 об. (правка кон. XVI в. о → ѣ, т. е. на истрѣ-
галъ; «выдернул, вырвал», ср. абик во лежа нача торгати

(«рвать, вырывать») *браду* свою а по семь тако же коза нача блечетати Тип., 47 об. = Сол., 106).

Видимо, к этому же ряду написаний принадлежит еще одно, где, однако, в Сол. № 216 перед плавным стоит паерок (появление которого скорее всего связано с переписчиком: писец Тип. № 182 паерков в данных сочетаниях не ставит, тогда как в Сол. № 216 они вставляются часто, правда, обычно после плавного — см. выше, с. 7–8): *пришедше блжныи единоу на хлѣбныи торгъ. оустрѣтеса с тремы штрокы въ ж'лотѣ влоди красны суща и дшею и тѣломъ* Сол., 10 об. («с желтыми волосами», ср.: *вѣаху же власи главы его желѣтъѣ тако же злато* Сол., 33 об. — в Тип. № 182 и в этом случае листы утрачены). Если перед нами действительно корень *žylt-, что подтверждается вторым приведенным употреблением прилагательного *žylъ для характеристики цвета волос, то здесь представлен показательный рефлекс с *o* после *l* (ср. чеш. žlutý). В пользу такой интерпретации свидетельствует и зафиксированное в списке РГБ, Троицк. № 780 (1549 г.) параллельное чтение в *желѣтъѣ влоди* 51 об.; в ряде же других поздних списков ЖАЮ, причем текстологически связанных с нашими, в данном контексте заменена лексема: *устрѣтеса съ треми отроки во злотѣ влоди* (ВМЧ, 94; так же в списке РГБ, Егор. № 162, 13). Не исключено, конечно, что и в наших списках представлен корень *zolt- с отражением северо-западного смещения *z*–*ж*, однако вероятнее все-таки первое предположение: позднейшие копии могли (может быть, не поняв чтения ж'лотѣ?) осуществить замену (ср. семантическую близость этих прилагательных, обнаруживающуюся в контексте *власи ... желѣтъѣ тако же злато*).

Рассматриваемый контекст замечателен еще присутствием в нем непосредственно рядом с написанием ж'лотѣ аномального для восточнославянской фонетики рефлекса *vold- > vlod- — *влоди* (ср. др.-русск. *володь* «волос», ц.-сл. *владь* [Фасмер, I: 343, статья *волос*]) — см. об этом ниже.

В одном случае в Сол. № 216 поздняя правка по выскобленному не дает возможности восстановить первоначальное написа-

ние: гдѣ же есть Т[ЕРЪ] / НИЕ, и ехидны, и змиа Сол., 24 об. (в квадратных скобках указано позднее чтение) — скорее всего, здесь тоже было нестандартное тре / ние, что подтверждается и сохранением такого чтения в другом списке XV в. — Егор. № 162 (гдѣ же есть ТРЕННЕ и ехидны и змиа, 24); наиболее вероятно, что оно тоже восходит к Тип. № 182.

Обращает на себя внимание незначительное число замен написаний типа ТРОТ < *търт в Сол. № 216 на стандартные — ср. отношение переписчика этой рукописи к «цокающим» написаниям, от которых он стремится избавиться, явно оценивая их как ненормативные (см. выше). Видимо, в отличие от цоканья, признаваемого несоответствующим книжной норме (возможно существование и особых правил для различения ц — ч [см. Живов 1986]), рассматриваемые написания не имели специальной оценки с точки зрения норм книжного языка и потому объектом внимания переписчика не были — ср. аналогичную ситуацию со свободно допускаемым смешением ѣ — и (см. выше). Только справщики XVI в. — и в той, и в другой рукописи — стремятся устранить эти нестандартные написания⁵.

⁵ Интересно при этом, что в одном случае нестандартное написание ТРЕТ, наоборот, вставляется (на полях) редактором XVI в. (переписчик Сол. № 216, очевидно, пропустил строку) — это случай с глаголом **мредати**, видимо, не вполне понятным редактору и потому не связываемым им с данными сочетаниями, соответственно — не оцениваемый как нарушение орфографической нормы: **начахса кланати [а онъ стоа нача МРЕДАТИ] да ни понѣ главы своа прѣклони. ни колену Сол., 133 об.** (тремя строками ниже идет контекст с **мредата** — см. выше, с. 11; в Тип. № 182 соответствующие листы утрачены; ср. сохранение этого чтения в ВМЧ: **а онъ стоа нача МРЕДАТИ да ни понѣ главы своа преклони ВМЧ, Окт. 1-3, 201, ср.** в других поздних списках **мердати, мордати** [Срезневский, II: 173; Срезневский 1879: 171]). Был ли источником вставки Тип. № 182 или какой-то другой список — неясно.

При этом надо еще раз подчеркнуть, что предположение о связи написаний типа ТРОТ с влиянием инославянской орфографии следует отклонить, так как оно совершенно не согласуется со всей орфографической системой рукописи Тип. № 182.

В таком случае, не будучи специально маркированными с позиции орфографической нормы до XVI в., данные написания должны быть отражением особого диалектного произношения — и это вполне согласуется со всей орфографической (да и морфологической) системой наших рукописей. Каким же было это произношение?

§ 5. Как отмечает А. А. Зализняк, написания типа ТРОТ отражают особый севернорусский рефлекс праславянского **tъrt* > *tъrъ* (> *trot*), являющийся, в сущности, реализацией слоговых /r/ и /r̥/: этот рефлекс засвидетельствован и современными говорами, где мы находим *клоч* «кочка» — наряду с *колч*, *кروطь* «чинить одежду» — наряду с *корпать*, *мрода* «рыболовная сеть» — наряду с *морда* и др. в одних и тех же говорах, т. е. с развитием вокалического элемента как спереди, так и сзади плавного [Зализняк, в печати]. Такое фонетическое развитие объединяет древненовгородские диалекты с болгаро-македонскими [там же].

Фонетический характер написаний типа ТРОТ подтверждается и тем обстоятельством, что помимо ЖАЮ и названных брестяных грамот они спорадически проникают и в другие тексты, причем вполне книжные. Ср. пример из Гennaдиевской Библии 1499 г., также новгородского памятника: **ПОМЛОЧАСТЕ** же по земли «успокаиваетесь» (Иов. 37, 17 [см. Срезневский, II: 1168, статья *ПОМЪЛЧАТИ* 2]). Показательно такое написание в широко известном контексте из ПВЛ по Лавр. сп.: *а се ти же Словѣни. Хрватѣ Бѣли. и Серебѣ и Хорутанѣ* (ПСРЛ, I, ст. 6 — в других списках стандартное *хорватѣ*), где написание типа ТРОТ используется при передаче славянского этнонима в списке неновгородском.

Этот этноним *xъrvat-, по-видимому, воспринимался составителем ПВЛ как инославянский: хоть он используется в летописи для названия не только южнославянской племенной группировки, но и той, которая занимала крайне западные районы Древней Руси, последние славянские племена (видимо, генетически связанные с первыми) в основной своей массе отступили на запад и юго-запад еще до IX в. и, судя по всему, не причислялись летописцем к славянам Древней Руси [Хабургаев 1979: 202–203; Хабургаев 1980: 69; о этимологии см. также ЭССЯ, 8: 150]. Именно поэтому передача этого этнонима, связанного в эпоху Нестора прежде всего с южнославянскими хорватами, могла отразить его соответствующее южнославянское произношение (ср. его передачу в греч. у Константина Багрянородного — Χρωβατία «Хорватия» [см. Фасмер, IV: 262]). Если это так, русское написание ТРОТ (*хрoвaтe*) оказывается передачей южнославянского слогового плавного ⁶.

В связи с этим опять же встает вопрос о фонетическом значении написаний типа ТРОТ в эпоху создания исследуемых списков ЖАЮ. Очевидно, что позиционной обусловленности данных написаний фонетическим окружением не наблюдается: ни связи с новозакрытым слогом — следствием утраты в последующем слоге слабого редуцированного ⁷, ни зависимости от характера последующего согласного (см. прим. выше).

⁶ В Лавр. списке ПВЛ этот этноним зафиксирован также в варианте *храваты*: *Семеонъ иде на храваты и побѣжєнь бы(с) храваты* (942 г.). Видимо, это вариантный способ передачи того же южнославянского произношения.

⁷ В. В. Колесовым отмечались написания типа *стѣлопника*, *тѣрожкѹ*, *чѣремное море* в северных рукописях XII–XIII вв. и рассматривались как закономерный фонетический результат изменения *тъгъ* > *trot* перед бывшим слабым редуцированным — некоторый переходный этап в развитии второго полногласия; отражением реальности этого этапа В. В. Колесов считает и сохраненные в топонимике новгородской земли огласовки типа

Для решения вопроса о фонетическом значении написаний типа ТРОТ необходимо обратить внимание на спорадические случаи каких-либо иных нестандартных написаний при передаче рефлексов сочетаний типа *tʁt, имеющиеся в данных рукописях.

а) В Тип. № 182 зафиксировано 2 случая (в одном контексте) передачи рефлекса *tʁt как ТРТ — без какого-либо гласного при плавном: виноград же бѣаше околѣ рѣкы ПРОСТРАТЬ сѣ златѣмъ листвѣнкѣмъ оукрашенѣ... ПРОСТРАТЬ / до бо сѣ бѣаше лозык кго по всемѹ раю и по всемѹ саду Тип., 12 об. В Сол. № 216 в первом случае написание исправлено позднейшим редактором простраť > простѣраť Сол., 18, а во втором случае изменено самим переписчиком и позднее еще правилось редактором XVI в.: простраť / до > простѣр-ело Сол., 18 (буква после р выскоблена, а последующее е написано основным почерком, т. е. в процессе письма, видимо, л заменено на е). Такие написания без гласного хорошо известны по южнославянским источникам, где они передают произношение со слоговым плавным.

Замечательно, что в Лавр. сп. ПВЛ обсуждавшийся этноним *xъrvatъ тоже фиксируется в такой передаче: *Сѣверь и Радимичь и Вятичи и Хрвате* (ПСРЛ, стлб. 12 — в других списках *хорвати*), т. е. *хрвате* наряду с *хрвате*. Факт этот говорит в пользу фонетической эквивалентности написаний ТРОТ — ТРТ.

б) Как уже отмечалось (см. выше), в Тип. № 182 есть три случая написаний типа ТРЪТ, которые на общем фоне никак не могут быть признаны орфографической условностью южнославянского влияния: *въ глаубоко и неоудовно ходити ПОНРЪЛАТЬ ксть*

trot: р. *Вревка* < *вьрьвька* [Колесов 1980: 129]. Данные наших списков ЖАЮ, однако, показывают, что написания типа ТРОТ никак не зависят от последующего слога: перед полным гласным или бывшим сильным редуцированным они оказываются здесь даже в два раза чаще, чем перед бывшим слабым редуцированным.

море книжнок Тип., 19 об. = Сол., 45; на скровиѣмь мѣстѣ въ ПРИПРѢТѢ сѣдоста Тип., 25 об. (Сол., 59 — въ папѣрѣтѣ с дописанным поздним справщиком е перед плавным; ср. припретѣ Тип., 61 = Сол., 138); и дѣти людьскы ПОВРЪЗЫШЕ кго по шию вожаху по граду Тип., 18 об. (Сол., 43 об. — повръзъше, ср. поврезъше его Сол., 26 об. — см. выше), причем показательно, что в этом же контексте с повръзъше строкой ниже идет написание чренило (см. выше).

В Сол. № 216 фиксируется еще несколько подобных случаев (в Тип. № 182 соответствующие листы утрачены): нъ стыдахусѣ понеже МРЪЗАХУ емѹ Сол., 29 (поздняя правка на мѣръзаху; ср. Егор., 27 об. — мръзаху; ср. мрезити Сол., 163, мрезци Тип., 62 = Сол., 154, мрезькаа Тип., 62 = Сол., 154 — см. выше); а другыа два отрокъвница бѣлаа тако снѣгъ ДРЪЖАЕТѢ // в рѹкѹ своєю Сол., 160; види бѣжении андрей мѹжа сѣда велми красна въ стѣни софин... держаще ВРЪБИЕ и хрестыца Сол., 99 об. — в этом же контексте двумя строками выше представлено написание съ вребиниѣмъ (см. выше). Тот же корень отмечен в Сол. № 216 и с паерком перед -рь-: со ВРЪБАМИ оусрѣтоша славаще бѣ Сол., 131 — такие написания Сол. № 216 заслуживают особого внимания (ср. выше ж'лотѣ), см. об этом ниже.

Фиксируемые в большинстве случаев в тех же корнях, что и написания ТРОТ, но гораздо менее частотные, причем часто соседствующие с последними в контексте, написания типа ТРЪТ в рассматриваемых списках ЖАЮ вряд ли могут быть чисто орфографической условностью.

Мысль о фонетической обусловленности написаний типа ТРЪТ в восточнославянской письменности уже высказывалась в литературе: наиболее убедительно она развивается в работах В. М. Маркова, указавшего на последовательное различение редуцированных после плавного и некоторые другие явно фонетические зависимости от выбора плавного, в связи с чем «безоговорочное отнесение написаний типа *врѣхъ*... за счет южнославянского оригинала не может быть признано удовлетворительным»

[Марков 1964: 188; см. также Марков 1983: 119]; о фонетическом характере написаний типа ТРЪТ см. также [Воронцова 1986: 118–120]. Единичные написания с редуцированным после плавного в берестяной письменности, где возможность какого-либо книжного влияния очень мало вероятна (бытовая грамота № 336 XII в. — кѣ влъчькови, не дѣжьнѣ, см. выше) явно подтверждают предположение о возможности их фонетического значения и ставят проблему интерпретации таких написаний в церковнославянских текстах старшего периода, где могут быть и условные книжные написания, и отражающие живое диалектное произношение [Зализняк, в печати]. Орфографическая система наших рукописей очевидно свидетельствует в пользу фонетической интерпретации написаний типа ТРЪТ.

В наших текстах эти написания оказываются эквивалентами написаний типа ТРОТ. Вопрос состоит в том, являются ли написания с редуцированным отражением более раннего состояния фонетической системы или это «синхронные» дублиеты. Второе предположение кажется вполне вероятным: в пользу него свидетельствуют рассмотренные выше написания без гласного при плавном, а также не вполне обычный случай написания ТРЪТ не в рефлексе исконного *търт, появляющийся в Сол. № 216 на месте стандартного написания Тип. № 182 (г. е. внесенный переписчиком): *влизокъ ксть оумръшаго* Сол., 55 < *оумершаго* Тип., 23 об. Это написание -*мръ-* на месте -*мер(ш)-* (< *оу-мър-ъш-аго*) может быть либо орфографической гиперкоррекцией, вполне возможной в эпоху создания списка Сол. № 216, но не слишком вероятной для его переписчика судя по его орфографическим установкам, либо отражением фонетического совпадения рефлекса нового межконсонантного сочетания «гласный + плавный» и исконного *търт, реализующихся в произношении с некоторым вокальным призвуком при плавном. В таком случае это написание оказывается свидетельством сохранения такого произношения после падения редуцированных.

в) Специального рассмотрения требуют написания с двумя гласными или паерком при плавном. В отличие от рассмотренных случаев ТРТ и ТРЪТ эти написания нельзя назвать спорадическими: позднедревнерусские написания типа *-оръ-*, *-ерь-*, *-оль-* встречаются в обоих рукописях примерно в том же количестве, что и написания типа ТРОТ (Тип. № 182 — около 20 случаев): *молъвлаше* Тип., 5 = Сол., 6, *молънна* Тип., 26 об. = Сол., 60 об., *мерътвецъ* Тип., 23 = Сол., 54, *горъсти* Тип., 46 = Сол., 102 об., *перъстомъ* Тип. 53 об. = Сол., 118 об., *деръзновение* Тип., 42 = Сол., 93 и др., причем в большинстве случаев переписчик Сол. № 216 сохраняет написания протографа. Важной особенностью этих написаний является обусловленность выбора *ъ* / *ь* после плавного характером предшествующего плавному гласного и независимость от твердости / мягкости последующего согласного (ср. *перъстомъ* Тип., 53 об., 58 об., *деръзнѣвъ* Тип., 10 об., *деръзновение* Тип., 42, 43, 60 об. *меръзкъмъ* Тип., 24, *черныхъ* Тип., 43 об. и др. — перед твердым зубным)⁸. При таком распределении *ъ* / *ь* не могут быть указателями твердости / мягкости — по всей видимости, они указывают на наличие какого-то вокального элемента после плавного, причем четко связанного с качеством вокального элемента перед плавным. Фонетический характер рассматриваемых написаний старших списков ЖАЮ хорошо

⁸ Эта закономерность нарушается только в двух случаях в Сол. № 216 (в Тип. № 182 она не нарушается вообще), где отмечены написания *Ѡторьган* Сол., 50 (в Тип. нет листов) и *мольнна* Сол., 48 ← *млонна* Тип., 21 (один из немногих случаев замены написаний типа ТРОТ переписчиком — см. выше). Первый случай скорее всего объясняется контаминацией написания протографа с *-ерь-*, сохраненного в списке Егор. № 162 (*Ѡтерьгли* Егор., 44 об.), и написания с *-ѡ-* перед плавным — если это так, он вряд ли несет фонетическую информацию. Второй случай требует внимания: с одной стороны, порождение этого написания связано с заменой нестандартного ТРОТ, с другой стороны, аналогичные написания *-оль-* отмечались и в других северо-западных памятниках — см. об этом ниже.

подтверждается сравнением с более поздними списками, особенно неновгородскими (причем даже теми, которые сохраняют немалое число написаний ТРОТ), где постановка ъ / ѣ после плавного оказывается обычным для позднерусской орфографии способом обозначения твердости / мягкости согласного и все несоответствующие этой норме написания устраняются; ср. замены в Егор. № 162: *пѣрьстомъ* Тип., 58 об. = Сол., 130 → *перстомъ* Егор., 102 об., *горъсти* Тип., 46 = Сол., 102 об. → *горъсти* Егор., 83, *дѣръжати* Тип., 19 об. → *дѣръжати* Егор., 40 об., *гнѣводѣръживъ* Тип., 48 → *гнѣводѣрживъ* Егор., 85 об., ср. *дѣръзно-вѣнье* Тип. 60 об. = Сол., 137 об. → *дѣръзно-вѣние* Егор., 108 и др.

Единичные случаи раннедревнерусских написаний с двумя редуцированными вокруг плавного в старших списках ЖАЮ указывают на то же распределение ъ / ѣ после плавного, ср.: *пѣрьстомъ* Тип., 34 = Сол., 78 об., *вѣльхъвъ* Тип., 42 об. = Сол., 94 (в Тип. № 182 всего два случая); *пѣрьсы* (этноним) Сол., 158 об., *вѣльхъвѣтъ* Сол., 168 (в Тип. № 182 нет листов) — и здесь в двух случаях из четырех ѣ после р выступает в позиции перед твердым зубным!

Такое распределение ъ / ѣ после плавного принципиально отличается и от основного типа древненовгородских написаний с двумя редуцированными вокруг плавного, где обнаруживается зависимость от качества последующего согласного: перед твердым зубным *-ръ-* заменяется на *-ръ-* [см. Зализняк, в печати].

В орфографии наших рукописей написания с двумя гласными при плавном следуют четко выдерживаемому принципу: выбор ъ / ѣ после плавного зависит от гласного перед плавным и не зависит от твердости / мягкости последующего согласного. Такой принцип постановки ъ / ѣ, не типичный для древнерусской орфографической традиции, свидетельствует о наличии при плавном однородных вокальных элементов с обеих сторон.

Следует обратить внимание на некоторые орфографические инновации списка Сол. № 216, связанные с написаниями с двумя гласными при плавном. В этой рукописи встречаются слу-

чаи замен написаний типа ТОРЪТ на написания с двумя одинаковыми гласными вокруг плавного.

В первом случае переписчик Сол. № 216 заменяет написание -олъ- в корне *въхъ- на написание с двумя редуцированными (т. е. первый о → ъ, и это в позднем списке!): волъхъвъ Тип., 18 → вълъхъвъ Сол., 42. Обратим внимание, что именно этот корень зафиксирован в написаниях типа ТЪРЪТ, крайне редких для наших рукописей, еще дважды (см. выше), при этом именно для него частотность таких написаний с -лъ- неоднократно отмечалась исследователями и по данным других памятников старшего периода [см. Васильев 1909: 306; Гринкова 1950: 219]. В этом же самом корне в Сол. № 216 встречается еще один случай замены написания -олъ-, где ъ после плавного заменяется на ы: волъхвы Тип., 39 об. → воыхвы Сол., 88 об. Последнее может быть и опиской под влиянием последующего ы, однако обращает на себя внимание связь этих замен (в обоих случаях — на написания с двумя равноправными гласными вокруг плавного) с одним и тем же корнем; с другой стороны, такие написания с ы или и после плавного известны и по другим памятникам (твърыдынмъ Мин. 1097 г., 55, ср. оутвъридих Чуд. Пс. 97) — по мнению В. М. Маркова, обратившего на них внимание, эти «характерные описки» несут фонетическую информацию, указывая на «палатализирующую / непалатализирующую гласность», сопровождающую плавный [Марков 1964: 198]⁹. Обе эти замены (даже при том, что второй случай дает написание не с тождественными гласными вокруг плавного) указывают, что вокальный элемент после плавного не слабее вокального элемента перед плавным.

В высшей степени показательным проявлением этого равноправия гласных элементов вокруг плавного оказывается появ-

⁹ С другой стороны, известны диалектные кривичские формы типа *мольня*, *Захольня* (Новг. писц. кн., IV, 286) ← *захълмъе [Зализняк 1993: 204], однако здесь ы ← ъ возникает перед мягким сонантом [там же: 206; Николаев 1988: 121–128].

ляющийся в Сол. № 216 тип написания в позиции рефлекса *tъrt, неизвестный в Тип. № 182, — ТОРОТ с двумя о вокруг плавного. В рукописи фиксируются три случая таких написаний, причем два из них точно внесены переписчиком в результате замен -олъ- → -оло- (как и в случае с вълъхвъ, замена дает написание с двумя равноправными гласными) и -ол- → -оло: молъвлэху Тип., 2 → боловлэху Сол., 2 (справщик XVI в. в Сол. № 216 правит -оло- → -олъ-, подписывая мачту), молниами Тип., 54 → молониами Сол., 119 об.; ср. третье такое же написание молоньею Сол., 173, соответствие которому в Сол. № 216 утрачено.

Таким образом, оказывается, что переписчик Сол. № 216 обнаруживает тенденцию обозначить гласный после плавного, равный по степени вокальности предшествующему плавному (ср. волъхвъ → вълъхвъ, молъвлэху → боловлэху). При этом если формы типа вълъхвъ в принципе известны и списку Тип. № 182, написания с -оло- появляются только в Сол. № 216. Особенно показательны яркие диалектные формы молониами, молоньею, хорошо известные в говорах и фиксировавшиеся в памятниках как случаи отражения второго полногласия (ср. молонья Лавр. лет. 144, 145, Чуд. Нов. Зав. XIV в., 155 об., молонья Еванг. 1357 г., 124 [Соболевский 1907: 27], молоня Троицк. летописец сер. XV в., 338, молонією там же, 335 [Зализняк 1985: 219]; молонию Образцовск. еванг. XIII–XIV вв., 128 [Колесов 1963: 156] и др.), — нет сомнения в принадлежности их живому произношению (ср. современные диалектные молонья, молоньей). В случае боловлэху перед нами тот же эффект — несмотря на иную фонетическую позицию (в открытом слоге) и отсутствие прямого диалектного соответствия данной форме в силу ее книжности — ср. при этом диалектное *моловить* [Шахматов 1902: 309] и зафиксированные в памятниках *безмоловиа* Новг. прол. 1262 г., 124 об. [Соболевский 1907: 27] и *измолотно* (видимо, вместо *безмоловно*) Служебн. XIV в. Рум. Муз. № 399, 23 [Шахматов 1902: 312]. Обращает на себя внимание существование в наших рукописях этих форм на -оло- с формами

на -ло- (а также на -ол-) — особенно ярко это проявляется в одном контексте: тако же бѣ и сню МЛОНЮ (= Тип.) на потребу есть створилъ громови. но не мое есть слово чадо. прѣкъ во глѣть о нем МЛОНИИ (= Тип.) во рѣчѣ в дождь створи бѣ и паки другын прѣкъ глѣть МОЛОНИИМИ (Тип. — молниами) рече направлѣн воды и погрѣманними росѣваа и капла по облакомъ на дождь есть же МОЛНИИИЪ (= Тип.) родъ ѿ небснаго огна и тако же бѣ нце имѣеть зарѣ снание согѣ тако и МОЛНИИ (= Тип.) снание есть вѣчнаго огна... сего огна снание МЛОННА (= Тип.) есть Сол., 119 об. — 120 (Тип., 54).

Совершенно очевидно, что перед нами варианты написания, передающие одно и то же произношение, причем список XV в., видимо, отражает некоторую тенденцию в диалектной системе, которая обнаруживается в стремлении обозначить вокальный элемент с обеих сторон плавного и появлении написаний -оло-, что может указывать на усиление этого вокального элемента.

О той же тенденции свидетельствуют и написания с паерком, широко вводимые переписчиком, но отсутствовавшие в Тип. № 182 (см. выше). В большинстве случаев это паерок после плавного (пърси Сол., 7 об. ← пърси Тип., 6, търгъ Сол., 95 ← търгъ Тип., 43, долгы Сол., 107 об. ← долгы Тип., 48 об., свершиши Сол., 104 об. ← свершиши Тип., 47 и др.), но есть и два случая с паерком перед плавным: указанные выше со врьвами Сол., 131 и жлотѣ Сол., 10 об. (в обоих случаях в Тип. № 182 соответствующие листы утрачены).

Рассмотренные инновации Сол. № 216 очевидно свидетельствуют о живом фонетическом характере вокальных элементов при плавном в рефлексах сочетаний типа *тъгт. Интересно, что редактор, правивший эту рукопись в XVI в., устраняя написания типа ТРОТ, сохраняет указание на гласный после плавного (-ро- > -оръ-, -ре- > -ерь-, -еръ-, реже -ро- > -ръ- — см. примеры выше), — и это не только из-за чисто технического удобства правки: есть случай, где стандартное написание горшекъ Сол., 33 об. правится поздним редактором на горъшекъ. Значит, гласный эле-

мент после плавного был фонетической реальностью и для справщика XVI в., устранявшего несоответствующие орфографической норме написания типа ТРОТ. Наиболее вероятно, что его говор принадлежал той же диалектной системе.

Итак, оказывается, что значительная часть корней с рефлексамми *tʲɪtʲ представлена в наших рукописях в вариантных написаниях типа ТОРТ — ТРОТ — ТОРЬТ — ТЬРТ — ТРЬТ — ТЬРЬТ — ТРТ¹⁰, в Сол. № 216 к этому ряду добавляются еще варианты ТЬРЬТ — ТЬРЬТ — ТОРЬТ — ТЬРОТ — ТОРОТ, причем для обеих рукописей при основном варианте ТОРТ следующее место по частотности занимают ТРОТ и ТОРЬТ (в Сол. № 216 — также ТОРЬТ), прочие же варианты периферийны. В Сол. № 216 наблюдается еще одно дополнение к вариантам Тип. № 182: возможность колебания ъ / ь после плавного для рефлекса *tʲɪtʲ в написании типа ТРЬТ (ср. повръзъше — врьвие) и после -ол- (ср. молънна — мольнна) — подробнее об этом см. ниже¹¹.

Ср. представленные в рукописях колебания в написании одного и того же корня¹²: молнна Тип., 25, 34, 44, 52 = Сол., 57 об., 97, 116, 118 об., молнню Тип., 5 об. = Сол., 6 и др. — млонна Тип., 54 — 3х = Сол., 119, 119 об., 120, млонню Тип., 54 = Сол., 119 об., млоннами Тип., 11 = Сол., 16 — молънна Тип.; 26 об. = Сол., 60 об. — [мольнна Сол., 48 — молоньею Сол., 173, молоннами Сол., 119 об.]; мерзкъ Тип., 38 = Сол., 85 об., мерзости Сол., 27 об. — мрезци Тип., 62 = Сол., 154, мрезьката Тип. 62 = Сол., 154, мрезити Сол., 163 — мерзьката Сол., 156 об. — [мръзлху Сол., 29, ср. мръзлху Егор., 27 об.]; ѿверзосте Тип., 25 = Сол., 58,

¹⁰ Указывается весь возможный набор вариантов.

¹¹ Фиксируются также два случая замены е → ъ, о перед плавным в рефлексе *tʲɪtʲ, один из которых восходит к Тип. № 182, — они требуют особого рассмотрения (см. ниже).

¹² В квадратных скобках указаны варианты, отмеченные только в Сол. № 216.

Шверзаетъ Тип., 53 = Сол., 118 и др. — поврезъше Сол., 26 об. —
 повръзъше Тип., 18 об. — [повръзъше Сол., 43 об.]; дерзан Сол.,
 172 — дрезновенье Сол., 171 об. — деръзновенье Тип., 3, 60 об. =
 Сол., 3 об., 137 об., деръзнѣвъ Тип., 3 об., 10 об. = Сол., 4 об.,
 9 об.; померкълаа Сол., 27 об. — помрекнеть Тип., 62 = Сол.,
 154 — померькнеть Тип., 29 об. = Сол., 68 об., померькнѣт Тип.,
 62 = Сол., 154; ср. на этом фоне сосуществование вариантов: съ
 вревнимъ Сол., 99 об. — врьвие Сол., 99 об. — [со в'ръвами Сол.,
 131]; желътъ Сол., 33 об. — ж'лотѣ Сол., 10 об.; простертѣ Сол.,
 21 об. — прострѣлъ Тип., 12 об. = Сол., 18, прострѣл / ло Тип.,
 12 об.; вълхвъ Тип., 42 = Сол., 94 — вълъхвъ Сол., 42 — во-
 лъхвы Тип., 39 об., волъхвѣта Тип., 55 = Сол., 123 об. — [волыхвы
 Сол., 88 об.]; на торгѣ Тип., 30, 59 = Сол., 71 об., 135, торговнѣмь
 Тип., 30 об. = Сол., 71 об. — на трогѣ Тип., 20 = Сол., 46, трогов-
 ное Тип., 30 об. = Сол., 71 об. — т'ъргъ Тип., 43 — [т'ър'гъ Сол.,
 95]; порты Тип., 4 = Сол., 5, портъ Тип., 22 = Сол., 51 — проты
 Тип., 19 = Сол., 44, прота Тип., 22 = Сол., 52; черньци Тип.,
 32 об., черньца Тип., 31 = Сол., 72 — чренци Сол., 165 об., чрень-
 ца Сол., 149 и др.

Основной ряд вариантных написаний, фиксируемых в обо-
 их списках, определенно указывает на колебание в обеих точках
 (перед — после плавного) по линии: Ѡ, Ѣ — Ѥ, Ѧ — Ѧ, т. е. по «сте-
 пени представленности» на письме вокального элемента при
 плавном. В Сол. № 216 в том же ряду стоят написания с паерком
 и добавляются написания с двумя полными гласными вокруг
 плавного.

Позиционного распределения вариантных написаний не ус-
 тавляется, поэтому наиболее вероятно, что они фонетически
 эквивалентны.

Такая позиционно не обусловленная вариативность, когда
 вокальный элемент отражается на письме то перед, то после, то с
 обеих сторон плавного и то в виде Ѥ, Ѧ, то в виде Ѡ, Ѣ, а может и
 вообще не обозначаться, свидетельствует о том, что основная во-
 кальность сосредоточена на самом плавном, т. е. что мы имеем де-

ло с вариантными способами передачи слогового плавного. Думается, что орфография Тип. № 182, в основном воспроизведенная в Сол. № 216, отражает именно такое произношение рассматриваемых рефлексов: вокалический элемент при плавном еще не стал полноценным гласным, он не фонологичен — он связан прежде всего с самим плавным, и только этим может объясняться наличие написаний без гласного (трт) на фоне написаний торт и трот. Показательно, что при передаче южнославянского произношения со слоговым плавным в этнониме *xъrvat- в Лавр. сп. ПВЛ представлена точно такая же вариативность: хорваты (907 г.) — хрватѣ (Введ., ст. 6) — хрватѣ (Введ., ст. 12) — прим. см. выше. При этом другой южнославянский этноним *sъrb- передается в ПВЛ по Лавр. сп. в написании с двумя гласными вокруг плавного — серѣвь (Введ., ст. 6; ср. в Акад., Радз. — сервь) — тоже указание на вокальность плавного путем постановки гласного после него.

Исследуемые списки ЖАЮ с очевидностью показывают, что в какой-то части древненовгородских диалектов рефлекс праславянских сочетаний редуцированных с плавными аналогичны южнославянским: слоговость сосредоточивалась на плавном *ŕ* и *l̥*, что фонетически реализовалось сопровождением этого плавного подвижным вокалическим призвуком — «ситуация сходна с той, которая характерна для болгарского и македонского» [Зализняк, в печати]; лишь в дальнейшем этот призвук совпадает с нормальными *o*, *e* и полексемно в той или иной степени закрепляет позицию по отношению к плавному (с сохранением возможных колебаний). Причем, судя по материалу исследуемых рукописей, такая ситуация с вокальностью на плавном сохранялась и после падения редуцированных — по крайней мере, орфография Тип. № 182 ее явно отражает. Правда, преобладание написаний с *o*, *e* над написаниями с *ъ*, *ь* говорит об усилении самостоятельной вокальности гласного элемента, однако существование на этом фоне написаний вообще без гласного, а также всего ряда колеблющихся написаний показывает, что этот гласный еще не то-

ждествен нормальным *o*, *e* и не самостоятелен (ср. хорошо известную орфографическую вариантность типа ТРЪТ — ТРТ в южнославянских памятниках); причем, оценивая написания с *o*, *e*, не следует забывать и о давлении общедревнерусской орфографической нормы этого времени. С другой стороны, широкая распространенность написаний типа ТРОТ (с полным гласным после плавного) может указывать на тенденцию как к усилению самостоятельности гласного, так и к закреплению этого гласного после плавного.

Немногочисленные орфографические инновации, вносимые переписчиком Сол. № 216, свидетельствуют в пользу того, что и для этого писца **основная вокальность продолжает быть сосредоточена на плавном и гласный после плавного еще не фонологизовался и не тождествен *o*, *e***: на это указывают и написания с паерком то перед — то после плавного, и написание с *ы* после плавного, и вносимые переписчиком написания, показывающие фонетическую эквивалентность для него межконсонантных сочетаний *-er- / -re-*, что может быть только в случае, если они являются реализацией слогового *r*, — оумръшаго Сол., 55 в возникшей после падения редуцированных позиции «гласный + плавный между согласными» (см. выше) и еще один случай замены последовательности *трепа* Тип., 10 об. > *терпа* Сол., 10, связанный с непониманием текста¹³. Однако сдвиги в орфографии рефлексов типа

¹³ Этот один из немногих в Сол. № 216 случаев искажения текста протографа связан с непониманием переписчиком редкого слова *трепастокъ* (< *трыпастъкъ*) «обезьяна», которое заменяется на словосочетание *терпа скотъ*: *рѣч прѣвннхъ скупъ дѣмонъ тако же малъ трепастокъ на деснѣмъ твоимъ рамѣ сѣдитъ* Тип., 10 об. → *скупъ дѣмонъ тако малъ терпа скотъ на деснѣмъ твоимъ рамѣ сѣдитъ* Сол., 10. Последовательность *трепа*, понятая как причастие от глагола **trępęti*, передана в написании *терп-*, явно имеющем для переписчика то же фонетическое значение, что и *треп-*; этот факт еще раз подтверждает фонетическую тождественность вариантных написаний ТРЕТ — ТЕРГ.

*тъгѣ, отмечаемые в этом списке, явно указывают и на тенденцию развития (диалектная система, по всей видимости, остается той же самой): тенденцию к вокализации гласных элементов с двух сторон плавного и к сближению их с нормальными гласными *o*, *e* — ярким подтверждением этому является появление написаний с *-оло-*. Очевидно, Сол. № 216 отражает некое переходное состояние фонетической системы: огласовки типа *молоннами*, *молоньею* sporadически фиксируются на фоне всего ряда вариантных написаний, свидетельствующих о слоговости на плавном, однако эти огласовки находят и полное соответствие в современных диалектных формах типа *молонья*, *молоньей* в говорах той же зоны.

В связи с этим естественно встает вопрос о том, имеют ли рассматриваемые древненовгородские рефлексы со слоговым плавным непосредственное отношение к так называемому «второму полногласию». По всей видимости, это так — по крайней мере для части древненовгородских диалектов, но тогда надо предположить, что по крайней мере в какой-то части северных говоров возникновение форм типа *молонья* и под. связано не с характером последующего слога, а является результатом развития слогового плавного (т. е. представляет собой вокализацию гласных призвуков с обеих сторон плавного типа $m|n\dot{b}ja > molon\dot{b}ja$). В этом случае, кстати, становятся объяснимы многочисленные диалектные примеры с эффектом второго полногласия в открытых слогах, традиционно объясняемые аналогическим выравниванием, ср.: *столобѣок*, *доложѣон*, *начерѣпала*, *жерѣдочкѣи*, *кѣрома*, *зѣрѣньшикѣи*, *смѣрѣтушка*, *нѣятъ горостѣѣй*, *дѣрѣнѣста* и др. (материал см. [Гринкова 1950: 211–214; Колесов 1963: 155] — как отмечает В. В. Колесов, также отклоняющий аналогическое объяснение подобных образований, такие «исключения» составляют более 30 % всех случаев второго полногласия). Обращает на себя внимание и то, что бѣольшая часть корней, зафиксированных в наших списках ЖАЮ в написаниях типа ТРОТ, отмечалась в других северных памятниках с эффектом второго полногласия, ср.: *съ вревнимъ* Сол., 99 об. — *веревныа нѣдъ/ѣлѣ/* Парем. 1271 г.,

91, на веревничѣ/ Кондакаръ новгор. XII–XIII вв., 61 [Соболевский 1907: 27]; поврезъше Сол., 26 об. — поверѣвши Вопр. Кирика по Кормч. 1282 г., 529 [Шахматов 1915: 276]; врестѣ Тип., 36 = Сол., 81 об., двѣ на десѣтъ врестѣ Сол., 149 об. — за 500 верестѣ за кыевомъ Псков. II лет. под 6908 г. [там же: 276]; гронець Сол., 30 об. — горонци Новг. I лет. по Троицк. сп. под 6497 г. [там же: 276]; чреньца Сол., 149, чрени Сол., 165 — череньци Новг. Кормч. 1282 г., 529, черенца Сильв. сб. XIV в., 26 [там же: 277], черенцемъ Новг. I лет. по Синод. сп., 35, въ черенцихъ там же, 216, ср. также црени там же, 235 [Соболевский 1907: 27]; чрѣмно Тип., 61 об. = Сол., 139 об., чрёмныя Сол., 149 — в черемнѣмъ морн Ирмолой псковск. 1344 г., 14 об. [там же: 27]; почрвленѣ Тип., 11 об. = Сол., 16 об., чрвленами Сол., 64 об. — хламидоу черевленоую Еванг. XIV в., ГПБ, Ф. п. I. 17, 120 об. [Колесов 1963: 156] и др., ср. также трение Егор., 24 (т[еръ]ние Сол., 24 об. — см. выше) — теренье Библи. 1499 г. [Шахматов 1915: 277]; и даже наш «вторичный» пример с подобным эффектом оумръшаго Сол., 55 находит соответствие в оумерешю Прол. 1431 г., 211 об., приводимый В. В. Колесовым как случай описки или аналогического выравнивания [Колесов 1963: 156]. Ср. также современные диалектные соответствия со вторым полногласием: гровага Сол., 27 об. — *góron* «пригорок» [Шахматов 1915: 277], чрѣмно Тип., 61 об. = Сол., 139 об., чрёмныя Сол., 149 — *черёмный* «рыжий» [там же: 278], припретѣ Тип., 61 = Сол., 138 — *папереть* [там же: 279] и др.

Все это свидетельствует в пользу связи рассматриваемых рефлексов с развитием второго полногласия в севернорусских говорах.

Неясным остается, существовали ли какие-нибудь дополнительные условия, вызывавшие вокализацию гласных призвуков с обеих сторон плавного (поскольку в говорах той же зоны известны рефлексы *tʏrt с развитием одного гласного с той или другой стороны плавного [см. Зализняк, в печати]). Совершенно очевидно, что для рассматриваемой диалектной системы зависимости

от характера последующего слога здесь нет. Представленные в Сол. № 216 три случая написаний *-оло-* в корнях, известных с эффектом второго полногласия и в диалектах, не могут дать ответа на вопрос о существовании здесь какой-то позиционной обусловленности, однако отнюдь ее не исключают. Обратим внимание, что замены переписчиком Сол. № 216 на написания с двумя равноправными гласными при плавном связаны преимущественно с одними и теми же корнями (**тъlni-* — ср. широкую представленность того же корня с эффектом второго полногласия в говорах, **въlxv-* — ср. частотность передачи именно этого корня с двумя гласными вокруг плавного в разных памятниках, см. выше). Вряд ли эти факты случайны. Вполне вероятна связь рассматриваемого эффекта с определенными корнями и существование какой-то сложной позиционной зависимости, возможно — и от просодических условий, — ср. выдвинутую в недавнее время гипотезу С. Л. Николаева о связи развития второго полногласия с интонацией «нового акута» [Николаев 1994: 31–33]. Замежим, что наши примеры написаний с *-оло-* и замен на *-лъ-* как будто бы этой гипотезе не противоречат. При этом надо отметить, что существование какой-то позиционной обусловленности развития второго полногласия (акцентологическими или иными условиями) вполне согласуется с предположением о первоначальной слоговости на плавном.

Подтверждением реальности реконструированного по данным списков Тип. № 182 — Сол. № 216 произношения рефлексов типа **тъrt* со слоговым плавным является еще один тип орфографического варьирования, появляющийся в большинстве отмеченных случаев в Сол. № 216, — это указания на колебания в ряде гласного при плавном, свидетельствующие о нетождественности этого гласного нормальным *o*, *e*. Эти колебания отмечаются как в гласном после плавного, так и перед ним.

Наибольшее число колебаний связано с плавным *r* — рефлексам **тъrt*.

С одной стороны, в Сол. № 216 появляются два случая написания ТРЪТ при передаче рефлекса *тъгт: *повръзъше* 43 об. (← *повръзъше* Тип., 18 об.) — ср. *поврезъше* Сол., 26 об., *мръзяху* Сол., 29 об. (в Тип. нет листов, но *мръзяху* Егор., 27 об., видимо, отражающее написание Тип. № 182) — ср. *мрезити* Сол., 163, *мрезци* Сол., 154, *меръзка* Сол., 156 об. Допуская наиболее естественное предположение о чисто орфографической природе этих замен ТРЪТ → ТРЪТ в связи с нормами второго южнославянского влияния (тем более, что в одном из этих случаев написание протографа с этимологически правильным гласным заменено в списке XV в. на написание с ъ), следует тем не менее учитывать возможную соотнесенность этих замен ь → ъ после плавного в рефлексах *тъгт с отмеченными в наших рукописях аналогичными заменами е → ъ, о перед плавным в тех же рефлексах — в обоих случаях перед нами может быть указание на непередний характер вокальных элементов при плавном, т. е. изменение в качестве самого плавного.

Имеющиеся в рукописях указания на колебания в ряде гласного перед плавным в данном отношении показательны в наибольшей степени.

Первый случай такого рода связан с обоими рассматриваемыми списками: в написании *м[е]рътвѣцю* Тип., 23 об. = Сол., 55 в обеих рукописях буква е перед р написана по выскобленному поздними справщиками, при этом в Тип. № 182 осталась хорошо видна верхняя горизонталь прежнего написания ъ, т. е. выправлено *мърътвѣцю* → *мерътвѣцю*. Следы поздней правки в Сол. № 216 позволяют предположить, что именно первоначальное написание с -ъръ- и было скопировано переписчиком и лишь в дальнейшем исправлено на стандартное редактором XVI в.; интересно, что именно в этом контексте рядом с написанием **мърътвѣцю* в Сол. № 216 появляется рассмотренное выше *оумръшаго*, как бы спровоцированное первым нестандартным написанием и, видимо, передающее то же произношение. Появление написания с ъ перед р явно указывает на отсутствие там гласного е: такой

вокальный призвук (типа *ə*) может быть естественно связан с произношением слогового *ɣ*.

Второй случай представлен только в Сол. № 216, где на месте стандартного написания Тип. № 182 первое появляется написание с *-ор-*: *порвое* Сол., 39 об. ← *первок* Тип., 17 (и *паку створнса хаапъ тако же вѣаше и порвое* 39 об.). Этот уникальный для исследуемых рукописей случай явно не следует считать случайной опiskой; не является он, видимо, и отражением изменения *e > o* после мягкого: против этого свидетельствует прежде всего существование в современных северных говорах, причем не знающих перехода *e > o*, аналогичных форм типа *дѣржать*, *дѣржит* [СРНГ, 8: 21 — арх., кем.; Шахматов 1915: 158] и *доржать*, *здорживать*, *здоржка* [Шахматов, там же] (*o* после твердого согласного!), происхождение которых объяснения до сих пор не получило [см. Шахматов: там же; Марков 1964: 200 — примеч.], причем эти формы находят соответствия в северо-западных памятниках XIV–XVI вв. — *доржаша* Еванг. Типогр. XIV в. № 18, псковск., 75, *не додоржу* Лодомск. гр. 1581 г. № CXXXVII [Шахматов 1915: 158; Каринский 1909: 147]¹⁴. По всей видимости, эти диалектные формы, как и зафиксированная в Сол. № 216 форма *порвое*, связаны с развитием установленного рефлекса типа **ɣɪt*: перед нами рефлекс слоговости — вокализация непоследнего гласного призвук перед плавным.

Таким образом, рассмотренные написания с *ъ* и *o* перед *р* в рефлексе **ɣɪt*, свидетельствуя о слоговости на плавном, в то же время указывают на нейтрализацию противопоставления по ряду вокального элемента при плавном, что может быть следствием нейтрализации противопоставления по палатализованности / непалатализованности плавного *ɣ*. Дальнейшее развитие этого рефлекса — вокализация этого призвук типа *ə* и сближение с

¹⁴ Показательно сделанное в связи с этим замечание Н. М. Каринского о том, что вообще в рукописи Еванг. Типогр. № 18 «*o* вместо *e* неизвестно» [Каринский 1909: 147].

нормальным гласным *o*; тенденцию к такой вокализации отражает, очевидно, список Сол. № 216. По всей вероятности, этот список с наибольшей определенностью отражает указанную тенденцию в развитии рефлекса **tъrt*: здесь как сохраняется написание списка Тип. № 182 с заменой *ь* → *ъ* перед плавным, так и появляются новые с заменой *е* → *o* перед *р* и *ь* → *ъ* после *р*. Видимо, перед нами динамика в развитии той же диалектной системы.

Остается неясным, существовали ли для развития переднерядного рефлекса в позиции **tъrt* какие-то дополнительные условия. Вполне вероятно, что это так: обратим внимание, что все зафиксированные нами случаи замен *ь* → *ъ*, *е* → *o* при плавном связаны с позицией после губного согласного (ср.: *мърътвѣцю*, *порвое*, *повръзъше*, *мръзъху*), диалектные примеры — после зубного *d* (*доржеть*).

Сам факт возможности такой нейтрализации оппозиции по ряду находит явные южнославянские соответствия и еще раз подтверждает сходство развития рефлексов типа **tъrt* в южнославянских и рассматриваемых севернорусских говорах. Следует также обратить в связи с этим внимание на известный факт развития переднерядного рефлекса в корне **skъrb-*, отмечавшегося в севернорусских памятниках и современных говорах и в памятниках южнославянских, ср.: *скръбаше* Арх. еванг., 94, *прискръбна* там же, 95, *оскербяю* Арх. леств. XIII–XIV в., *скервь* Апокал. библ. [Шахматов 1915: 158; Ван-Вейк 1957: 195], диал. *скервь* [Шахматов, там же; Марков 1964: 200] — *скръвь* Супр. рук., Клоц. сб., Мар. ев. [Ван-Вейк 1957: 194–195]. Возможно, мы имеем здесь дело с тем же проявлением нейтрализации рефлексов **tъrt* — **tъrt*, дальнейшее развитие которых определялось какими-то более сложными и пока неясными позиционными условиями. По-видимому, здесь есть связь с фонетическим окружением, причем влияние предшествующего согласного представляется даже более ве-

роятным, чем последующего ¹⁵, поскольку материалы наших рукописей не обнаруживают в развитии рефлексов *tʏrt зависимости от характера последующего согласного — с другой стороны, прогрессивные ассимиляции согласных для северных говоров вполне вероятны [см. Касаткин 1984; Касаткин 1989: 39], ср. в приведенных выше случаях рефлекс -og- < *tʏrt — после губных и зубного d, -er- < *tʏrt — после k ¹⁶. По-видимому, в рассматриваемой диалектной системе рефлексы *tʏrt — *tʏrt обнаруживают тенденцию к совпадению в каком-то едином r (ср. отразившееся в тех же рукописях отвердение r вне данных сочетаний — см. выше); характер дальнейшего развития этого рефлекса, видимо, определялся какими-то позиционными условиями.

Что касается колебаний в ряде гласного при l, то здесь мы имеем только один случай в Сол. № 216 — написание -оль-, заменившее нестандартное -ло-: мольница Сол., 48 ← млонна Тип., 21 (см. выше, примеч. 8). Однако это вряд ли случайная описка: точно такие же написания -оль- известны и в других северо-западных памятниках, причем в нотированных; ср. в псковском Ирмологии Погод. № 45 (XIV в.): опольчение 14 об., испольниса 14 об., вольхвы 74 об., испольннаъ 75 об., ср. там же хълми [см. Гринкова 1950: 221]. В Сол. № 216 это написание -оль-, оказываясь в ряду всех прочих вариантных написаний (ср. выше вариантные написания корня *mьlni-), тоже, вероятно, несет определенную информацию о некотором особом качестве плавного: не исключено от-

¹⁵ Существующие объяснения замены r > r' в корне *skьrb- связывают ее с «палатальностью следующего слота» [Ван-Вейк 1957: 195; ср. Обнорский 1912: 369] (впрочем, С. П. Обнорский допускал для данного корня и возможность диалектного изменения ь > ь [Обнорский 1912: 360]).

¹⁶ Ср. зависимость развития рефлексов сочетаний редуцированных с плавными от характера предшествующего согласного в западнославянских языках (польск., нижнелужичк., в меньшей степени чешск. и словацк.) — см. об этом, например [Шахматов 1902: 290].

ражение здесь и севернорусского альвеолярного *l* (в данной позиции — *l̥*).

Таким образом, на основании имеющихся данных можно предположить, что рефлексы сочетаний типа **tʲɔrt* реализовались в рассматриваемой диалектной системе в слоговом плавном (= плавном, сопровождавшемся нефонологическими вокальными призвуками) с тенденцией к нейтрализации противопоставления по палатализованности / непалатализованности плавного (а гласных призвуков, соответственно, по ряду), с одной стороны, и к вокализации гласных призвуков при плавном, с другой. К XV в., по данным списка Сол. № 216, обе эти тенденции усиливаются. Дальнейшее развитие указанных рефлексов — вокализация гласного перед, после или с обеих стороны плавного, а также характер этого гласного — определялось, очевидно, достаточно сложными позиционными условиями.

§ 6. Чтобы картина отражения рефлексов сочетаний редуцированных с плавными в древнейших списках ЖАЮ была полной, следует обратить внимание на еще один ряд фактов, связанных на этот раз с передачей рефлексов праславянских **tort* — **toft*.

В наших рукописях встречается несколько случаев передачи этих рефлексов как ТРОТ — ТЛОТ, т. е. с *o* после плавного и без первого гласного. Все эти случаи, видимо, восходят к Тип. № 182, поскольку в Сол. № 216 есть замена одной такой формы на нормальную книжную неполногласную ТЛАТ, ср.: *птени во вѣху на нхъ мнози вравик и щюри и СЛОВИѢ* (редактор XVI в. подправляет *o > a*, не стирая первоначального написания, которое хорошо читается) — в Сол. № 216 заменено на славие Сол., 17; *приде на мѣсто кдѣже въскупница сѣдѣть продающе ДРОГОУѢ оузрачик оно Тип., 30 об. = Сол., 71* (в списках XVI в. *драгое үзрачиче ВМЧ, Окт. 1–3, 149* и др.); *оусрѣтеса с тремы ѿроки въ ж'лотѣ влоди красны сүща дшею и тѣломъ Сол., 10 об.* (см. об

этом контексте выше, стр. 32) — в Тип. № 182 соответствующие листы утрачены.

Случаи эти можно было бы отнести за счет инославянского (западнославянского) влияния (источника данного памятника?), как это и делал И. И. Срезневский [Срезневский 1879: 178–179], если бы не некоторые дополнительные обстоятельства.

Дело в том, что написания такого рода известны в древнерусской письменности. Замечательно, что точно такая же передача рефлекса праславянского **tort* фиксируется в берестяной грамоте № 336 (XII в.) — той самой грамоте, где отмечены написания не *длъжьнѣ* и *валъчкови* (см. выше): здесь представлено *срочкъ* (Р. мн.) и дважды *срочька* (В. дв.) — вместо *соро-* («сорочка»), т. е. в одном и том же корне вместо полногласия последовательно выступает рефлекс ТРОТ [см. об этой грамоте: Зализняк 1986: 92, 203, 298 (словоуказатель)]. И в этой грамоте (бытовой!), и в ЖАЮ ТРОТ как рефлекс **tort* оказывается сосуществующим с рассмотренными выше рефлексами **tъrt* как ТРОТ / ТРЪТ, отражающими слоговой плавный (возможно, с усиленной вокализацией второго гласного элемента)¹⁷. Такое совпадение явно не может быть случайным. Видимо, рассмотренные рефлексы сочетаний редуцированных с плавными и рефлексы сочетаний типа **tort* с ослаблением (или утратой?) гласного перед плавным принадлежат одной и той же диалектной системе.

¹⁷ В ЖАЮ эти нестандартные рефлексы **tort* и **tъrt* буквально сосуществуют рядом в контексте, ср. пример *въ ж'лотѣ влоди* Сол., 10 об., написание *дрогок оузрачик* Тип., 30 об. оказывается на одной странице с *тровонок* Тип., 30 об. Это «соположение» тех и других форм показательное: в рукописях часто диалектные формы разного рода оказываются рядом, т. е. их проникновение в книжный текст обеспечивалось включением какого-то общего механизма ориентации на разговорный язык (ср. выше о частом «соположении» в тексте рассматриваемых нестандартных написаний в рефлексах **tъrt* — см. комментарий к примерам).

Надо отметить, что такие написания ТРОТ в позиции первого полногласия известны и в других восточнославянских рукописях XI–XV вв., причем в большинстве случаев новгородских и псковских, ср. материалы А. А. Шахматова: *прэздньство*, *прэзднюлюбци* Минея 1096 г., 98, *злотъникъ* там же, *тлоци* Юрьевск. еванг. 1120 г., 90, *по завроломъ* Сборн. псковск. XV в. Чудовск. № 53 / 255, 124 об. (зафиксировано в [Каринский 1909: 113]), *с хробрыми* Сборн. псковск. нач. XV в. Соф. № 1262, 115 (зафиксировано в [Каринский 1909: 131]), *оружикъ* *огродивъся* Уст. XII в. Тип. № 142, 44 и др. [Шахматов 1915: 155], а также *сковродъ*, *сковродопечъ* Ефремовск. кормч. XII в., *овротившеса* Ярославск. сп. Панд. Ник. Черн. XII в., ср. *въ вѣротѣхъ* Еванг. Тип. № 1 XII в. [Колесов 1980: 73], ср. спорадические случаи в Синайском патерике XI в. — *злотъникъ* 29, 59, 82, *вроты* 110 об., *повлочи* 57 об. и др. [см. Воронцова 1986: 116–117], некоторых других памятниках со сложной текстологической историей — на *завролѣхъ* Ипат. лет., 292, *въ замрозъ* там же, 53, *совлокутъся* Лавр. лет. и др. [Шахматов 1915: 155]. Показательно точное совпадение нашего написания *словник* Тип., 12 с зафиксированным в псковском сборнике XV в. Чудовск. № 68 / 270 *ластовница* и *слова* 14 об. [см. Каринский 1909: 99; Шахматов 1915: 155]. Следует обратить внимание и на приводимые А. А. Шахматовым формы из фольклорных северных записей — *млѣдому* Он. был. Гильф., 47в [Шахматов 1915: 156], *злотой* Прич. Сев. Края Барсова, 4, *дрогоуѣнную* Он. был. Гильф., 455, *облочись* Кириллов уезд, зап. у М. Колосова [Шахматов 1881: 39], подтверждающие реальность существования таких огласовок в живых севернорусских говорах [см. об этом там же].

Что именно представлял собой фонетически такой рефлекс в позиции **tort* — неясно. Возможно, подобные написания отражают фонологическую нетождественность гласного перед плавным нормальному *o* после плавного, т. е. произношение типа

tərot¹⁸ [см. об этом также Колесов 1980: 69–75]. Вполне вероятен и определенный параллелизм развития рефлексов *tʲrt и *torɪ: возможно, через стадию сосредоточения основной вокальности на плавном и с колебаниями типа tərot — torət¹⁹ и, может быть, с тенденцией к усилению последующего плавному вокального элемента. В этом случае, кстати, снимается противоречие между предположением о принадлежности таких типов рефлексации сочетаний гласных с плавными северо-западной (т. е., вероятно, севернокривичской) зоне и установленным С. Л. Николаевым для этой зоны рефлексом *torɪ > torət: при первоначальных колебаниях tərot — torət дальнейшее развитие могло закрепить тот или другой рефлекс (возможно, полексемно — ср. аналогичную ситуацию с судьбой рефлексов *tʲrt в говорах той же зоны, а может быть — с каким-то позиционным распределением или с распределением по соседним говорам)²⁰.

¹⁸ Реальность такого произношения рефлексов *torɪ подтверждается данными новейших исследований С. Л. Николаева по юго-западным (галицким) говорам, показавшими долготу последующего и краткость предшествующего плавному гласного, что должно восходить к *tərot перед падением редуцированных (устное сообщение С. Л. Николаева на филологическом факультете МГУ осенью 1993 г.).

¹⁹ Ср. данные С. Л. Николаева о наиболее вероятной рефлексации в кривичской зоне *torɪ > torət (отсюда *балэнья*, *балынья* < **bolnyje* [Николаев 1988: 123–124]), ср. также предположение В. В. Колесова о длительном сохранении колебаний типа *горьдъ* — *гьродь*, выдвинутое на основании сосуществования в памятниках наряду с рассмотренными написаниями типа *вроты*, *въ вьротѣхъ* написаний *вьсеволѣдъ* Успенск. сб. XII–XIII вв., *изъкорьстѣна* Лавр. лет. под 945 г., *по сердѣ* Мин. 1096 г., Милят. ев. 1215 г. и др. [Колесов 1980: 72–73].

²⁰ Следует обратить также внимание на существование в современных северных и северо-западных говорах неполногласных форм типа *trat* < **torɪ* в бытовой лексике, явно не получающих удовлетворительного объяснения через влияние литературного языка, ср., *крава* «корова» (волог.), *вретельник* «ящик для веретен» (арханг.), ср. также *млад*, *младый* (арханг.,

Вопрос о развитии восточнославянского полногласия, так же как и вопрос о судьбе сочетаний редуцированных с плавными, требует прежде всего тщательных диалектологических исследований, причем исследований системных: необходимы всесторонние описания фонетических систем конкретных говоров как непреходящая основа историко-лингвистических разысканий.

На основании же имеющихся данных можно только с высокой степенью вероятности предполагать сосуществование рассмотренных нестандартных рефлексов сочетаний гласных с плавными в пределах одной диалектной системы, представленной на территории древненовгородской земли.

§ 7. Некоторые из написаний типа ТРОТ < *tǫrt̃ проникли и в позднейшие списки ЖАЮ, представляющие ту же текстологическую ветвь, что и Тип. № 182 — Сол. № 216. Особенно много таких написаний сохраняет список Егор. № 162, где мы находим

псков.) в контекстах *Я млаже вас была, Ен младый мужчина* (псков.), *град* в контексте *Плохо стало в колхозе, так многие ушли во град* (псков.), *длань «ладонь»* (волог., 1902), *древо* в контекстах *Там ещё древы большие* (псков.), *Тут вишь древы и темно* (псков.) и некоторые др. [см. Порохова 1988: 172–173, 257–260]. Такие случаи обычно считают «результатом лексико-морфологической аналогии к другим словам, включающим неполногласные компоненты» и заимствованным из литературного языка [там же: 173]. Однако не более ли естественно предположить здесь сохранение исконной диалектной рефлексации *tǫrt̃, тем более что все эти случаи связаны со вполне определенными группами говоров? Вполне вероятно связь этих рефлексов с отмеченными в древнерусских памятниках (и спорадически — в современных говорах) той же зоны рефлексами *tǫrt̃ > trot, как вероятны и связи этих диалектов с южнославянскими, обнаруживающиеся в том числе и в сходстве развития межконсонантных сочетаний гласных с плавными.

Для рефлекса tret во *вретельник* и под. можно предположить и исконное *tǫrt̃, т. е. развитие сочетания редуцированного с плавным по рассмотренному нами типу (ср. болг. *вретено, врътено* [см. Фасмер, I: 297]).

кросса 16 об., млоннами 17 об., почрвленъ 17 об., припретк 108 об., чрѣмно 109 об., чренило 39, поврезъше 25 об., помродаша 81 и др., ср. также грение 24, утрачшинос в Тип. № 182 и Сол. № 216; несколько в меньшем количестве они сохранились в ВМЧ: помродаша ВМЧ, Окт. 1–3, 173, мредати там же, 201, кросса там же, 99, охлоставъ там же, 94, чрѣмно там же, 206 и др. Оба эти списка имеют явную текстологическую связь с Тип. № 182²¹. Восходят ли все данные написания к Тип. № 182? И вообще: является ли Тип. № 182 первоисточником данных написаний (коль скоро они сохраняются в нескольких позднейших списках, непосредственная преемственная связь между которыми не очевидна) или они восходят к какому-то более раннему списку?²² Однозначный ответ на этот вопрос дать пока невозможно, однако системный характер всех отражаемых в списке Тип. № 182 диалектных особенностей явно свидетельствует о принадлежности их единой диалектной системе, связанной с говором писца. По мень-

²¹ И. И. Срезневский полагал, что список Сол. № 216 был «один из тех, который употреблен и при составлении Макариевских Великих Миней Четних» [Срезневский 1879: 181]. Вполне вероятно, что использовался и сам список Тип. № 182 (не известный И. И. Срезневскому), поскольку при составлении ВМЧ были привлечены материалы всех основных новгородских библиотек, в том числе и библиотеки Лисицкого монастыря, связанной с именем новгородского архиепископа Евфимия II (1429–1458, в 20-х гг. XV в. — игумен Лисицкого монастыря [см. Бобров 1991: 89–97]), что делает очень вероятными прямые связи книгописного центра новгородских владык с Лисицким монастырем. По новейшей же текстологической реконструкции А. М. Молдована списки ВМЧ и Егор. № 162 непосредственно возводятся к несохранившемуся списку ≈ XIII в. — общему протографу целой группы имеющихся списков, в том числе и Тип. № 182, восходящих к единому архетипу [Молдован 1993; Молдован 1994 б: 11–14].

²² По мнению А. М. Молдована, к общему протографу восходят списки Тип. № 182, Егор. № 162, Барс. № 707 и ВМЧ [Молдован 1994 б: 12]. При такой реконструкции все совпадающие написания этих списков должны быть возведены к их общему протографу.

шей мере, говор писца этой рукописи представлял ту же самую диалектную систему, что и отраженная в протографе, к которому восходят данные написания (если таковой был), вероятнее же все-таки, что и появление их связано со списком Тип. № 182.

Орфографические данные старших списков ЖАЮ свидетельствуют о существовании на древненовгородской территории диалектов, знавших (очевидно, еще после падения редуцированных) слоговые плавные с тенденцией к вокализации гласных призывуков при плавном — после, перед или с обеих его сторон. Вероятно, той же диалектной системе была свойственна рефлексация **tort* > *tərot* — с редуцированным первым гласным, нетождественным нормальному *o*, или с колебаниями типа *tərot* — *torət*; возможно, развитие тех и других сочетаний имело какие-то общие закономерности.

Все эти данные еще раз подтверждают получающую все большее обоснование концепцию изначальной диалектной гетерогенности восточнославянского ареала, восходящей к поздне-праславянской эпохе, и свидетельствуют о генетических связях древненовгородских диалектов с диалектами южно- и западнославянского мира [см. работы: Хабургаев 1979; Хабургаев 1980; Зализняк 1988; Зализняк 1989; Зализняк 1993; Николаев 1988; Николаев 1994].

И С С Л Е Д О В А Н Н Ы Е С П И С К И Ж И Т И Я А Н Д Р Е Я Ю Р О Д И В О Г О

Тип. № 182 — рукопись РГАДА, Типографское собр., № 182, кон. XIV в.

Сол. № 216 — рукопись ГПБ, Соловецкое собр., № 216 / 216, около 1494 г.

Егор. № 162 — рукопись РГБ, собр. Егорова, № 162, 1-я пол. XV в.

ВМЧ — Великие Минеи Четии, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Октябрь, дни 1–3. СПб., 1870.

Троицк. № 780 — рукопись РГБ, собр. Троице-Сергиевой Лавры, № 780, 1579 г.

ЛИТЕРАТУРА

- Бобров 1991 — Бобров А. Г. Книгописная мастерская Лисицкого монастыря: (Конец XIV — первая половина XV в.) // Книжные центры Древней Руси XI–XVI вв. СПб., 1991.
- Васильев 1909 — Васильев Л. Л. Одно соображение в защиту написаний -ьрь-, -ьръ-, -ьрь-, -ьль- древнерусских памятников как действительных отражений второго полногласия // Журнал министерства народного просвещения. 1909. VIII.
- Ван-Вейк 1957 — Ван-Вейк Н. История старославянского языка. М., 1957.
- Воронцова 1986 — Воронцова Т. А. Полногласные и неполногласные сочетания в Синайском патерике // Литературный язык Древней Руси. Л., 1986 (Проблемы исторического языкознания, вып. 3).
- Гринкова 1950 — Гринкова Н. П. О случаях второго полногласия в северо-западных диалектах // Труды института русского языка. М.; Л., 1950. Ч. II.
- Даль, I–IV — Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. СПб.; М., 1880–1881. Т. I–IV.
- Живов 1986 — Живов В. М. Еще раз о правописании ц и ч в древних новгородских рукописях // Russian Linguistics. 1986. V. 10.
- Зализняк 1985 — Зализняк А. А. От праславянской акцентуации к русской. М., 1985.
- Зализняк 1986 — Зализняк А. А. Новгородские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения // Янин В. Л., Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте: (Из раскопок 1977–1983 гг.). М., 1986.
- Зализняк 1988 — Зализняк А. А. Древненовгородский диалект и проблема диалектного членения позднего праславянского языка // X Международный съезд славистов: Доклады советской делегации. Славянское языкознание. М., 1988.

- Зализняк 1989 — Зализняк А. А. Новгородские берестяные грамоты и проблема древних восточнославянских диалектов // История и культура древнерусского города. М., 1989.
- Зализняк 1993 — Зализняк А. А. К изучению языка берестяных грамот // Янин В. Л., Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте: (Из раскопок 1984–1989 гг.). М., 1993.
- Зализняк, в печати — Зализняк А. А. Об одном ранее неизвестном рефлексе сочетаний типа *tʲɛrʲ в древненовгородском диалекте // Балто-славянские исследования 1994 (в печати).
- Каринский 1909 — Каринский Н. М. Язык Пскова и его области в XV веке. СПб., 1909.
- Касаткин 1984 — Касаткин Л. Л. Русский диалектный консонантизм как источник истории русского языка. М., 1984.
- Касаткин 1989 — Касаткин Л. Л. Некоторые следствия напряженности первых и ненапряженности вторых согласных консонантных сочетаний в севернорусских говорах и в праславянском и древнерусском языке // Проблемы доказательства и типологизации в фонетике и фонологии: Материалы Всесоюзного совещания. М., 1989.
- Каталог — Каталог славяно-русских рукописных книг XI–XIV вв., хранящихся в ЦГАДА СССР / Сост. О. А. Князевская, Н. С. Коваль, О. Е. Кошелева, Л. В. Мошкова. М., 1988. Ч. 2.
- Колесов 1963 — Колесов В. В. Развитие второго полногласия в русских северо-западных говорах // Уч. зап. Ленингр. гос. ун-та. 1963. Вып. 68.
- Колесов 1980 — Колесов В. В. Историческая фонетика русского языка. М., 1980.
- Марков 1964 — Марков В. М. К истории редуцированных гласных в русском языке. Казань, 1964.
- Марков 1983 — Марков В. М. К истории неорганической гласности в русском языке // Вопр. языкознания, 1983, № 4.
- Могучева 1993 — Могучева Е. И. Функции служебного слова да в «Житии Андрея Юродивого» по спискам XIV–XVI вв.: (В связи с проблемой диалектной локализации текста). Дипломная работа (машинопись). МГУ, 1993.

- Молдован 1993 — Молдован А. М. Рукописная традиция древнерусского перевода «Жития Андрея Юродивого» // Wiener Slavistisches Jahrbuch. Wien, 1993. Bd. 39.
- Молдован 1994 — Молдован А. М. Критерии локализации древнеславянских переводов // Славяноведение, 1994, № 2.
- Молдован 1994 а — Молдован А. М. Лексика древнерусского перевода в региональном аспекте. М., 1994.
- Молдован 1994 б — Молдован А. М. «Житие Андрея Юродивого» в славянской письменности. Автореф. докт. дис. М., 1994.
- Николаев 1988 — Николаев С. Л. Следы особенностей восточнославянских племенных диалектов в современных великорусских говорах. I. Кривичи // Балто-славянские исследования 1986. М., 1988.
- Николаев 1994 — Николаев С. Л. Раннее диалектное членение и внешние связи восточнославянских диалектов // Вопр. языкознания. 1994. № 3.
- Обнорский 1912 — Обнорский С. П. Глухие в сочетании с плавными в Супрасльской рукописи // Изв. ОРЯС. Спб., 1912. Т. 17. Кн. 4.
- Порохова 1988 — Порохова О. Г. Полногласие и неполногласие в русском литературном языке и народных говорах. Л. 1988.
- ПСРЛ, I — Полное собрание русских летописей. Л., 1926, Т. I.
- Соболевский 1907 — Соболевский А. И. Лекции по истории русского языка. Изд. 4-е. М., 1907.
- Соболевский 1980 — Соболевский А. И. История русского литературного языка. Л., 1980.
- Срезневский 1879 — Срезневский И. И. Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках. № LXXXVII. СПб., 1879.
- Срезневский, I–III — Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка. СПб., 1893–1903. Т. I–III.
- СРНГ, 1–27 — Словарь русских народных говоров. Л., 1965–1992. Вып. 1–27.
- Фасмер, I–IV — Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1986–1987. Т. I–IV.

- Хабургаев 1979 — Хабургаев Г. А. Этнонимия «Повести временных лет» в связи с задачами реконструкции восточнославянского глоттогенеза. М., 1979.
- Хабургаев 1980 — Хабургаев Г. А. Становление русского языка. М., 1980.
- Шахматов 1881 — А. А. Шахматов — И. В. Ягичу (переписка). № 11. Ноябрь 1881: Москва // А. А. Шахматов. Сборник статей и материалов / Под ред. С. П. Обнорского. М.; Л., 1947.
- Шахматов 1902 — Шахматов А. А. К истории звуков русского языка. Гл. I. Полногласие // Изв. ОРЯС, 1902. Т. VII. Кн. 1.
- Шахматов 1915 — Шахматов А. А. Очерк древнейшего периода истории русского языка. Пг., 1915.
- ЭССЯ, 1–21 — Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лексический фонд. М., 1974–1994. Вып. 1–21.

Е. А. Галинская

ФОНЕТИКА СМОЛЕНСКОГО ДИАЛЕКТА НАЧАЛА XVII ВЕКА

Фонетические особенности южновеликорусских говоров XVI–XVII веков исследованы по памятникам местной деловой письменности уже достаточно обстоятельно. Так, в работах С. И. Коткова [Котков 1963; Котков 1952] и Г. А. Хабургаева [Хабургаев 1966; Хабургаев 1967] детально проанализирован язык памятников делового письма, созданных в XVI–XVII веках на территории современных курско-орловских, елецких, оскольских, верхнедеснинских говоров и межзональных говоров типа «А». Изучены новосильские говоры, входящие в нынешнюю Курско-Орловскую группу [Новицкая 1959], рязанские [Новопокровская 1956; Галкина 1961], калужские [Савченко 1966], тульские [Рыбочкина 1970] и воронежские [Жарких 1953] говоры XVII века. Однако картина остается неполной, так как до сих пор не было предпринято монографическое исследование смоленских говоров в том их виде, в котором они могут быть восстановлены по памятникам деловой письменности XVII века. Особенно интересно было бы реконструировать смоленский диалект начала XVII века, то есть того периода, когда Смоленская земля еще находилась в составе Русского государства. Дело в том, что в 1611 г. Смоленск после продолжительной осады был взят польскими войсками, причем из 80 000 жителей, насчитывавшихся там в начале осады, в живых осталось едва 8 000 человек [см. Пушкарев 1991: 160]. Лишь в 1654 г. московские войска, начавшие войну с Польшей, смогли освободить Смоленск и прилегающие к нему территории. Таким образом, на протяжении первой половины XVII века в Смоленской земле состав населения, вероятно, сменялся, отчего могли перекрещиваться различные языковые влияния. Именно поэтому было бы целесообразно восстановить фо-

нетическую систему смоленских говоров в исконном для XVII века виде, то есть для периода, предшествовавшего 1611 году.

В 1912 г. в Москве под редакцией и с предисловием известного русского историка и археолога Ю. В. Готье были опубликованы «Памятники обороны Смоленска 1609–1611 гг.» [Памятники... 1912] (далее — «Пам. обор. См.»). История появления этих текстов в печати такова. В 1837–40 гг. профессор Гельсингфорского университета С. В. Соловьев побывал в Швеции и обнаружил в замке Ску-Клостер, имени графов Браке, следственные дела города Смоленска начала XVII века. В 1893 г. собрание русских документов, принадлежавшее графам Браке, было перевезено из Ску-Клостера в Стокгольмский государственный архив. В 1897 г. Ю. В. Готье, будучи в Стокгольме, познакомился со Ску-Клостерскими столбцами и составил их краткую опись. По своему содержанию они представляли собой, в основном, образцы делопроизводства Смоленской приказной избы с августа 1609 г. по май 1611 г., то есть относились ко времени осады Смоленска поляками (имелось также несколько отрывочных документов 1605–1608 гг.). Эти документы побывали, судя по всему, в польском плену, а затем были пересланы в Швецию, причем обширное делопроизводство смоленских воевод, сохранявшееся в Польше, вероятно, вместе, попало при перевозке в Швецию в разные места. В 1910 г. Ю. В. Готье добился пересылки документов на время в Москву, где вновь пересмотрел и переписал их [см. там же: V–XVII], а в 1912 г., как было сказано выше, они были опубликованы.

Прежде чем приступить к лингвистическому анализу «Пам. обор. См.», следует решить вопрос об информативности этих текстов как отражающих именно смоленский диалект, ведь сведений о происхождении писавших те или иные документы у нас в большинстве случаев нет. От исследования безусловно отводятся: тексты № 1 («Отрывок известий лазутчиков») и № 278 («Письмо дьяка Ивана Грамотина к Л. Сапеге»), в которых много полонизмов; отрывок письма велижского старосты поляка А. Гонсевского к

М. Б. Шеину (№ 25); отписки в Москву смоленских воевод М. Б. Шеина и П. И. Горчакова (№№ 2, 3, 4, 5), их грамота (№ 35) и донесение (№ 48); отрывок вестей из Москвы (№ 57); отписки архиепископа Сергия (№№ 50, 51), а также «Челобитная монахов об отпуске в Москву» (№ 148) и «Отрывок челобитной монахинь Покровского Дорогобужского монастыря о милостыне» (№ 12). Документ № 55 — письмо из осажденного Смоленска в Москву — тоже, видимо, не следует привлекать к анализу в качестве источника, так как из письма следует, что родители отправителя живут в Москве и, таким образом, он, скорее всего, не был урожденным смолянином. Остальные тексты, разнообразные по содержанию, являются в основном документами Смоленской приказной избы и челобитными крестьян. Последние написаны с достаточно большим количеством отступлений от орфографических норм, обильно отражают диалектные особенности, такие, в частности, как аканье и яканье и, несомненно, фиксируют местный говор. Документы из приказной избы (а их большинство) зачастую написаны писцами, довольно грамотными, а иногда и очень грамотными (см., напр., тексты №№ 102, 105, 140 и др.), стремившимися не допускать в свои записи диалектизмов, но тем не менее спорадически и здесь мы находим яркие особенности, свойственные юго-западным русским говорам. Некоторые орфограммы с большой степенью вероятности указывают именно на западное происхождение писавших: *другею дорогою* — № 19 «Донесение о положении на границах» (ср. точно такое же написание в тексте № 9 — «Челобитной крестьян Порецкой волости о защите от набегов»), *в другерят* (2 ×) (из * *въ другый рядъ*) — № 241 «Роспись хлебной раздачи»¹, а также — «*привел дву тых найми-*

¹ Судя по данным Диалектологического атласа русского языка (далее — ДАРЯ), сочетание форм косвенных падежей прилагательных женского рода, которые имеют флексии, начинающиеся на <е>, с формой именительного падежа единственного числа прилагательных мужского ро-

тов» (№ 92 «Наем на службу») ². Таким образом, подавляющее большинство текстов оказывается пригодным для реконструкции фонстических особенностей смоленского диалекта начала XVII века.

Следует заметить, что издание Ю. В. Готье предназначено не для лингвистов, а для историков — так, в некоторых, больших по объему документах пропущены отдельные части, текстуально повторяющие уже приведенные или аналогичные им. Тем не менее издание это, выполненное с отменной тщательностью, может быть использовано и в целях лингвистического анализа. По свидетельству публикатора, «письмо сохранилось почти везде отлично, за исключением крайних листков и некоторых других, очень немногочисленных, где чернила выцвели» [Памятники... 1912: VII], что, видимо, облегчило задачу издания документов Смоленской приказной избы. Кроме того, Ю. В. Готье подчеркивает в предисловии: «Орфография подлинников удержана, потому что в некоторых документах замечаются особенности местного говора, могущие представить интерес для специального изучения» [там же: XVI]. Единственное, что в издании не отражено, — это вынесение букв над строкой (но в большинстве случаев это не препятствует лингвистическим интерпретациям), состав почерков и переходы от одного почерка к другому в пределах отдельных документов, а такие переходы, судя по анализу орфографии, в некоторых случаях есть.

да с окончанием <ей> присуще преимущественно только говорам современной Смоленской группы [ДАРЯ, вып. II: карта 42].

² Адъективные формы *ты́й / той* — *тая* — *тых* и т. д. включаются в современной лингвогеографии в ареал явлений общезападного распространения [см. Образование... 1970: 90–94, 211].

1. Ударный вокализм

1.1. Судьба фонемы <ѣ>

Ситуация с употреблением буквы ѣ и ее замен в «Пам. обор. См.» такова. В документах, составленных людьми, до определенной степени грамотными (например, служащими приказной избы), буква ѣ в соответствии с этимологическим <ѣ> иногда употребляется практически правильно, а иногда — правильно примерно в пятидесяти процентах случаев, заменяясь в остальных случаях на е. Для иллюстрации последнего положения приведем результаты сплошной выборки примеров из текста № 126 («Дело о взимании посулов на службе»).

Правильное употребление ѣ: перед тверд. согл. — *лѣта, челоѡѣкъ* (Р. мн.), *за... челоѡѣка* (В. ед.); перед мягк. согл. — *недѣли* (Р. ед.) (3 ×); в конце слова — *дѣѣ* (2 ×); *к себѣ, всѣ* (И. мн.).

Замена ѣ на е: перед тверд. согл.: *с тех*; перед мягк. согл.: *деи* (4 ×), *деи* (6 ×), *недели* (Р. ед.); в конце слова: *де* (2 ×), *по две* (2 ×), *на стене, где*.

Замена е на ѣ: *во всѣм, про всѣ* (В. ед. ср. р.).

В челобитных крестьян, написанных, как было сказано выше, без особого соблюдения орфографических норм, картина складывается по-другому. Здесь ѣ употребляется правильно в единичных случаях при массовой замене буквой е и обратных случаях замены е на ѣ. Так, например, данные «Челобитной крестьян Порецкой волости о льготах по уплате податей» (№ 7) таковы.

Правильное употребление ѣ: *бѣдных*.

Замена ѣ на е: перед тверд. согл. — *белых, белого, бедным* (3 ×), *бедныя* (2 ×), *деланых, неделаных, на лесы, меру, Порецкое волости, хлеба* (2 ×), *на тех, на тех же, от тех, с тех жея*; перед мягк. согл. — *дети, сеят(ь), за реки* (В. мн.).

Замена е на ѣ: *воѡванья, воѡвонымъ*.

В других челобитных отмечается примерно такое же соотношение орфограмм с *ѣ* и *е*. Очевидно, что фонема <ѣ> в начале XVII века в смоленских говорах уже заменилась фонемой <е>. Однако есть написания двух других типов, которые несколько усложняют картину.

Во-первых, это орфограммы, где на месте этимологического <ѣ> находим букву *и*:

Позиция перед тверд. согл.: *дѣвка* 241³ (при неоднократном *дѣвка*, *дѣвка* *ib.*), *два чѣловіка* 241 (при неоднократном *человѣк* *ib.*), *в его мѣста головы* 141, *Хринов* (фамилия) 141.

Позиция перед мягк. согл.: *истѣ* (3 л. ед. ч. наст. вр.)⁴ 242, *мѣсеца* (Р. ед.) 137, *Кириева* (Р. ед.), 16, *у...* *Кириева* 16, *Мосіев сын* 250, *Сергіев* 13, *Сергіев* 250, *Тимовия сынѣ* 159⁵.

Кроме того, отмечены написания *дозрѣт(ѣ)* 67, *дозрѣл* 45, *смотрѣл* 103, *смотрѣв* 226, *пересмотрѣти* 103, но здесь [и] может быть объяснено не только фонетически, но и морфологически — аналогией с глаголами, имеющими инфинитивную основу на *-и*.

П. А. Расторгуев, изучивший рукописные и печатные материалы XIX — начала XX века с записями смоленского диалекта и сам проводивший в 1929–1931 гг. полевые наблюдения над говорами многих населенных пунктов на территории Смоленщины, приходит к выводу о том, что [ѣ] тут совпал с [е]. «Следы старого ѣ, — пишет П. А. Расторгуев, — имеются иногда в положении его в начале слова под ударением в словах *естѣ* (в значении 'кушать'

³ Здесь и далее числами обозначаются номера текстов, из которых извлечены приводимые написания.

⁴ Видимо, перед нами форма [иc'т'] с [т'] мягким, широко распространенным в 3 л. наст. вр. глаголов в смоленских говорах [см. ДАРЯ, вып. II: карта 79]. Можно предположить, что в рукописном источнике стоял нейтральный знак, являющийся в скорописи вариантом графем /ѣ/ и /ь/, и он был передан в издании как ѣ.

⁵ Впрочем, написания с *и* в заимствованных именах собственных того рода не слишком показательны.

и *ехать*, здесь имеем и: *цист'*, *цыхът'*, причем слово *цист'* чаще встречается, чем слово *цыхът'*» [Расторгуев 1960: 55]. Форма *исть*, как видим, отмечена среди прочих примеров и в исследуемых текстах. Наличие такой огласовки фиксирует также Е. Ф. Карский: *исъ* ('ест') (Ржев) [Карский 1955: 214]. По его наблюдениям, употребление [и] на месте ударного <ѣ> распространено в белорусских говорах на южных и северных окраинах (напомним, что к белорусским говорам он причисляет и те, которые по современной номенклатуре считаются русскими смоленскими — см. «Этнографическую карту белорусского племени» в кн.: [Карский 1903]). Судя же по приведенным данным «Пам. обор. См.», [и] звучало на месте <ѣ> в некоторых словах также и на востоке территории, определяемой Е. Ф. Карским как белорусская, — то есть в собственно смоленских говорах. В единичных случаях произношение [и] и даже [ѣ], [иѣ] встречается в разрозненных населенных пунктах Смоленской группы говоров и сейчас [см. ДАРЯ, вып. I: карты 40, 41].

В текстах «Пам. обор. См.» имеется еще один тип написаний — с нетривиальной для восточнославянской письменности заменой ѣ на я: *мы не вядаям* 20, *вясчее* 86, 146 (= вѣсчее, т. е. 'пошлина, побор с определенного веса товара, плата за взвешивание' [см. СлРЯ XI–XVII вв., 2: 120]). Сюда же, вероятно, относится фамилия Облязов: *Облязов* 62, 92, 159 (7 ×), 241, 247 (3 ×), 249 (2 ×), 253 (4 ×), 256 (4 ×), 265 (3 ×), *Облязова* (Р. ед.) 191, 253, *Облязову* 232, *Аблязов* 141 и даже *Облазов* 209 (наряду с *Облезов* 241 (2 ×)⁶. Возможно, в эту же группу написаний входит и фамилия Изъялов: *Из(ъ)ялов* 256, *Из(ъ)ялав* 241 (ср. — дер. Изъялово, которая до сих пор существует в Смоленской области).

Следует заметить, что данные формы нельзя квалифицировать как полонизмы, поскольку не все из употребленных тут кор-

⁶ Ср. упоминание о Федоре Облязове в документе конца XVII в. — «Памяти Разрядного приказа о поместных окладах Федора Облязова и его сына по Дорогобужу и Ярославлю» (РГАДА, ф. 1209, оп. 78, № 791).

ней с [a] из <ѣ> имеют огласовку с [a] в польском языке, да и других полонизмов в рассматриваемом корпусе текстов не отмечено (те же тексты, где они есть (№№ 1, 25, 278), как было сказано выше, от анализа отведены). Поэтому объяснять приведенные орфограммы нужно, исходя из истории фонемы <ѣ> в праславянском языке. По-видимому, в раннепраславянский период <ѣ> звучал на всей славянской территории как [ǣ], и лишь позднее — после монофтонгизации дифтонгов — в некоторых славянских областях (в том числе у предков нынешних восточных славян) изменилось место образования фонемы <ѣ> и она стала произноситься как [ê] (или [iê]) [см. об этом подробнее: Галинская 1993]. До сих пор в славянских языках, в которых нормально представлены рефлексы <ѣ>, возводимые к звуку средневерхнего подъема, сохраняются реликтовые случаи произношения звуков, явно восходящих к *ѣ как широкому открытому гласному нижнего подъема, напр.: русск. диал. *цѣлой* (арханг.), *цѣп* (тульск., орл.), *медвѣдь* (влад.), *прѣсной* (волог.); укр. диал. [мад] и др. Вероятно, и встреченные в «Пам. обор. См.» написания *не вѣдаѣм*, *вѣсчѣе*, *Облязов*, *Аблязов* и др. также отражают спорадическое реликтовое произношение *ѣ как [a] в смоленском диалекте.

Есть некоторые основания полагать, что и в нынешнее время смоленским говорам известно произношение ударного [a] в соответствии с этимологическим *ѣ — в «Словаре смоленских говоров» (к настоящему моменту вышло только пять его выпусков — от А до К) приведены следующие лексемы:

ВЯЦО, *ср.* — 'Березовые прутья для веников';

ВѢЩИ, *только мн.* — 'Березовые ветки для веников';

ВѢЩО, *ср. собир.* — 'То же, что ВѢЩИ';

ВЙШИ, (*sic*) *преим. множ.* — 'Ветки деревьев' [ССГ, 2: 40, 60,

115].

Ср. один из упоминаемых контекстов: *Што веиши, што вяиши* [там же: 40].

Если перед нами корень *vě-, то слово ВЯЩО встает в один ряд с лексемами, зафиксированными в текстах начала XVII века. В словаре имеется и существительное ЗАПЯСОК со значением 'песчаная отмель' [ССГ, 4: 104]. Если оно не является полонизмом (польск. piasek — 'песок'), то также может быть учтено в контексте приведенных выше реликтовых архаических форм с [ʌ] на месте *ě. Заметим, что малочисленность подобных примеров (и в источниках XVII века, и в современных говорах) не должна нас смущать: ведь в тех восточнославянских диалектах, где отмечены случаи произношения гласных нижнего подъема в соответствии с *ě, они (на фоне регулярной рефлексии *ě в звуках, располагающихся на шкале [e] — [i]) единичны.

Что касается современного повсеместно распространенного в смоленских говорах рефлекса <ě> — [e], то он, судя по единичным случаям произношения [и], [ê] и [iê] < *ě в новейшее время и по орфографическим данным текстов начала XVII века, представляющих изредка замену буквы ѣ на и, восходит к новому для некоторой части праславянской диалектной зоны (и в том числе — для прасмоленских говоров) произношению «ятя» как звука средневерхнего подъема [o рефлексии *ě в смоленском диалекте начала XVII века см. подробнее: Галинская 1995].

1.2. Результаты изменения [e] в [o]

Наличие звука [o], происходящего из [e] под ударением перед твердыми согласными, отражено в исследуемых текстах достаточно широко. Конечно, в большинстве случаев такое [o] находит орфографическое выражение в позиции после букв, обозначающих непарные по твердости-мягкости шипящие и [ц]:

После ш — *горшошник* 227 (П), *Грошонак* (фамилия) 234, *по 7 решот* 97 (2×), *нашол* 11, *пришод* 7, *сшолся* 27, *сам-шость* 242 и т. д.

После *ж* — *жоны* (И. мн.) 68, *жонку* 8, *три жонки* 243, *жонк* (В. мн.) 6, *посажон* 60, *посожон* 203, *искала... чюжова* 101 и т. д.

После *щ* — *отпушон* 108, 212, *Кривощоков* 252, *Сущов* 118, *Сущовъ* 118, *Щоголяв* 227 (IV) и т. д.

После *ч* — *пчолы* 8, 16, *пчол* (Р. мн.) 7, *Гречоха* (имя) 234, *Печонкину* 232, *чорных* 7, *ни в чом* 141, 159, *на чом* 204 и т. д.

После *ц* — *сто стрелцов* 9.

Встречено несколько случаев отражения результатов изменения [е] в [о] в позиции после парных мягких согласных перед твердыми: *бьот* 20, *вперот* 118, *сам-сом* (= сам сём), 242, у *Фодара* 242: *Сямон* 159, *Семонав сынъ* 22, 241 (ср., впрочем, *Сямънов сынъ* 159).

Есть также написания, свидетельствующие о наличии аналогического изменения [е] в [о] в конечном ударном открытом слоге: *ещо* 97, *Ещцо* (топоним) 10, *в сельцо* 10. В словах же с суффиксом *-ёчек-* изменение [е] в [о], скорее всего, не осуществилось: *горшечик* 67, *мешечек* 206. Это явление и поныне широко известно русским диалектам, в том числе и части смоленских говоров [см. Жакова 1954: 5; ДАРЯ, вып. I: карта 39].

1.3. Вопрос об изменении [а] в [е]

П. А. Расторгуев фиксирует редкие случаи наличия [е] на месте [а] в смоленских говорах, замечая при этом, что такое произношение менее распространено здесь, чем в соседних белорусских диалектах. В качестве примера приводится лишь слово *дрень* и производное от него *дренный* [Расторгуев 1960: 30–31]. По данным ДАРЯ [е] на месте [а] между мягкими согласными встречается в смоленских говорах в единичных случаях. Так же, как и в других южнорусских диалектах, тут отмечается произношение *плем[е]нник* [ДАРЯ, вып. I: карта 43], но к процессу изменения [а] в [е] данное слово, скорее всего, отношения не имеет, так как это

старое образование от основы *племен-* [см.: Хабургаев 1966: 313]. Несколько более обширный материал можно извлечь из «Словаря смоленских говоров», в котором зафиксирован ряд лексем с [e] вместо [a]. Здесь регулярно встречаются слова с заменой суффиксального [a] на [e] в инфинитивах (позиция перед мягкими согласными, ср.: БЛИЩЕТЬ, БРЕНЧЕТЬ, БРЫНЧЕТЬ [ССГ, 1: 192, 250, 270], ДВОШЕТЬ ('тяжело, учащено дышать'), ДРОЖЕТЬ [ССГ, 3: 109, 146], ЗАБУРЧЕТЬ, ЗАКРИЧЕТЬ [ССГ, 4: 42, 71, 76] и нек. др.), а также в формах прошедшего времени от тех же глаголов (позиция перед твердыми согласными, ср.: *блищела* [ССГ, 1: 192], *дващела* [ССГ, 3: 109], *кричел, кричела* [ССГ, 5: 108] и нек. др.). Впрочем, это явление может иметь морфологическую природу, будучи обусловлено обобщением форманта <e> (из *ё), свойственного глаголам типа *гореть, висеть* [см. ДАРЯ, вып. II. Комментарии к картам: 135]. Однако обнаруживаются и случаи замены [a] на [e] в корнях слов, причем не только перед мягкими, но и перед твердыми согласными. Ср.:

Позиция перед мягкими согл.

ВГЛÉДИТЬ ('усмотреть, уследить'),

ВГЛÉДИТЬСЯ ('вглядеться'),

ВЗГЛÉДИТЬ ('усмотреть, уследить'),

ВÉЗЕННЫЙ ('вязаный'),

ВЕЗТЬ ('вязать') [ССГ, 2: 23, 26, 46],

ДРЕНЬ [ССГ, 3: 142].

Позиция перед твердыми согл.

ВЗГЛÉЖИВАТЬ ('наблюдать, следовать') [ССГ, 2: 46],

ДВОЙНÉШКИ ('приспособление для переноски кушанья в виде двух горшочков, скрепленных общей ручкой'; 'близнецы'),

ДРÉННО, ДРÉННЫЙ [ССГ, 3: 107, 142],

ЖÉБРЫ ('ребра' и 'жабры') [ССГ, 4: 16].

Обратившись к «Пам. обор. См.», находим следующие написания: *Веземской* 141 (ср.: *Вяземской* 261), *с пуговицы оловенны-*

ми 101, с пугвицы оловеными 224, внучетом (Д. мн.) 241 (IV) ⁷, причем в трех последних случаях [e] на месте [a] представлено в позиции перед твердыми согласными. В «Летописи Авраамки» XV века также есть аналогичные написания: *печелемь* 435 б, *держель* 275 б, — которые, впрочем, определяются Е. Ф. Карским как псковская и новгородская черта [см.: Карский 1899: 9; Карский 1955: 106]. Учитывая факты, извлеченные из «Словаря смоленских говоров», и написания *Вяземской, оловенными, оловеными, внучетом* в текстах начала XVII века, можно предположить, что и в «Летописи Авраамки» (если переписчик действительно был уроженцем Смоленска ⁸) орфограммы *печелемь* и *держель* могут классифицироваться не как скопированные с новгородского протографа, а как отражающие фонетическую реальность смоленского диалекта XV века.

Изменение [a] в [e] после мягких согласных — как под ударением, так и в безударных слогах — известно западноукраинским говорам (качество последующего согласного при этом роли не играет). Г. В. Шевелев считает, что это архаичный переход, обусловленный тем, что артикуляция [e] как переднего гласного ближе к артикуляции палатализованного согласного, чем артикуляция [a], и таким образом, изменение [a] в [e] является частичной аккомодацией звука [a] предшествующему согласному [см. Шевелев 1979: 546–547]. Можно предположить, что такая аккомодация в древности была присуща в той или иной степени и другим восточнославянским диалектам западной зоны, и реликты этого явления в русских юго-западных и белорусских говорах не исчезли. Ср. выборку примеров с *e* вместо *a* в безударных и иногда в

⁷ Имеются также орфограммы *учел* 205 (2 ×), *учела* 205, *полехчела* 174, но здесь реконструируется следующая акцентовка: *у́чел, учелá, полéхчела*.

⁸ В приписке к этому памятнику сообщено, что летопись была переписана по повелению Смоленского епископа Иосифа писцом Авраамкой в Смоленске [см. Карский 1899: 2].

ударных слогах из западнорусских памятников разных жанров XIV–XVII веков, которую мы находим у Е. Ф. Карского [Карский 1955: 105–108], и приведенные выше данные современных смоленских говоров.

2. Вокализм безударных слогов

2.1. Позиция после твердых согласных

2.1.1. Отражение аканья

В «Пам. обор. См.» довольно широко отражается аканье — в первом предударном слоге, а также в других предударных и заударных слогах. Есть случаи как прямого, так и гиперкорректного отражения аканья. Примеры вполне тривиальны для памятников делового письма, в которых представлена мена букв *a* — *o*, поэтому ограничимся приведением лишь некоторых. Следует заметить, что в ряде текстов никакой закономерности в употреблении букв *a* и *o* в зависимости от гласного ударного слога не выявляется. Так, в тексте № 7 (челобитной крестьян Порецкой волости) встречается лишь употребление *o* на месте *a*, но при этом *o* ставится не только перед <a> ударного слога, но и перед другими гласными: *похат(ь)*, *плотя*, *Восил(ь)ев*, *Моксимов*, *оришин* (Р. мн.), *коллоков*. Однако есть тексты, в которых соотношение написаний с буквами *o* и *a* как будто указывает на наличие в говоре писавших жиздринского типа диссимилятивного аканья. Например, в тексте № 34 («Челобитная крестьян Щучейской волости об обороне») встречена лишь замена *o* на *a*, причем распределение орфограмм с *o* и *a* в первом предударном прикрытом слоге таково:

Перед гласными ненижнего подъема			Перед <a>	
на месте <o>		на месте <a>	на месте <o>	
а) буква <i>o</i>	б) буква <i>a</i>	в) буква <i>a</i>	г) буква <i>o</i>	д) буква <i>a</i>
13 раз	23 раза	9 раз	9 раз	3 раза
(36 %)	(64 %)	(100 %)	(75%)	(25%)

Примеры:

а) *Борисович, Борисавичу, воют, в болюм, заложилися, в конец, которые, Мосея, погинути, полков, в Смоленскъ (2 ×), целобитчиков;*

б) *абараните, не отбаранит(ь), не отбаранитца, обарону, ваев[ан]ые, к варом, из воровских, Гашевской (т. е. Гонсевский), от дваров, наиол (2 ×), Пракопов, стаит, старажей (2 ×), на старожу⁹, сабе, под Таропец, хадили, захадити, челабитчиков (3 ×).*

в) *Василь(ь)ев, Василь(е)вы, [деревня] Абакунава, не дадите, к засекам, засек (Р. мн.), Матюеяв, Макавейко, радеют;*

г) *боярину, боярскаго (2 ×), за животами, Ромашка, целовальники (2 ×), целовальников, целовальникам;*

д) *не выхадя, не стаят, целавань(ь)ю.*

В подсчеты не включались формы, где неясен фонемный состав или ударение: *Карасняня, Полковской деревни, [деревня] Полане, Рекасицы, козаки.*

В тексте № 6 («Донесение о набеге на Щучейскую волость») встречено восемь случаев написания *a* в первом предупредительном прикрытом слоге в соответствии с фонемой <o> перед гласными ненижнего подъема (*живаты, каторья, Казловскаго, старажей, сабою (= с собою), таму, Тамилка, Тапорик* (фамилия) и ни одного случая замены *o* на *a* перед ударным [a], хотя таких позиций

⁹ Слово *сторожа* в древнерусском относилось к а. п. *a* (впрочем, при некоторых колебаниях в сторону а. п. *b*) [см.: Зализняк 1985: 132].

имеется шесть (*Королка* (фамилия), *побрали, пограбили, попа, робят, разогнали*). Одно написание не учитывается из-за неясности этимологии и ударения: *Боравлев* (фамилия).

Аналогичная картина наблюдается в тесте № 11 («Донесение В. Румянцева смоленским воеводам о положении на границе»). Здесь имеется 36 точек текста, где фонема <о> находится в позиции перед ударным гласным ненижнего подъема. В 18 случаях она передается буквой *а* (*дароги, на дароге, даганили, даганила, Коралку, каторае* (И. мн.), *с абех, к абедни, старажей* (3 ×), *старажеи, на тех старожях*¹⁰, *старожси, старон* (Р. мн.), *с сабою, пашол, на пагость*). С другой стороны, отмечено 22 точки текста, где фонема <о> стоит перед ударным [а]. Тут лишь один раз написано *а* (*стаяти*) и 21 раз — *о* (*боярину, боярщин* (Р. мн.), *боярских* (3 ×), *боярские, гоняти, Королка, поставил* (5 ×), *попа, пограбив, разогнали, собрав, стояти* (2 ×), *целовалнику* (2 ×).

Таким образом, писавшие, видимо, ощущали разницу между звуками, которые они произносили в соответствии с гласными неверхнего подъема перед <a> и не перед <a>¹¹, что и отразилось в орфографии (буквой *о* мог передаваться звук типа [ъ]). Итак, допустимо заключить, что в начале XVII века смоленские

¹⁰ Это и следующее написание представляют собой формы существительного *сторбжа* (см. предыдущую сноску).

¹¹ Ср. интересное свидетельство П. А. Расторгуева о том, что один из его информаторов ясно отличал звук типа [ъ] от гласного полного образования [а]: «Когда, договариваясь с ним, я назвал с. *Мошевое*, то он, с недоумением посмотрев на меня, сказал, что такого села он не знает и что у них в Починковском районе такого села нет. Когда же я произнес: *Ма-ша-ва-я*, т. е. с аканьем, разделяя слова по слогам, и с паузой после второго слога, то он после некоторого раздумья, спохватившись, переспросил меня, — может быть, мне нужно с. *Мъшываць*, то это другое дело: „В слове *Мъшываць* никакой *Маши*, *Маша* [как я произнес] нет“. И долго потом в дороге он не мог успокоиться, как это я, вместо *Мъшываць*, сказал *Машавая*» [Расторгуев 1960: 42].

говоры знали диссимилятивное аканье жиздринского типа, присущее им и в настоящее время [см. ДАРЯ, вып. I: карта 1].

2. 1. 2. Лабialisация безударного <о>

Изменение безударного [о] в [у] — довольно распространенное явление в смоленских говорах [см.: Расторгуев 1960: 52–54; Карский 1955: 118; ДАРЯ, вып. I: карта 10]. Как правило, такое [у] находится в соседстве с губными согласными, реже — с заднеязычными и сонорными [Расторгуев 1960: 52–53]. Представлено отражение этого перехода и в «Пам. обор. См.»:

1) в соседстве с губными: *взлумили* 169, *Скуморох* (фамилия) 234 (ср.: *Скоморох* 235);

2) в соседстве с заднеязычными и сонорными: *з Дукучаемь* 283 и, возможно, *куров* (*убили десятеро куров да трде поросят* 16, *шестеро куров* 16), если это форма Р. мн. от существительного *курова*, а не *куръ* ('петух').

Имеются также гиперкорректные написания: *возможает* 168 (ср.: *взмужает* *ib.*), *гомна* (И. мн.) 15, *трицать зипонов* 9, *Жоровлев* 42, *Хрипоновы* 9, 15, 19, *Хрипонову* 270 (ср.: *Хрипуновы* 14, *Хрипунову* 270).

Встречено у на месте *а* в производном от слова *настрафиль*, этимология которого неясна [см. Фасмер, III: 48]: *наструвилны* (И. мн.) 169 (ср.: *настровилны* *ib.*). Подобные случаи отмечает и Е. Ф. Карский, который объясняет их тем, что «на *а* безударное... взглянули как на *о* на месте которого в рассматриваемой местности возможно *у*» [Карский 1955: 113].

Примечательно, что [о], возникшее из [е] перед твердым согласным, также дает [у], что и отражено в одном из текстов «Пам. обор. См.»: *нищюва* (В. ед.) 101. (О наличии подобных форм в белорусских диалектах см. [там же: 121]). Это написание дает возможность установить относительную хронологию некоторых процессов, протекавших в системе вокализма смоленских

говоров, а именно: 1) изменение [e] в [o]; 2) лабиализация [o] в [y]; 3) развитие аканья–яканья, — ведь [y] в форме *нищюва* могло появиться только тогда, когда в заударном слоге еще сохранялось [o] из [e].

Отметим здесь же, что в исследуемых текстах встречено написание *усторожливо* 174, отражающее изменение [o] в [y] во втором предупредном неприкрытом слоге.

2.2. Позиция после мягких согласных

2.2.1. Первый предупредный слог

«Пам. обор. См.» хорошо отражают предупредное яканье. Конечно, не весь материал одинаково информативен в этом плане, так как некоторые писцы старались придерживаться орфографических норм, однако есть тексты (в том числе — составленные в Смоленской приказной избе), в которых написания с отражением яканья представлены очень часто. См., например, выборку примеров из текста № 159 («Отрывок дела о попытке к побегу и поручные записи по заподозренным лицам»): *не измянити, с стянны, в яво... голову места, Беклямишев, Белянихин, Бястужав, Вясин, Голянищав, Голянищов, Дяментяев, Дяментяевы, Яюймав, Яюимова* (Р. ед.), *Явсейя сынъ, Лявонтеяв сынъ, Нядюряв, Пятров сынъ, по Пятре, Пятрыкин, Сяделников, Сямон, Сяменов сынъ, Сямой Сяменов сынъ, Сярков, Сяргей*. Как видим, во всех этих случаях буква я пишется в слогах, предшествующих ударным гласным ненижнего подъема, так что можно предположить наличие в говоре писца диссимилятивного яканья. Уточнить тип яканья помогает анализ орфограмм с буквами я — е в первом предупредном слоге из документа № 242 («Список смоленских стрельцов с указанием состава семьи, наличных запасов хлеба и числа лиц, находящихся у них на постое»), причем из второй его части, озаглавленной «Костентинова сотня Щалина» (судя по некоторым орфо-

графическим особенностям, эта часть написана другим почерком, чем предыдущая).

перед <й>	перед <у>	перед * <ё>	перед * <о>	перед <е>
архияпис- куп, в сямьи, 2 сямьи (3 ×), Яоимка	у... Мяр- кушки (но: у... Мирку- шева)	в сямье (3 ×), в сямьѣ (33 ×), в сям(ѣ)ѣ, Оляксейка	яво (3 ×), яго, у няго (24 ×), у няго ж (12 ×), у... Весяло- ва, у... Дняп- ровца, у... Смяш- кова	у Дяменки, дерявенских (2 ×), сам-трятей (35 ×), сам-трятѣй
перед <а>				
Беляйка, у Степанка, у Степанка Скробка, у стрельца (58 ×) (но: ядят).				

Таким образом, в данном тексте явно отражается диссимилятивное яканье жиздринского типа. Здесь, правда, не представлена позиция перед * <о> открытым, но, тем не менее, и по имеющимся позициям тип яканья определяется однозначно. Впрочем, можно найти тексты, где реализация гласных неверхнего подъема в звуке [а] отражается и перед <о>, а также <’о>. Ср. данные документа № 227 (IV) («Поручные записи по Смоленских новоприбывших стрельцах и других лицах»):

перед * <о>: Осятров, Смяшков;

перед * <ё>: Бязхлебица (фамилия);

перед <о>: Весялои, Висялои;

перед <'о>: *Сяменов сынъ* (это именно позиция перед <'о> — ср. написание *Семонов сынъ* 241).

При этом перед <а> находим: *Степан, Несмеян, Стеванов сынъ*.

Существенно, что и в других текстах, отражающих яканье, в соответствии с фонемами верхнего подъема в позиции перед гласным <á> в подавляющем большинстве случаев пишется *e* (или иногда *ѣ*). Исключения малочисленны: *заяжся* 26, *вмяняет* 147, *ядят* 242 (впрочем, во всех этих случаях можно предположить и графическую аналогию с буквой *я* следующего слога).

Помимо орфограмм описанного выше типа, отмечено также небольшое количество случаев с буквой *и* в позиции первого предударного слога в соответствии с гласными верхнего подъема. Иногда буква *и* стоит перед ударным <á>, что не нарушает, в принципе, картины диссимилятивного яканья жиздринского типа: *всія Руси*, 227 (IV), *всія Руси* 165, *Оміл(ь)янка* 250, *плімянник* 250. Однако под ударением могут находиться и гласные нижнего подъема: *Битиговскои* 159 (ср. там же: *Битеговскои*), *Воскрісенскої... сотни* 250, *къ воіводам* 256, *ні вѣдаєт жа* 46, *дітіна* 143, *Кисілев* 250, *іво* 75, 76 (2 ×), 276 (3 ×), *Потрикѣевъ* 254, *пострилили* 71.

П. А. Расторгуев, рассматривая вокализм первого предударного слога после мягких согласных, пишет: «Сопоставление между собой примеров, представляемых источниками, приводит к выводу, что говорам Смоленщины свойствен не один тип яканья, а разные типы предударного вокализма. Помимо наличия в основном ... диссимилятивного яканья, в говорах имеется также умеренное яканье, иканье и, может быть, следы ассимилятивного принципа яканья. При этом следует отметить, что черты разных типов яканья встречаются рядом, часто в одних и тех же населенных пунктах» [Расторгуев 1960: 44].

Данные «Пам. обор. См.» позволяют заключить, что в начале XVII века в смоленских говорах уже было представлено дис-

симилятивное яканье жиздринского типа и имелись элементы иканья. Другие же сопутствующие элементы вокализма, отмечаемые в этих говорах в первой половине XX века, на основании материала исследуемых текстов не восстанавливаются.

2. 2. 2. Второй предупредный слог

По наблюдениям П. А. Расторгуева, второй предупредный слог в смоленских говорах, как правило, имеет на месте фонем неверхнего подъема звук [и] при редком [е] и [ʼа] [Расторгуев 1960: 45–47]. В текстах «Пам. обор. См.» в данной позиции употребляются три буквы: *и, е, я*, причем *я* встречается чаще: на *Иванка Лисуна* 8 (ср.: на *Лесуна, Лесуна* 8), *Дяонисеи* 159, *Мящеринов* 159, *Вясялои* 227 (IV), *японечник* 227 (I), *редовым* 162, *Месника* 40 (при: у... *Мясника* 242), у *емщика* 110, *емщика* 110. Впрочем, в последних четырех орфограммах буква *е* могла появиться гиперкорректно — для того, чтобы избежать отражения яканья.

Скудость материала не позволяет судить о степени распространённости яканья и иканья во втором предупредном слоге в смоленских говорах начала XVII века, но важно констатировать, что яканье здесь было.

2. 2. 3. Заударные слоги

В заударных слогах всех типов широко отражается яканье, хотя есть и случаи написания буквы *и* в соответствии с гласными неверхнего подъема.

Неконечные слоги

Буква *я*: *государявои* (Р. ед. ж. р.) 227 (I), *государява* (Р. ед. м. р.) 242, 227 (I), *государяво* (Р. мн. м. р.) 242, *ведоютя* (2 л. мн. ч.) 32, *двѣятца* (3 л. ед. ч.) 26, *нынешняво* 8, *Алексеявичю* 22, *Олексеявичю* 15, *Авдеява* (Р. ед.) 6, *Ондраявы* 8, *Овонас(ь)ява сына* (В. ед.) 168, *Дьмитреявы* 241, *Григорь(ь)явы* 13, *Дяментяевы* 159, *Дяментяев* 159, у... *Локтява* 242, *Юр(ь)явец* 227 (III) и т. д.

Буква *и*: на *Оноорѣива сына* 224, у... *Ондрѣива* 244, на... *Олексѣива сына* 224, *Василеи Василівич* 204, *Зилѣивы* 265, *Неупокоіовы* 247, *Маслінік* 250, *Терихов* 227 (I), *ябидницкою* (Т. ед. ж. р.) 101 и нек. др.

Конечно, встречаются и традиционные написания с *е* (или *ѣ*) на месте фонемы <е> (напр., с *военскими людьми* 8, *нынѣшняго* 8) и с буквой *я* на месте фонемы <а> (напр., *тысяча* 10, *синяя* 16), а также написания с *е* в соответствии с фонемой <а>: *корметца* (3 л. мн. ч.) 242.

Конечные закрытые слоги

Буква *я*: *болян* 165, у *братьяв* 243, в *Благовѣщеньявъ день* 11, *деньг* (Р. мн.) 8 (3 ×), 115, в *нынешням* 7, *отѣдят* (3 л. ед. ч.) 227 (V), *не слушааям* 32, *не смеям* 26, *вдааям* 20, в *Смоленяскъ* 36 (2 ×), 99, с *Юр(ѣ)ям* 22 и огромное количество отчеств и фамилий на -ев, напр.: *Алвер(ѣ)яв* 13, *Васил(ѣ)яв* 165, *Зенов(ѣ)яв сынъ* 13 и мн. др.

Буква *и*: *Михаила Архангил* 283, *здѣлаит* (3 л. ед. ч.) 227 (V), *не с ким* 11 (2 ×), *не с кимъ* 39, *неким* 11, *Беляив* 227 (I), *Васил(ѣ)івъ сынъ* 256, *Ондрѣивъ* 257, *Дмитреивъ* 257, *Яковлів* 250.

В этой позиции также отмечены написания с *е* на месте фонемы <а>: *не ходет* (3 л. мн. ч.) 60, *тысеч* (Р. мн.) 69.

Конечные открытые слоги

Буква *я*: *ведоаятя* 169, *вместя* 214, *уместя* 14, *людеи дя* 20, *пришли дя* 22, *слышали дя* 20, *таво дя* 20, *здѣся* 70, *крестьяня* 13 (6 ×), 20, *четыря* 169.

По данным П. А. Расторгуева, в смоленских говорах в ударных слогах представлены, в основном, редуцированные звуки, средние между [е] и [и]. В некоторых населенных пунктах отмечено [а], но в сочетании со звуком, близким к [и] [Расторгуев 1960: 47–50]. Карты ДАРЯ показывают, что в заударных закрытых слогах на месте гласных неверхнего подъема после мягких согласных в современных смоленских говорах звучит преимуще-

ственно [и]. Звук [а] в этом положении встречается чрезвычайно редко [см.: ДАРЯ, вып. I: карты 25–29]. Как видно из приведенных примеров, в начале XVII века заударное яканье и в открытых, и в закрытых слогах после парных мягких согласных было представлено в смоленских говорах (хотя и наряду с произношением звука типа [и]) достаточно широко, может быть, шире, чем в тех же диалектах конца XIX — начала XX века и тем более середины XX века.

Таким образом, заударное яканье, рассмотренное в хронологической перспективе, оказывается явлением, имеющим тенденцию к затуханию.

2.3. Позиция после шипящих согласных

В первом предударном слоге в архаическом слове смоленских говоров, над которыми вел наблюдение П. А. Расторгуев, почти всюду произносилось [а] перед всеми ударными гласными [Расторгуев 1960: 44]. Отражается произношение [а] в позиции после шипящих и в исследованных текстах начала XVII века: *чатыря* 241 (2 ×), *сам-чятверть* 242, у... *Чярыкина* 242, *чялом* 165, *чалом* 34, *э жсанюю* 241, *э жотликами* 115, *по решоту* 27 (при отражении аканья буква *о* равна букве *а*). С другой стороны, встречены орфограммы с *e* на месте фонемы <a>: *шелаш* 171, *в шелаш* 212, *Горчекова* (Р. ед.) 166, *перед Горчековым* 205 (впрочем, написание с *e* может быть здесь гиперкорректным).

Во втором предударном и прочих предударных слогах П. А. Расторгуев отмечает преимущественно [и] и реже [а] [там же: 46]. В рассматриваемых текстах буква *и* в этой позиции встречена (*два чіловіка* 241, *чіловец* 241), а буква *а* (помимо этимологически верных написаний) — нет. Имеются орфограммы: *ис... шелаша* 171, *в том шелаше* 171, *шелашей* 171, *на шеповалов* 177, *честоколишку* (Р. ед.) 53, которые могут как отражать произношение «не -а», так и быть гиперкорректными.

В заударных слогах в текстах «Пам. обор. См.» соседствуют оба типа написания — с *и* на месте гласных неверхнего подъема и с *а* на месте <е> (этимологически правильное употребление *а* и *е*, конечно же, не учитывается): *горшечик* 67, *кружівам* (Т. ед.) 101, *на мачиху* 280, *с мачихою* 280, *укажит* 141, *нечим* 7 (2 ×), 11, *он жа* 76, 127, *того жа* 26, *с тем жа* 26, *на том жа* 243, *не дает жа* 221, *снесут жа* 227 (П), *Микифор жа* 193 (2 ×), *людшак* 115, *вышал* 64, *Тютчяв* 159 и нек. др. Есть и случаи употребления буквы *е* на месте фонемы <а>: *выслушев* 67, *не слушают* 14, *слышели* 69, *слышел* 70, 74.

2.4. Развитие гласных звуков в начале слова

«Пам. обор. См.» отражают развитие гласных звуков в начале слова при [р] и [л] в сочетании со следующим согласным: *олненьх* 8, *олненьх* 7, 8, *ялненьх* 9, *иржи* (Р. ед.) 242 (11 ×), *аржи* 242, *Иржевской* 159 (ср.: *Ржевской* 253, 256), *Иртицев* 159 (ср.: *Ртицев* 241). Отмечены «приставочные» гласные *и* при других сочетаниях согласных, а также перед одиночным согласным звуком: *игдѣ* 67 (2 ×), 173, *игде* 116, *издеса* 18, *Митка Оникионов* 234, *Ониконецъ Федоров* 234. Прибавление протетических гласных в слове «ржаной» и в форме «ржи», а также в других словах с начальным труднопроизносимым сочетанием согласных в ударенном слоге известны и современным смоленским говорам [см.: ДАРЯ, вып. I: карты 14, 16]. Распространено здесь также прибавление гласного перед одиночным согласным: АБОСЫЙ, АГОЛЭЙ ('раздетый, без верхнего платья'), АКЫШ ('возглас, которым отгоняют птиц, кыш'), АЛИШЙТЬСЯ [ССГ, 1: 59, 63, 69, 70], — и перед

сочетаниями согласных, которые не являются труднопроизносимыми: АБРИКЕТ, АГРАБИЛИ, АКВАС [там же: 60, 61, 63, 69]¹².

3. Консонантизм

3.1. Фонема <в> и ее позиционные варианты

Смоленский диалект относится в настоящее время к зоне сплошного распространения произношения [ў] на месте <в> перед согласными в середине слова; лишь в отдельных населенных пунктах отмечено [w] перед звонкими и глухими или [в] перед звонкими, или же [ф] перед глухими (последний тип произношения локализуется, в основном, в северной части Смоленской группы — близости от псковских говоров) [см. ДАРЯ, вып. I: карта 56]. На месте <в> перед согласными в начале слова почти на всей интересующей нас территории звучит [у], несколько реже — [ў] (причем обычно в сочетании с [у]). На фоне произношения в этой позиции [у] в отдельных населенных пунктах наблюдается [в] перед звонкими или [ф] перед глухими (особенно на севере, на границе с Псковской группой говоров) [см. там же: карта 57].

Схожую картину описывает для периода конца XIX — первой трети XX века П. А. Расторгуев. В некоторых источниках, проанализированных им, отмечается сосуществование [ў], [у] с [ф] в слабых для фонемы <в> позициях. Что же касается реализации фонемы <в> в сильной позиции, то личные наблюдения П. А. Расторгуева показывают, что это был звук [w]. А поскольку перед согласным тоже иногда произносится [w], возникает смеше-

¹² О принципе прибавления «приставочных» гласных в юго-западных говорах см.: [Карский 1955: 260–264].

ние [w] и [y] в позиции начала слова перед согласными, например: *уатаруцу, wdárit'* и т. д. [Расторгуев 1960: 69–72].

Данные «Пам. обор. См.» таковы:

1) В позиции перед буквой, обозначающей гласный [y], отмечается пропуск буквы *в*: *зоут* 201, *заут* 61, 202, *у...* *Лари Плотина* 244, *у Степана Плотина* 244, *стал* — *убитова стрельца у Добрынкина места* 227 (П). Таким образом, в сильной позиции фонема <в>, по-видимому, могла реализоваться в звуке [w].

2) В середине и начале слова перед согласным также наблюдается пропуск буквы *в*: *Кузма Кушинник* 280, *волочас меж двор* — *нынешнее осадное время* 221. В середине слова (в том числе фонетического) единично пишется *у* вместо *в*: *наустречи* 243. Есть и обратные, видимо, гиперкорректные написания с буквой *в* в соответствии с фонемой <у> в данной позиции: *у...* *Невпакайка Ражнова* 242 (ср.: *Неупокоевы дети* 249), *а невчнет он...* *жит(ь)* 227 (V), *суд и вправу* 8 (3 ×), *на Вхин(ь)и* 101 (ср.: *на Ухин(ь)е, на Ухин(ь)и* ib.).

3) Отмечено довольно много написаний с буквой *у* вместо *в* в позиции начала слова перед согласным: *удава* 242, *унукъ* 238, *две унуки* 241, *уверх* 26, *узьял* 215 (2 ×), *уместе* 186 (2 ×), *уместя* 14, *Уласка* 238 (и даже с обеими буквами — *Уласка* 201), *у водяные ворота* 47, *идет...* *у Велижю* 32, *у Добрынкина места* 227 (П), *у мир* 186, *у полону* 18, *у слухи* 242, *у Торонецкой уѣздъ* 26, *у четвергъ* 19, *у шелаших* 167 и др. С другой стороны, в той же позиции вместо *у* пишется *в*: *в крестьян* (Р. мн.) 39, *в пятницких ворот* 176, *в него* (здесь и далее — Р. ед.) 241, *в нево* 26, 241 (5 ×), *в ней* 241, *в них* 242 (П) и т. д. В данной позиции на месте фонемы <в> звучало, видимо, [y] полного образования, что и привело, в частности, к мене предлогов — приставок *у* и *в*. Об этом свидетельствует и написание *у тех во всех 9 человекъ* 244, где вместо предлога *у* употреблен предлог *в* в огласовке *во* перед сочетанием согласных.

4) Наряду с приведенными выше орфограммами, свидетельствующими о том, что фонема <в> в сильной позиции могла реал-

лизоваться в звуке [w], а в середине слова перед согласными (для позиции конца слова данных нет) — в звуке [ʏ] (или [w]), и в начале слова — в звуке [y], встречены и следующие написания: *очера* 264, *на оѡторникъ* 116. Это говорит о том, что перед глухими могло звучать и [ф]. На такое произношение косвенно указывают и написания *про тавты* 168, *ковтанлика* 186.

Значит, сосуществование реализации фонемы <в> в слабых позициях в звуках [ʏ] ([w]), [y] с реализацией ее в звуке [ф] — черта для смоленских говоров не новая, она имелась уже и в начале XVII века.

3.2. Предлоги *ув*, *уво*

При издании «Пам. обор. См.» Ю. В. Готье, наверняка, разделял текст на слова. В некоторых случаях современный издатель-лингвист предпочел бы иное словоделение. Ср., напр., следующие написания: *у Вондрѣя* 226 (4 ×) (ср. там же: *Ондрѣя*, *Ондрѣю*, *от Ондрѣя* и др. без *в*), *у вотвесу* 207, *у Ворѣха Иванова* 16, *у в Ивана* 159, *у Вьльи пророка* 17. Перед нами, несомненно, предлог *ув*, употребленный перед начальными [о] и [ы] знаменательного слова. Отмечен также предлог *уво*: *уво вдовы* 238, *у во вдовы* 244 (3 ×), *у во Власка* 264. Предлог *уво* перед согласными, видимо, имеет другое происхождение, чем *ув* перед гласными. Е. Ф. Карский полагал, что *уво* восходит к удвоенному предлогу **въвъ*. Такое удвоение sporadически встречается и в северновеликорусских говорах: *вов чистом поле*, *вов сине море*. Ср. также пример из белорусских говоров: *ўвы вдовы* [Карский 1955: 334–335]. Судя по данным ДАРЯ, все говоры Смоленской группы знают сейчас предлоги *ув*, *уво* [см. ДАРЯ, вып. I: карта 59].

3.3. Протетическое и эпентетическое [в]

Современные смоленские говоры являются зоной последовательной приставки [в] перед [о], [у] [ДАРЯ, вып. I: карта 60]. В текстах «Пам. обор. См.» также имеются случаи отражения протетического [в]: *по вулицам* 26, *с вулицы* 152, *вотчѣма* (Р. ед.) 275, *Данила Вастрой Сабли* (Р. ед.) 272. Находит отражение и эпентетическое [в]: *Левонид* 148 (3 ×), *Левонов* 29, *Левонко* 19, *Лоривонов сынъ* 159, *Родивон* 235, *Родивонов* 15, *Родивоновы* 8, *Невугодка* 250 и т. д.

3.4. Фонема <ф> и ее замены

В «Пам. обор. См.» при наличии правильных написаний с буквами *ф* и *ѳ* отмечены случаи замены *ф* и *ѳ* на *х* (замены на *хѳ* нет): *Анохрей* 14, *Никихорко* 26, *Охремов сынъ* 200, *Стохеля* (Р. ед. — вероятно, от имени Евстафий) 245, *Халъѣ* 30, *Хралов снъ* 14, *Хима* (должно быть, от имени Ефимья) 202, 241, *Химка* 241 (2 ×), *Химька* 241, *Хомин* 239. Есть и случаи обратной мены: *Ареѳ* 186 (ср.: *Орѣх* 193, *Ореха* 11 и др.), *у Повѳома* 244, *Повѳомов* 29, *на Уѳин(ѳ)ю* 101, *на Уѳин(ѳ)е* 101 (ср.: *на Ухин(ѳ)е*, *с Ухин(ѳ)и*, *на Ухин(ѳ)е* 101 — р. Ухинья). Имеется одно написание с *п* на месте *ф*: *крестьянин Ѳиласопова* 22 (ср.: *Ѳиласовав* 159, *Ѳиласафав* 159 и др.). В одном случае *хѳ* заменяется на *ѳ*: *выѳотя из рукъ* 205. Смоленские говоры в их современном состоянии знают регулярную замену [ф] на [хв] и / или [х] [см. там же: карта 54]. Как видно из приведенных примеров, в начале XVII века существенно преобладающей была замена [ф] на [х] и гиперкорректная обратная замена (если только написания типа *Ареѳ* не являются гиперкоррекцией орфографической). Впрочем, судя по написанию *выѳотя*, замена [ф] на [хв], в результате которой возникла вторичная замена

[хв] на [ф] (если это, конечно, опять-таки не факт орфографии ¹³), свидетельствует о том, что субституция фонемы <ф> сочетанием [хв] также была знакома смоленскому диалекту, хотя, возможно, была менее распространена, чем в позднейшее время.

3.5. Задненебные согласные

3.5.1. Качество звонкого задненебного согласного

Как известно, качество звонкого задненебного далеко не всегда отражается в орфографии памятников древней письменности, так как буква *г* одинаково успешно обозначала [г] у носителей говоров с взрывным задненебным и [γ] у носителей диалектов с задненебным фрикативным, поэтому, если в источниках и встречаются указания на качество звонкого задненебного согласного, то они, как правило, единичны. В исследуемых текстах информативных в этом плане написаний совсем мало и они противоречивы: *апошен черлень с пуховицы 283* (ср. там же: *11 пугвиць*), *восмьдесят сермяк белых и черных 7*. Есть также написание *перед Оспажины заговейны 150*, но отсутствие буквы *г* в словах с корнем *господ-* встречается в памятниках, написанных на самых разных территориях, и отражает лишь общерусскую норму книжного произношения фрикативного [γ] [см.: Зализняк 1993: 234], не помогая решить вопрос о качестве звонкого задненебного в живом говоре. Имеется, однако, еще одна группа написаний, требующих комментария: *три армяги 165*, *Серкейка 6*, *кники 6, 11, с укрозами 34* ¹⁴. Они могут классифицироваться как отражающие

¹³ Более вероятно все же, что дело здесь не в чистой орфографии, а в отражении фонетики, ведь смоленские говоры знают подобные гиперизмы. См. примеры в кн. [Расторгуев 1960: 72, 73].

¹⁴ Впрочем, в форме *Серкейка* первое *к* может быть опiskой под влиянием последующего *к*. Что касается написания *кники*, то оно, должно быть, не случайно, поскольку отмечено дважды, причем в разных текстах.

непозиционную мену глухих и звонких согласных (см. ниже, 3.12). В таком случае мы имеем дело с меной [г] // [к], т. е. взрывного задненебного со взрывным.

Итак, встреченные в «Пам. обор. См.» написания, с одной стороны, свидетельствуют о наличии [γ] фрикативного (*с пуховицы*), а с другой стороны, о том, что задненебный звонкий оглушался в [к] и непозиционно чередовался с [к], а значит, мог быть взрывным. П. А. Расторгуев отмечает, что при явном преобладании фрикативного [γ] в смоленских диалектах, в некоторых местностях последовательно произносится [г] взрывное (например, в с. Княжем б. Красненского уезда), а в отдельных селах оба типа произношения сосуществуют [Расторгуев 1960: 77–79]. По данным ДАРЯ, все говоры Смоленской группы знают [γ] в сильной позиции и [х] в слабой, однако имеется несколько «островков», где в сочетании с произношением [γ] // [х] отмечается [г] в сильной и [к] в слабой позиции, причем более обширными, чем в основной части группы, эти «островки» оказываются на севере ее — на границе с псковскими говорами, которым свойственно [г] взрывное [см. ДАРЯ, вып. I: карта 44].

В свое время Р. И. Аванесов предположил, что смоленские говоры раньше принадлежали к севернорусскому наречию, а южновеликорусские черты (аканье и [γ] фрикативное) начали распространяться в них тогда, когда в исконно южновеликорусских говорах они уже устойчиво существовали [см. Аванесов 1952: 41, 46–47]. Как видим, [г] взрывное в смоленских говорах было еще возможно наряду с [γ] и в начале XVII века и, судя по статистическому соотношению приведенных написаний, могло быть более распространено в тот период, чем в конце XIX — XX в. В новое и новейшее время наличие взрывного задненебного в смоленском диалекте поддерживалось и поддерживается подражанием более престижному произношению [г]. Так, П. А. Расторгуев, ссылаясь на наблюдения Н. П. Гринковой, указывает, что ею отмечено [γ] только в говорах архаического типа, тогда как в новом типе говоров [γ] — редкость, причем грамотное население произносит

[г], а в говоре стариков [г] отмечается лишь спорадически [Расторгуев 1960: 78].

3.5.2. Сочетания заднеязычных с [ы]

В первой части текста № 242 регулярно употребляется сочетание **кы** на фоне нормативного для деловой письменности **ки** в других документах (в том числе — во второй части того же текста № 242, написанной, по всей видимости, другой рукой). Ср., напр.: у... *Алешкы*, у... *Васкы*, у *Гришкы*, у... *Ивашкы*, у... *Матюшкы*, у... *Петрушкы*, у *Свиридкы*, у *Юркы* (это лишь небольшая часть примеров с сочетанием **кы** в формах Р. ед. имен на *-ка*), *даргобужских*, *селских*, *посацкых*, *музыкы*, *2 женкы*, *четверикы с три*. При этом писец может написать и **ки** (например, у *Васки*, у... *Сенки*, у *Костьки*, у *Янки*), но таких случаев гораздо меньше. В тексте № 250 встречена орфограмма *Ивана Кунгы* при 12 случаях написания сочетания **ки**, а в тексте № 156 находим *порткы* (при двух написаниях с *ги*).

Допустимо предположить, что за буквенными сочетаниями **кы**, **гы** стоит фонетическая реальность, поскольку единичные случаи такого произношения отмечаются в смоленских говорах первой трети XX века П. А. Расторгуевым [1960: 78] и, судя по данным «Словаря смоленских говоров», имеются и сейчас, напр.: ГЫРИ ('крупные комья земли на пахоте', ГЫЧКА ('кочерыжка капусты') [ССГ, 3: 100], КЫЗЫКАТЬ ('щекотать'), КЫЛЬКА ('хвойная иголка', 'соринка, заноза', 'мякина' и т. д.) [ССГ, 5: 145, 146]. По свидетельству Е. Ф. Карского, сочетания **кы**, **гы** были обычны в белорусском, особенно в междометиях и звукоподражательных словах [Карский 1955: 364].

3.5.3. Вопрос о прогрессивном ассимилятивном смягчении [к]

В «Пам. обор. См.» употребляется огромное количество имен на *-ка*, и во всех текстах, кроме одного, в уменьшительном суффиксе последовательно отражается твердость [к] (*Өетка* 6, на *Исачку* 8 и т. д.). В тексте же № 241 наряду с преимущественными написаниями указанного типа зафиксировано семь орфограмм с *кя*: *Манкя* (3 ×), *Водкя*, *Понкя*, *Тренкя*, *Өедкя*. Поскольку этих написаний несколько, следует полагать, что они появились не случайно и к разряду описок не относятся. Необходимо, однако, удостовериться в том, что написания с *кя* вышли из-под пера носителя именно смоленского диалекта, а не какого-то другого южно-великорусского говора, где прогрессивное ассимилятивное смягчение заднеязычных было в XVII веке регулярной особенностью. Документ № 241 достаточно велик по объему (одиннадцать страниц печатного текста большого формата), поэтому удастся выявить совокупность диалектных черт, присущих писцу. Здесь отражаются следующие явления:

- 1) аканье (*Дабрыня*, *заловка*, *Өедаров сынъ*, *женакъ* — Р. мн.);
- 2) яканье, предупредное и заударное (*Лявухов*, *Дмитреява жена*);
- 3) совпадение <в> с <у> в начале слова (*две унуки*, *в нево*);
- 4) замена <ф> на <х> (*Хима*, *Химка*);
- 5) отвердение [р] (*э Дарыю* — см. об этом явлении ниже, 3.11);
- 6) адъективное окончание *-ей* в форме И. ед. м. р. (*вдругерят* (2 ×)).

Две последние особенности (находясь в сочетании с предыдущими, характерными для обширной южновеликорусской территории), указывают именно на юго-западное происхождение

писавшего. Кстати, как раз в этом тексте отмечены обсуждавшиеся выше орфограммы *Облязов, Из(ъ)ялов, дівка, внучетом*.

Судя по данным ДАРЯ, прогрессивное ассимилятивное смягчение заднебных для смоленских говоров в их современном состоянии нехарактерно. Лишь в одном населенном пункте в юго-западной части группы на самой границе с Белоруссией, отмечено [к] на месте [к] после парных мягких согласных, и в одном населенном пункте в окрестностях г. Трубчевска (южная часть смоленских говоров) произносится [ʏ] в соответствии с [y] после мягких [см. ДАРЯ, вып. I: карты 66, 67]. П. А. Расторгуев указывает на случаи прогрессивного ассимилятивного смягчения заднебных в говорах некоторых деревень Смоленщины, но все они находятся, в основном, на территории современной Верхне-Днепровской группы и межзональных говоров типа «А» [см. Расторгуев 1960: 78] ¹⁵. Примечательно, что произношение *Ванька, дочькя, чайкю* отмечено также для местности, где в ДАРЯ оно не фиксируется (с. Сержаны Издешковского р-на), т. е. к западу от границы распространения данного явления в настоящее время. Значит, в этом регионе могло произойти сужение ареала прогрессивного ассимилятивного смягчения заднебных в направлении с запада на восток. Таким образом, есть основания доверять вышеприведенным семи написаниям из «Пам. обор. См.» и предполагать, что в XVII веке прогрессивное ассимилятивное смягчение заднебных было до некоторой степени распространено еще западнее — в говорах, составляющих сейчас Смоленскую группу, — и являлось чертой, подвергшейся со временем нивелировке.

¹⁵ Правда, в одном случае неясно, откуда поступил материал — из Рославльского р-на или из Руднянского, т. к. в тексте приведен пример *Ванька* с ссылкой на ответ на «Анкету по говорам Смоленщины» из н. п. № 39 [Расторгуев 1960: 78], а в списке населенных пунктов, из которых прибыли ответы на «Анкету», номером 39 обозначены — видимо, по ошибке — две деревни из разных районов [см. там же: 25].

3.6. Шипящие [ш] и [ж]

Звуки [ш] и [ж] в современных смоленских говорах твердые [см. ДАРЯ, вып. I: карта 63]. Все источники, рассмотренные П. А. Расторгуевым, в том числе материалы первой половины XIX века, также указывают на твердость [ш] и [ж] [см. Расторгуев 1960: 76–77].

Тексты «Пам. обор. См.» дают довольно обширный материал относительно качества шипящих согласных — здесь регулярно употребляются сочетания *шя, шю, жя, жю*. Ср.:

шя: Елишяня 34, Кушялев 159 (2 ×), Шянин 227 (IV), Шятихин 159, упрашял 222, шяпок (Р. мн.) 7, 9 и т. д.;

шю: Шюмов 159, у... Шюшарина 245, у... Шюбникова 242, Мишюркина (Р. ед.) 13, Ошюшкина (Р. ед.) 243, в болюю меру 242, шюбка 283, трицат шюб 7, одну шюбу, две шюбы 101, две шюбенки 101, 2 шюрина 242 и т. д.;

жя: Бестужяв 159, Жяров 242 (2 ×), ис Сурожя 39, дорогобужян (Р. мн.) 242, не держят(ь) 227 (I), жялованья (Р. ед.) 242, нарежялся 26, пожялуу 33, убежяли 9, снесут жя 227 (I), хотят жя 39, с тех жя 7, с тем жя 26 и т. д.;

жю: Жюкову 232, у Велижю 32, кажюшной 283, межю 39, к... рубежю 39, рыжю 96, на... сторожю 39 и т. д.

Встречены также орфограммы *жэгли 36, выжэгли 19*.

Все приведенные написания позволяют заключить, что [ш] и [ж] были мягкими. Косвенным свидетельством того, что шипящие в смоленских говорах, действительно, отвердели поздно, служит тот факт, что зачастую здесь отсутствуют результаты изменения [e] в [o] перед шипящими [там же: 33]. Е. Ф. Карский предполагал, что шипящие в старых западнорусских говорах становились твердыми постепенно, а в XVI веке пошли по пути к окончательному отвердению [Карский 1955: 379]. Судя по данным исследуемых текстов, в смоленском диалекте еще в начале XVII века [ш] и [ж] произносились мягко. Впрочем, процесс их отверде-

ния в это время, по-видимому, уже постепенно начинался. Так, на фоне регулярных написаний с буквосочетаниями *ши*, *жи* встречается три случая написания *жы*: *ржы* (Р. ед.) 247 (2 ×), *аржы* 242 (при многочисленных написаниях *иржи* в этом же тексте). Видимо, позиция в труднопроизносимом сочетании после твердого [р] была первой, в которой шипящие начинали отвердевать.

3.7. Долгие шипящие согласные

Глухой долгий шипящий в начале XVII века был, судя по всему, мягким. Ср. следующие написания: *вмеццати* 159, *волоццане* (от «волость») 15, *волосцян* (Р. мн.) 9, *Верещягин* 261, *Гаврилиця* 107, *из Городицця* 39, *пиццал(ь)* 229, *прозвицця* 31: в *Сцючья* (д. Щучье) 39, *через Сцюческую волость* 9, *межю Сцючейскою волости* 39 и т. д.¹⁶ Что же касается других характеристик этого сложного звука, то здесь возникают два предположения. Во-первых, есть орфограммы, свидетельствующие о том, что это мог быть звук [шʃ]: 1) с удвоенным *ш* (а буква *ш*, напомним, ассоциировалась с мягким звуком): *прозвишша* (И. ед.) 118, *Сушшов* 118; 2) с меной букв *ш* — *щ*: за *Ещом* 11 (ср. там же: *от Елиа, на устье реки Елиши*), *зборшик* 240, *гребенишик* 205, *ямишик* 186, *ямишки* 186. Во-вторых, отмечено написание *из Чучья* (упомянутое выше село Щучье) 21, позволяющее заключить (если не предполагать здесь опisku), что писавший произносил [шʃ] (о мягкости <ч> см. ниже, 3.8.). Косвенно на такое произношение могли бы указывать и написания с сочетанием *шц*: *волосцян* (Р. мн.) 9, *помещицков* (Р. мн.) 26, в *Сцючья* 39, на *Сцючейскою рубеж* 39, *через Сцючейскую волость* 19 и др., но буква *с* могла быть здесь приставлена из каких-то других орфографических соображений, ср.: *по ситти человекъ*

¹⁶ Во встреченном один раз написании *с товарицы* 74 *ы* может быть объяснено графической аналогией.

69, где фонетически было, вероятно, [ш'т'и], но с тем не менее стоит.

Таким образом, долгий глухой шипящий, скорее всего, звучал как [ш'ш'], причем такое произношение, возможно, сосуществовало с произношением [ш'ч'].

Долгий звонкий шипящий имел, должно быть, реализацию [ж'ж']. На мягкость этого звука указывают написания *приѣжяют* 26, *не заяжся* 26, а на долготу — орфограммы *зажжсет* 186, *пожжженных* 7, *Дрожжяны* 250, *Дрожжяна* (Р. ед.) 251, *Петка Дрожжа* 248. Есть и написания с одиночным *ж*: *сожжено* 7, *пожжено* 8, *пожженными* 8 и приведенные выше *приѣжяют* 26, *не заяжся* 26, но они картины не меняют, указывая лишь на близость долгого звонкого шипящего звуку [ж], который, как показано выше, был мягким.

В современных смоленских говорах основным, повсеместно распространенным типом произношения долгого глухого шипящего является [шш]. В западной части группы с ним может сочетаться произношение [шч], в центральной и восточной — [ш'ш'], а на севере — [шч] и [ш'ш']. «Островками» отмечено произношение [ш'ч'] [см. ДАРЯ, вып. I: карта 48]. Долгий звонкий шипящий реализуется в сочетании [жж] на всей территории Смоленской группы. Лишь в западной ее части кое-где произносится [ждж], [жд'ж'], [ж'ж'] и [жд], а в северной части есть «островки», где отмечено [ж'ж'] [см. там же: карта 52].

Итак, шипящие — как нормально краткие, так и долгие — имели в начале XVII века в смоленских говорах другую реализацию, чем сейчас, и были мягкими. Нынешнее повсеместно распространенное их твердое произношение, следовательно, возникло не ранее середины XVII века.

3.8. Качество <ч>

При полном отсутствии буквосочетаний типа *чы, чь* в «Пам. обор. См.» отмечены орфограммы с *чя, чю*: *тысяча* 10, *Горчякову* 140, *Докучяв сынъ* 159, *Григор(ь)евичя* (Р. ед.) 227 (I), *у... Лучянинова* 242 (II), *Лучянин* 227 (IV), *тотчяс* 39, *Чярыкин* 227 (II), *щучяне* 32, *плачюца* 7, 8, *с тысечю* 14, *Иванавичю* 10 и т. д. Таким образом, мы имеем дело, по-видимому, с отражением мягкого [ч']. Значит, [ч'] твердое, широко распространенное в западной части Смоленской группы говоров в их современном состоянии [см. там же: карта 45], — черта относительно новая, в начале XVII века еще, видимо, не существовавшая. В XVIII веке твердое [ч'] в смоленском диалекте уже присутствовало, о чем свидетельствуют данные «Мемориала достопамятных курьезных авторизаций», который «в княжестве Смоленском от Рождества Христова лета 1746 марта 10 дня сочинень» (выборку написаний с *чы* из этого памятника см. [Расторгуев 1960: 81]).

3.9. Качество <ц>

Звук [ц] в начале XVII века был уже, несомненно, твердым. Ср.: *в том дворцы* 67, *исцы* 168, *у... Крелицына* 243, *у... Курицына* 244, *с лѣсницы* 64, *с стрелцы* 26, *пот стрельцы* 27, *Нагавицынской волости* 239 и т. д. Твердый он и в современных смоленских говорах [ДАРЯ, вып. I: карта 46]. Таким образом, смоленский диалект относится к числу таких, где сначала отвердел звук [ц], а лишь затем шипящие (в том числе [ч]).

3.10. Вопрос о цоканье

Мена букв *ц* и *ч* известна уже древнейшим смоленским грамотам [см.: Соболевский 1886: 1–16]. Встречено несколько случаев подобной мены и в «Пам. обор. См.»: *скляночку* 143 (2 ×), *чело-*

вали 32, *остеретча* (инф.) 32. Как видим, смешение аффрикат отразилось лишь в двух текстах ¹⁷. В первом случае мы имеем дело, скорее всего, с произношением [ц] на месте <ч>, а во втором и третьем можно усматривать как гиперкорректное отражение того же явления, так и чоканье, поскольку в некоторых смоленских говорах отмечалось чоканье на фоне совпадения аффрикат в звуке [ц] (см. как раз аналогичные примеры у П. А. Расторгуева: *человаться, мыч'ча*) [Расторгуев 1960: 85, 86]. Судя по данным ДАРЯ, твердое цоканье фиксируется сейчас лишь на севере Смоленской группы, причем в сочетании с различием [ц] и [ч]. Есть лишь один небольшой «остров», где отмечается исключительно цоканье. Имеется также «островок» произношения [ч] вместо [ц] в единичных случаях [ДАРЯ, вып. I: карты 45, 46, 47]. Анализ довольно обширного материала, приводимого П. А. Расторгуевым, показывает, что и в начале XX века совпадение аффрикат также наблюдалось в северных регионах Смоленщины (в Бельском, Поречском и Духовщинском уездах). При этом совпадение аффрикат в звуке [ц] нередко сопровождалось частичным их различием и совпадением их в звуке [ч] (реже отмечается [ч]). Видимо, примерно такая же картина наблюдалась в исследуемых говорах в начале XVII века. О широте распространения цоканья и о звуке или звуках, в которых совпадали аффрикаты, говорить — за неимением достаточного материала рукописных источников — трудно. Важно лишь подчеркнуть, что в той или иной степени совпадение аффрикат имело место.

¹⁷ Следует заметить, что в памятниках делового содержания XVI–XVII веков, созданных на тех территориях, говоры которых в настоящее время характеризуются цоканьем, смешение букв *ц* и *ч* практически отсутствует [см., напр., Елизаровский 1958, Колесов 1972, Колосов 1967, Колосов 1977], так что приведенные написания, хотя и немногочисленны, но вполне показательны.

3.11. Непозиционная твердость – мягкость согласных

Поскольку реконструируемый диалект принадлежит к юго-западной зоне, граничащей с белорусскими говорами, рассмотрим в первую очередь вопрос об отношениях фонем <р> и <р'>. Е. Ф. Карский отмечал, что белорусские говоры могут быть разделены на две группы — юго-западную «твердозрую» и северо-восточную «мягкозрую», хотя границы здесь приблизительны, так как в северо-восточной группе (а это и есть, напомним, по современной номенклатуре смоленские говоры) можно услышать [р] твердый вместо мягкого, а чаще — мягкий [р'] на месте твердого [Карский 1955: 307].

В современных смоленских говорах замена мягкого [р'] твердым чрезвычайно редка и отмечается лишь в отдельных населенных пунктах на границе с Белоруссией. Чуть чаще встречаются «островки» произношения [р'] на месте [р] (они разбросаны по всей территории Смоленской группы) [ДАРЯ, вып. I: карта 65].

По-видимому, тот факт, что смоленские говоры в современном их состоянии и в том, которое зафиксировал Е. Ф. Карский, знают результаты отверждения [р'] реже, чем замену [р] твердого на [р'] мягкий, свидетельствуют о том, что здесь шел процесс сознательного устранения твердого [р] в определенных словах, отчего и появлялся путем гиперкоррекции не соответствующий этимологии мягкий [р']. К XVII веку этот процесс уже начался, хотя еще вполне употребительны были и слова с [р] на месте [р']. Об этом свидетельствуют следующие написания, обнаруженные в «Пам. обор. См.»:

1) *прышо́л* 14, *з Дарыею* 241, *на Стрыжовой горе* 76, *Стрыжовой горы* 76, *Скрышлов* 130 (2 ×), 239, *Скрышлова* (В. ед.) 130 (3 ×), *Скрыгольников* 229, у... *Скрыгольникова* 239;

2) *Борішніка* (фамилия — Р. ед.) 250, *дирю* 145 (7 ×), *дiрю* 145, *по Крылошевськіе ворота* 231 (ср.: *на Крылошевських воротах* 231, *в Крылошове коңцѣ* 236 и др.).

Кроме того, отмечено довольно загадочное написание *отрячивал* 95. Фигурирует оно в следующем контексте: *А другой приводной человекъ Петрунка Гречиха сказал, что он (некий бобыль Петрунька — Е. Г.) гулящей человекъ, а отрячивал у него у Олешки пушкаря. Чуть выше же приводится само свидетельство пушкаря Алешки: А знат(ь) деи ему тот бобыль, потому что у них живал оброком на посаде, а ныне-де в осаде живет он у него. Таким образом, отрячивал — вероятно, описка, вместо обрячивал (из обрачивал, т. е. с заменой [р] на [р']*)¹⁸.

В исследуемых текстах отражается непозиционная мена и других твердых и мягких согласных:

[в] ~ [в']: *Воселой* (фамилия) 248 (ср.: *Веселой* ib.), *Пугвочник* 250.

[л] ~ [л']: *молыл* 280, *приходилил* 19, *улык* (Р. мн.) 146, *поехаллы или нет* 26, *переделивать* 101 ('передельывать'), *тябля*¹⁹.

[н] ~ [н']: *на башну* 186, *Овона* 13, *кназ* 253, *пятнацат однерядок* 7 (ср.: *две однорядки* 9), *вѣрнеподданаго* 272.

[с] ~ [с']: *вовса* ('вовсе') 38, *Сиромятник* 227 (II).

¹⁸ Глагол *обрóчиць* находим в «Словаре белорусского наречия» Н. И. Носовича со значением 'садить крестьян на денежный годовой платеж с освобождением их от барщины' [Носович 1870: 352]. В нашем тексте, вероятно, употреблен вторичный имперфектив от этого глагола — *обрачивать*, причем с другой грамматической характеристикой. Если у Носовича зафиксирован переходный глагол, то в приведенном выше контексте *обрачивать*, а следовательно, производящее *оброчить* — глаголы непереходные.

¹⁹ Ср. контекст: *да и тябля ему на храме велѣли подѣлати* (тяблó — 'свод или парус в храме с иконами и образами' [Даль, IV: 463–464]).

Кроме того, встречено имя „Мартин“ (*Мартин* 229, *Мартинка* 161, *Мартышка* 250 и др.), которое вообще часто пишется с буквой *и* в текстах южнорусского происхождения, а также имя „Савастьян“ (*Совастьянь* 104) и производное от имени „Гарасим“ (*Гарасимов* 159), которые равным образом известны в таком написании южнорусским текстам. Отмечены и орфограммы: *дырю* 145 (7 ×), *дiрю* 145, *в дирку* 119. Е. Ф. Карский указывал, что образование с [и] произошло, видимо, от глагола *дырати* — *дирати*. В древнерусских памятниках, по его свидетельству, встречаются как формы с корнем *дыр-*, так и формы с корнем *дир-*. Что же касается старых западнорусских памятников, то они знают только образование с *и* [Карский 1955: 237]. В современных смоленских говорах до сих пор произносится *дiрка*, *дирявьий*, *дiрочка* [ССГ, 3: 121, 122]. Таким образом, исключительное образование с корнем *дир-*, встреченное в исследуемых текстах, еще раз свидетельствует о том, что они писались уроженцами русского юго-запада и могут служить надежным источником для реконструкции смоленского диалекта.

Спорадическая мена твердых и мягких согласных была известна смоленским говорам и в начале XX века (см. материал, приводимый П. А. Расторгуевым [1960: 94]; имеется она, судя по данным «Смоленского областного словаря», и сейчас. Ср.: АНДЫК — АНДЮК ('индюк'), БАКЛАГА, БАКЛАЖКА — БЕКЛАГА, БЕКЛАЖКА ('деревянный или глиняный сосуд для хозяйственных нужд), БЗИК — БЗЫК ('приступ неистовства, необузданной ярости у скота из-за сильной жары и укусов оводов') [ССГ, 1: 78, 106, 107, 154, 155, 177, 178]; ДУПЛЁ ('дупло дерева') [ССГ, 3: 153], КВОЛЫЙ ('слабый, хилый, болезненный'), КРАЙНО ('очень, крайне') [ССГ, 5: 28, 99].

3.12. Непозиционная мена глухих и звонких согласных

В текстах «Пам. обор. См.» обнаружены следующие написания: *хлѣном* 162, *скирту овса* 101, *пятнатцат накиток* 16, *присылал с укрозами* 34, *кники* 6, 11, *Серкейка* 6, *три армяги* 165. Примечательно, что в датируемой второй половиной XVII века выписи из межевальных книг смоленского происхождения («Документ деревни Чернушек 1680 г.») также отмечено написание с буквой глухого согласного вместо буквы звонкого: *недохота дороги немного* [Цит. по публикации в журнале «Смоленская старина». 1911. Вып. 1. Ч. 2. С. 44].

Непозиционная мена глухих и звонких согласных, как показывают данные «Словаря смоленских говоров», известна смоленскому диалекту и сейчас. Ср.: БРЯЖКА, БРЯХА ('пряжка') [ССГ, 1: 272, 274], ВИЩАТЬ ('визжать', 'плакать, кричать'), ВИЩЕТЬ (то же), ВЯСЛО ('связка баранок, сушеных яблок, грибов') [ССГ, 2: 60, 115], ЖМОДНИЧАТЬ ('жадничать'), ЗАЛЯСКАТЬ ('издать лязг', 'застучать, забарабанить' и др. значения), ЗАЛЯСКОТАТЬ (то же), ЗАТÓХНУТЬСЯ ('задохнуться'), ЗАТЫХАТЬСЯ ('задышаться') [ССГ, 4: 28, 87, 122, 124]. Формы *к колодисю, калодиси, лотычка, вотычка* отмечались П. А. Расторгуевым [1960: 61].

3.13. Поведение твердых согласных в позиции сандхи перед <и>

В современном русском литературном языке все парные по твердости–мягкости согласные выступают в позиции сандхи перед фонемой <и> в своем основном виде (t # i). В украинском же языке имеется другой вид сандхи (ṭ # i), который достаточно широко распространен также в зоне северновеликорусского наречия [см. Пауфошима 1983: 38]. Как показывают исследования, первый тип сандхи характерен для говоров с более консонантной

системой, где хорошо развита корреляция согласных по твердости–мягкости, и согласные в позиции сандхи выступают в своих основных вариантах, в то время как последующие гласные к ним приспособляются. При этом есть говоры, где согласные ведут себя в указанном положении неодинаково: смягчаются или только губные согласные, или только заднеязычные или же и те и другие, тогда как остальные согласные остаются твердыми [см. там же: 42].

В «Пам. обор. См.» отражается, по-видимому, следующий тип сандхи: зубные и губные согласные выступают в своих основных вариантах, а заднеязычные, как можно предположить, смягчаются. Ср.:

губные + *ы*: в *сель в Ывачевичахъ* 61, ср. в *Ивановском стану* 54, в *Ылеикова места* 227 (IV), в *ызбѣ* 67, в *ызменѣ* 272, в *ымянных списках* 52, в *ыструб* 53, в *ысподнем бою* 183 и т. д.

зубные + *ы*: с *Ываном* 134, сь *Ываномъ* 241, с *Ыльина помѣстья* 257, с *ыгумна* 215, с *ыных* 85, из *Ывановыхъ житницъ* 245, под *ызбою* 112 и т. д.

Встречены также следующие написания: *вы Ивашкова места Веселова в ызмениячѣ* 227 (II). Здесь, вероятно, отражается предлог *вы*, который, по мнению Л. Л. Васильева, вырабатывался фонетическим путем (из *въ*) перед следующим [и] (так же возникали предлоги *кы*, *сы*) и был характерен именно для смоленских говоров, где имелось сочетание *-ыи* (напр., *слѣпыи*) [см. Васильев 1907: 252–253].

Что же касается написаний типа «заднебные + *ь*», то таковые не встретились ни разу, хотя соответствующие позиции имеются, напр., *к игумену* 193. Так что можно предположить, что исследуемый говор принадлежал в начале XVII в. к такому типу, где заднеязычные в позиции сандхи перед <и> смягчались, тогда как губные и зубные — нет.

3. 14. Отражение позиционного оглушения согласных

Отражение оглушения конечных согласных не столь уж часто встречается в древних текстах. Тем не менее в «Пам. обор. См.» отмечено отражение оглушения конечных [з], [д] и [ж]: *свес к себѣ* 97, *яс Трофим* 227 (II), *вдругерят* 241 (2 ×), *вперот* 118, *назат* 20, 32, *прохот* 152, *на стороже ш* 201.

Что же касается ассимилятивного оглушения, то здесь примеры более многочисленны.

[б] → [п]: *на Иваишу Рупца* 8, *на Рупцова сына* 8, *на хрепте* 155.

[д] → [т]: *потклея нат атписку* 22, *пот стрельцы* 27, *пот Колугою* 267, *потставою* 177, *поткоп* 77, *нат платьем* 168, *Волотко* 250, *Демитку* 196, *молотца* (В. ед.) 186, *у нарятчика* 205, *однорятка* 16, 224, *две однорятки* 165, у... *Реткина* 244 и нек. др.

[з] → [с]: *ис под неѣ* 230, *ис Козелска* 277, *блиско* 218, *выласки* 108, *зовяски* 101, *завяски* 168, *лест(ь)* 145, *обрески* 101, 168, *обрѣски* 168.

[ж] → [ш]: *въ бумашке* 123 (2 ×), *по вѣмъ торшкомъ* 65, *деревни Лушков* 239, *Серешка* 105 (2 ×), *с Серешкою* 105.

Встречены также гиперкорректные написания: *Полажка* 241, *2 креста азидны* 206, *порудчиковы головы* 159, *нас порудчиков* 159, *з смоленскими стрелцы* 48, *не испортиити* 168, *изтравити* 168, *з стужи* 115, *не зкинутца* (инф.) 159, *не зсылатца* 159.

Таким образом, смоленский диалект начала XVII века относился к числу тех великорусских говоров, которые пережили позиционное оглушение звонких согласных. Ср. указание П. А. Расторгуева на то, что во всех известных ему говорах Смоленщины звонкие согласные в конце слова и перед глухими подвергаются оглушению [Расторгуев 1960: 60-61].

3. 15. Ассимилятивные и диссимилятивные изменения, упрощения групп согласных.

3. 15. 1. Изменение сочетания [жск]

В исследуемых текстах отражается следующее ассимилятивное изменение сочетания [жск]: [жск → шск → сск (→ ск)]. Ср.: из *Велисскова... повета* (от топонима Велиж) 32, у *велиском повете* 32, *Микита Враской* 249, 255, *Дорогобужские... люди* 60 (от топонима Дорогобуж), *дорогобужской мужик* 242, *запорожские казаки* 72, *запорожских козаков* 72 (2 ×), *муских* 7, 8, 9, 16.

3. 15. 2. Ассимиляция в сочетаниях [бм], [дн]

Широко представленное в смоленских говорах изменение [бм → мм] и [дн → нн] [см. ДАРЯ, вып. I: карта 82; Расторгуев 1960: 92] находит отражение и в «Пам. обор. См.»: *ома* 26, к *Непровским воротам* 205, у *Непровских у больших ворот* 122 (ср.: от *Днепровских ворот до реки Днепра* 136). О степени распространенности этого явления в начале XVII века столь ограниченный материал судить не позволяет.

3. 15. 3. Диссимилятивные изменения

1) Сочетание [кт] переходит в [хт]: *хто* 27, 101 и др., *нихто* 52, 115 и др., *нехто* 73, *Лахтионка* 241, *Лохтионова жена* 262, *Галахтионова жена* 241, *Полухтов* 178, *Полухтова* (Р. ед.) 243 (2 ×) (ср.: *Полуѣтков* 261 (2 ×)).

2) Предлог *к* звучит как [х] перед последующими взрывными.

Перед [х]: *к реке х Каспли* 24, *х Казарину Бѣгичеву* 280, *х клети* 181, *ни х кому* 86, *к Олене х Козиной Головѣ* 101, *х Коломне*

281, *х Копытцким воротамъ* 132, *х Копытецким воротам* 229, *х кресному целованью* 264, *х королю* 158, 182, 227 (V).

Перед [п]: *х Петровскому игумену* 193.

Перед [т]: *х Третьяку* 280.

В современных смоленских говорах произношение предлога *к* перед взрывными как [х] намного менее распространено, чем на других южнорусских территориях, причем, если перед последующим [к] диссимиляция происходит в целом ряде местностей, то перед [п] и [т] — лишь в небольшом количестве населенных пунктов [см. ДАРЯ, вып. I: карта 88]. На существенно большее распространение произношения [х] из *к* перед [к], чем перед [п] и [т], указывают и данные, извлеченные из «Пам. обор. См.» (если предлог *к* употребляется в безгласной форме, то перед словами, начинающимися с [к], он предстает в виде *х* почти всегда, тогда как перед начальными [п] и [т] обычен вариант с *к* (напр., *к Пятницким вратам* 167, *к пушкарю* 183, *к тому* 170, *к тюрьмѣ* 170 и т. д.), а приведенные выше случаи с *х* единичны). Таким образом, в этом отношении ситуация за последние четыре столетия, видимо, не изменилась.

3. 15. 4. Упрощения групп согласных.

В текстах «Пам. обор. См.» отражается упрощение следующих сочетаний:

1) [стн] → [сн] (*возле извесной кучи* 45 (2 ×), *по изусной памяти* 224, *крепасной* 151, *у лѣсницы* 69, *четыря персня* 169 и т. д.);

2) [с'т'] → [с'] (*помес(ь)я* (И. ед.) 275);

3) [здн] → [зн] (*позно* 72);

4) [стц] → [сц] (*по кресцом* 65, *с исцом* 144, *тово исца* 144, *исцу* 146);

5) [чт] → [шт] ((*г'шт* → *шт*)) (*што* 34, 46 и др., *штобы* 34).

Отдельного рассмотрения требует вопрос об упрощении сочетания [чн] в [шн] ((*г'шн* → *шн*)). Применительно к смоленскому диалекту конца XIX — первой трети XX века П. А. Расторгуев

отмечает тут почти повсеместную утрату взрывного элемента аффрикатой [ч]. При этом имеются и случаи произношения [чн], но они характеризуют говор младшего поколения [Расторгуев 1960: 92- 93].

Судя по данным ДАРЯ, в современных смоленских говорах распространенность [ш] на месте [ч] в сочетании [чн] довольно велика, хотя она и несколько меньшая, чем в восточных среднерусских говорах [ДАРЯ, вып. I: карта 83].

Материал же текстов «Пам. обор. См.» таков. Здесь встречено небольшое количество написаний с буквенным сочетанием *шн*: *выморошное... помѣстье* 276, *о помѣстьях... о выморошных* 56, *горшошник* 227 (I), *Подвишников* 252, *Рукавишник* 227 (V)²⁰, *с рушницею* 229, *с рушницами* 229 (2 ×), у... *Шапошника* 242. Наряду с этим представлен целый спектр разнообразных лексем, в которых употребляется сочетание *чн*. Ср., например: *Булавочник* 130, *безвышмочно* 113, *вышмочное* 133, у... *Войлочника* 242, *гречневичник* 234, *круп гречневых* 67, 243, *даточной человѣкъ* 240, *даточному* 240, *Деревяничник* 234 (3 ×), *Епанечник* 234, *японечник* 227 (I), у *житничнова* 80, *Завязочникъ* 250, *Замочник* 250, у *замочника* 239, *Кирпичникъ* 242 (II), у... *Кирпичникова* 242, *Колачник* 121, 234, *Калачник* 121, *Крючник* 234, *Лучников* 232, у... *Лучника* 242, *Оболочник* 250, *Обручечник* 234, *однолично* 18, 133 (2 ×), *одноконечно* 66, *Оловяничник* 234, *платечная рухлед(ь)* 67, *поличнова искат(ь)* 144 (2 ×), *на поличная* 144, 146, *на поличное* 166 (3 ×), *в поперечнике* 142 (3 ×), *поперечнику* 47, *запись поручную* 151, *посылочная* 227 (I), *пряничникъ* 248, *Пугвичник* 234, *Пуговичникъ* 234, *рукавичник* 234, *Руковичьник* 60, *два ручника* 16, *с ручницами* 229 (2 ×), *ссылчных* 223, *стречно* 223, *Свѣчнику* 231, *Шапочникав* 166, *шапочник* 229 (2 ×), *не явочное* 112, 117, *безъявочно* 112, 117, *Яичнин* 124, *круп ячных* 67 и т. д.

²⁰ С заглавной буквы в издании обычно воспроизводятся фамилии и прозвища, со строчной — названия профессий.

Изменение [чн] в [шн] относится к числу тех языковых явлений, которые достаточно свободно отражаются в орфографии памятников деловой письменности. См., например, извлечения из скорописных документов, созданных во Владимирском крае в XVII веке ²¹: *грешневых* 78–4, *киртишиноч* 88–41, *в кузнешиноч завод* 77–55 об., *на кружешиноч дво^р* 166–1, *колашники* 136–198, *ларешиноч* 166–1, *лѣтошнее* 78–10, *шброшьна²* 210–1, *околотошная* 56–70, *око^ннишнику* 88–27 об., *к окоше^шн^м затвора^м* 88–41, *Песочное* (название деревни) 1–16 об., *пешинику* 82–168, *поперешнику* 90–8, *Пиешинное* (название деревни) 1–9, *запорушную запис* 239–140, *каѣта^м понитошиноч* 77–20, *Рукавишникъ* 246–37, *рундук* и *рундушное место* 89–133 об., *Сѣвшникъ* 89–4, *к сеи явожной челобитной* 169–1 об., *яшневой муки* 77–24, *язышною молкою* 111–1 и т. д. В этих же текстах встречаются написания с *чи*, но их меньше. Такая орфография, наверняка, соответствовала языковой ситуации, поскольку в современных владимирских говорах произношение [шн] распространено повсеместно [ДАРЯ, вып. I: карта 83].

Таким образом, есть основания полагать, что [шн] на месте сочетания *чн* было в смоленском диалекте в начале XVII столетия существенно менее частотным, нежели в XX веке. Видимо, первоначальным ареалом распространения этого явления были восточные русские говоры (ср. приведенный материал текстов Владимирского края), откуда и пошла экспансия такого типа произношения на запад.

4. Заключение

Итак, тексты «Пам. обор. См.» позволяют восстановить фонетическую систему смоленских говоров начала XVII века в достаточно полном объеме. Сопоставление же реконструирован-

²¹ Материал приводится по изданию [Пам. Влад.]. Первым числом после орфограммы обозначается номер текста, вторым — номер листа.

ной совокупности языковых особенностей с тем состоянием смоленского диалекта, которое зафиксировано в XX веке, даст возможность представить систему в динамике и показать, как те или иные фонетические явления располагаются на временной оси.

**I. Фонетические особенности смоленских говоров,
имевшиеся в начале XVII века
и оставшиеся неизменными до наших дней.**

1) Совпадение <ѣ> с <е> при редких случаях произношения [и] на месте этимологического *ѣ и реликтовом сохранении [а] из *ѣ.

2) Регулярно представленные результаты изменения [е] в [о] (кроме позиции перед поздно отвердевшими согласными, в том числе в суффиксе -ѣчек-).

3) Некоторая распространенность изменения [а] в [е] после мягких согласных в позиции как перед мягкими, так и перед твердыми согласными.

4) Жиздринский тип диссимилятивного аканья.

5) Лабиализация безударного [о] в [у].

6) Жиздринский тип диссимилятивного яканья и элементы иканья.

7) Развитие протетических гласных в начале слова перед сочетаниями согласных и перед одиночными согласными звуками.

8) Реализация фонемы <в> в сильной позиции в звуке [w], в середине слова перед согласными — в звуках [w] или [ў], в начале слова перед согласными — в звуке [y] при том, что в слабых позициях перед глухими согласными изредка отмечается реализация <в> в звуке [ф].

9) Смещение предлогов и приставок *в* и *у*; наличие предлогов *ув*, *уво*.

10) Наличие протетического и эпентетического [в].

11) Реликтовое сохранение сочетаний [кы], [гы], [хы].

12) Твердая аффриката [ц].

13) Наличие совпадения аффрикат.

14) Отдельные случаи отвердения [р] и произношение [р'] в соответствии с фонемой <р>.

15) Спорадическая непозиционная мена согласных: а) твердых и мягких, б) звонких и глухих.

16) Оглушение звонких согласных в конце слова и ассимилятивное оглушение.

17) Регулярное изменение предлога *к* в [х] перед последующим [к] и более редкое — перед [п], [т].

**II. Фонетические особенности,
имевшиеся в системе смоленских говоров
начала XVII века
и отличавшие ее от современной.**

1) Бóльшая распространенность яканья в заударных слогах после парных мягких согласных.

2) Преимущественная замена [ф] на [х] (а не на [хв]).

3) Возможно, большее распространение [г] взрывного (в соуществовании с [γ] фрикативным), чем в XX веке.

4) Некоторая распространенность прогрессивного ассимилятивного смягчения заднеязычных.

5) Мягкость шипящих <ш> и <ж>.

6) Мягкость долгих шипящих согласных.

7) Мягкость <ч>.

8) Меньшая распространенность сочетания [шн] из [чн], чем в нынешнем состоянии говоров.

Таким образом, в начале XVII века смоленский диалект наряду с особенностями, которые не подверглись за последние четыре столетия изменениям, имел — в фонетическом плане — некоторые существенные отличия от того его состояния, которое зафиксировано в XX веке. Значит, выстроив применительно к юго-западным русским говорам ряд хронотопоизоглосс, мы мо-

жем смоделировать тем самым фрагмент картины диахронного изменения восточнославянских диалектов.

ЛИТЕРАТУРА

- Аванесов 1952 — Аванесов Р. И. Лингвистическая география и история русского языка. // *Вопр. языкознания*. 1952. № 6.
- Васильев 1907 — Васильев Л. Л. К характеристике сильно акающих говоров // *Русск. филологич. вестник*. 1907. Т. XIII. № 3–4.
- Галинская 1993 — Галинская Е. А. О хронологии некоторых изменений в системе вокализма праславянского языка // *Исследования по славянскому историческому языкознанию: Памяти профессора Г. А. Хабургаева*. М., 1993.
- Галинская, 1995 — Галинская Е. А. Рефлексы фонемы <ѣ> в смоленском диалекте начала XVII века // *Вопр. языкознания* 1995. № 4.
- Галкина 1961 — Галкина Г. С. Язык рязанских деловых документов XVII–XVIII вв.: Автореф. канд. дис. Тула, 1961.
- Даль, IV — Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV. СПб.; М. 1882.
- ДАРЯ, вып. I — Диалектологический атлас русского языка: (Центр европейской части СССР). Вып. I. Фонетика. М., 1986.
- ДАРЯ, вып. II — Диалектологический атлас русского языка: (Центр европейской части СССР). Вып. II. Морфология. М., 1989.
- Елизаровский 1958 — Елизаровский И. А. Язык беломорских актов XVI–XVII вв. Архангельск, 1958.
- Жакова 1954 — Жакова З. И. Восточно-смоленские говоры в их истории и современном состоянии: Автореф. канд. дис. М., 1954.
- Жарких 1953 — Жарких Т. В. Язык воронежских грамот XVII века (Фонетическая система и морфологический строй): Автореф. канд. дис. Воронеж, 1953.
- Зализняк 1985 — Зализняк А. А. От праславянской акцентуации к русской. М., 1985.

- Карский 1899: — Карский Е. Ф. Особенности письма и языка рукописного сборника XV века, именуемого летописью Авраамки // Варшавские университетские известия. Варшава, 1899. Т. III.
- Карский 1903 — Карский Е. Ф. Белорусы. Том I. Введение в изучение языка и народной словесности. Варшава, 1903.
- Карский 1955 — Карский Е. Ф. Белорусы. Язык белорусского народа. Вып. I. Исторический очерк звуков белорусского языка. М., 1955.
- Колесов 1972 — Колесов В. В. Различительные особенности языка и письма в северновеликорусских рукописях из собрания Пушкинского дома // Рукописное наследие Древней Руси. Л., 1972.
- Копосов 1967 — Копосов Л. Ф. Фонетика вологодских говоров XVI–XVII вв.: (По данным местной письменности) // Уч. зап. Моск. обл. пед. ин-та. 1967. Т. 204. Вып. 14.
- Копосов 1977 — Копосов Л. Ф. Унские грамоты XVI–XVII вв. // История русского языка: Лингвистический сборник. М., 1977. Вып. 7.
- Котков 1952 — Котков С. И. Заметки по консонантизму курско-орловских говоров // Доклады и сообщения Института русского языка АН СССР. М., 1952. Т. 2.
- Котков 1963 — Котков С. И. Южновеликорусское наречие в XVII столетии: (Фонетика и морфология). М., 1963.
- Новицкая 1959 — Новицкая И. С. Новосильские говоры в их истории и современном состоянии (Фонетика и морфология): Автореф. канд. дис. Л., 1959.
- Новопокровская 1956 — Новопокровская В. Н. Диалектные особенности рязанских говоров XVII в.: Автореф. канд. дис. Рязань 1956.
- Носович 1870 — Носович Н. И. Словарь белорусского наречия. СПб. 1870.
- Образование... 1970 — Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров: (По материалам лингвистической географии) / Отв. ред В. Г. Орлова. М., 1970.
- Памятники... 1912 — Памятники обороны Смоленска 1609–1611 гг. / По ред. и с предисл. действительного члена Ю. В. Готье. М., 1912.

- Пам. Влад. — Памятники деловой письменности XVII века: Владимирский край / Под ред. С. И. Коткова. М., 1984.
- Пауфощима 1983 — Пауфощима Р. Ф. Некоторые особенности сан-ди в севернорусских говорах // Русские народные говоры: Лингвогеографические исследования. М., 1983.
- Пушкарев 1991 — Пушкарев С. Г. Обзор русской истории. М., 1991.
- Расторгуев 1960 — Расторгуев П. А. Говоры на территории Смоленщины. М., 1960.
- Рыбочкина 1970 — Рыбочкина Е. А. Фонетика и морфология тульских говоров XVII в.: Автореф. канд. дис. М., 1970.
- Савченко 1966 — Савченко Н. Ф. Калужские говоры XVII века по данным местной письменности (Фонетика и морфология): Автореф. канд. дис. М., 1966.
- СЛРЯ XI–XVII вв., 2 — Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1975. Т. 2.
- ССГ, 1–5 — Словарь смоленских говоров. Смоленск, 1974–1988. Вып. 1–5.
- Соболевский 1886 — Соболевский А. И. Смоленско-полоцкий говор в XIII–XV вв. // Русск. филологич. вестник. 1886. Т. XV. № 1.
- Фасмер, III — Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1987. Т. III.
- Хабургаев 1966 — Хабургаев Г. А. Заметки по исторической фонетике южновеликорусского наречия: (Введение. Вокализм) // Уч. зап. Моск. обл. пед. ин-та. 1966. Т. 163. Вып. 12.
- Хабургаев 1967 — Хабургаев Г. А. Заметки по исторической фонетике южновеликорусского наречия: (Консонантизм) // Уч. зап. Моск. обл. пед. ин-та. 1967. Т. 204. Вып. 14.
- Шевелев 1979 — Shevelov G. Y. A Historical Phonology of the Ukrainian Language. Heidelberg, 1979.

Э. Г. Шимчук

ИЗ ИСТОРИИ СЕМАНТИКИ И СЛОВООБРАЗОВАНИЯ

(ДР.-РУССК. ПАКОСТЬ И ПАКЫ)

1.1. Между др.-русск. *пакость*, ж. (с его довольно многочисленными производными *пакостьство* (*пакство*), *пакостьвовати*, *пакостивын*, *пакостительнын*, *пакостити(ся)*, *пакостьливын*, *пакостьникъ*, *пакостьница*, *пакостьновазнивын*, *пакостьновредьнын*, *пакостьнын*, *пакостовати(ся)*, *пакощами*¹) и *паки*², на первый взгляд, нет ни формальной, ни семантической связи. Можно, однако, показать, что эти слова на раннедревнерусском уровне этимологической связи не утратили и обнаруживали единство с производящей основой.

1.2. Рассмотрим вначале данные, относящиеся к слову *пакость*. Интересующее нас существительное включается в небольшую семантическую группу имен с ярким оценочным значением, образованных от прилагательных (*мързость*, ж. 'что-л. вызывающее отвращение, ненависть', от прил. *мързын* 'мерзкий, отвратительный', *сквърность* 'осквернение', от *сквърнын* 'скверный, отвратительный, нечистый' и нек. др. под.). Считается, что это существительное в древнерусском было производным (имени прилагательного, с которым оно могло бы быть связано словооб-

¹ Древнерусские данные здесь и далее, за исключением тех случаев, когда другой источник указывается специально, приводятся по [СлРЯ XI-XVII вв.], при этом слово дается в орфографии, отражающей его морфемную и фонемную структуру в раннедревнерусскую эпоху.

² Словообразовательные связи этого наречия ограничены: исследователи указывают лишь на *опаки* (*опаки*), *опако* и *наопаки* (*наопаки*), *наопако*.

разовательными отношениями, в древнерусских источниках не обнаружено).

В качестве исходного значения имени **пакость** во всех словарях, описывающих древнерусскую лексику, рассматривается оценочное 'вред, ущерб, зло', по отношению к которому прочие очевидным образом интерпретируются как дериваты, возникшие на основе контекстной специализации: 'порувание' ≈ 'действие, наносящее **вред, ущерб**, оцениваемое как **зло**'; 'беспокойство, то, что тяготит, докучает и наносит **ущерб**'; 'препятствие, помеха' ≈ 'то, что стоит на пути осуществления чего-л. и может нанести **ущерб**'; 'тяжелое испытание, беда, несчастье', то есть ≈ 'нечто, наносящее физический и нравственный **ущерб**'; 'нечистота, мерзость ≈ 'нечто нечистое, мерзкое, что может быть средством нанесения **ущерба**'.

Примечательно, что по показаниям всех словарей славянских языков лексемы, являющиеся формальными соответствиями др.-русск. **пакость**, также, как правило, имеют значение 'вред, порча, ущерб, зло, неприятность'³. Специфические, отличные от древнерусских семантические модификации представлены в с.-хорв. ('злоба, ехидство'); польск. ('упрямство', 'проказы', 'озорство'); н.-луж. ('лакомство'); русск. диал. ('шалун, который пор-

³ Это видно из их простого перечисления [см. Варбот 1965]: в ст.-сл. 'ущерб'; 'страдание'; болг. 'вред, порча, ущерб, убыток, зло'; с.-хорв. 'пакость, мерзость'; 'злоба, ехидство' (см. также с.-хорв. пакостити 'делать гадости, пакости'; 'делать что-л. назло'; 'вредить, портить'); словенск. 'неприятность, зло'; польск. 'злость, зло; неприятность'; 'упрямство'; 'проказы, озорство'; чешск. 'вред, убыток, ущерб, зло, несчастье, неприятность'; н.-луж. *ракозѣ* 'лакомство' (в связи с которым следует учитывать также *ракозѣ* 'бесчинствовать, зариться на что-л., сильно желать чего-л.'), укр. 'пакость'; блр. 'вред, зло, дрянь'; 'испражнение'; русск. диал. 'шалун, который портит что-л.'; 'потрава'; 'худое дело, пакость'.

тит что-л.', 'потрава'). Некоторые из этих значений⁴ также, по-видимому, могут быть интерпретированы как реализации первичного 'вред, ущерб' на основе переходов следующих типов: 'конкретное действие, наносящее ущерб' → 'субъект' или 'объект этого действия' (так можно объяснить польские и русские диалектные значения).

1.3. Принять положение о том, что все перечисленные видоизменения являются контекстными вариантами исходного 'вред, ущерб', мешает оценочность смысла 'вред, ущерб', который в связи с такой его спецификой вряд ли может быть первичным.

Между тем у ряда значений др.-русск. *пакость* и группы его производных обнаруживается дескриптивный компонент, по отношению к которому многие выражающиеся рассматриваемыми словами семантические модификации объяснимы на основе семантической деривации.

Мы имеем в виду общее значение 'противодействие (чему-л.)', из которого на основе отношений типа 'действие' → 'субъект действия' выводится 'препятствие, помеха', отмеченное у лексемы *пакость*. Кроме того, в значениях производных — прилагательных *пакостивын* ('склонный к ссорам, спорам, то есть склонный действовать против кого- / чего-л.'), *пакостьнын* ('препятствующий кому-л.');

глагола *пакостити* ('мешать, препятствовать чему-л.');

существительного *пакостьникъ* ('тот, кто действует против кого-л.') — также обнаруживается составляющая, описываемая словами 'противодействие', 'препятствие', 'против'.

К этому же кругу, несомненно, относится и значение польского соответствия 'упрямство', то есть 'свойство того, кто склонен действовать против кого- / чего-л. или вопреки кому- / чему-л.'

⁴ Оставляем в стороне н.-луж. 'лакомство', анализ которого требует привлечения историко-культурных данных (хотя в общих чертах характер семантики существительного разъясняется значениями глагола *pakosćić*, см. сноску 3).

Очевидно, впрочем, что и понятие 'вред, ущерб' может быть связано с оценкой противодействия, препятствия, помехи чему-л.

Таким образом, для многочисленных семантических модификаций др.-русск. *пакость* (и его инославянских соответствий), объединяющихся общим компонентом 'вред, ущерб, зло' — с яркой отрицательной оценкой, — весьма существенным оказывается также компонент, который можно представить как 'противодействие', 'препятствие, помеха', 'нечто, направленное против чего-л.'

2.1. Обратимся к формальным и семантическим свойствам др.-русск. наречия *пакы* и его окружения.

Пакы обычно считается непроизводным, хотя, если бы мы располагали свидетельствами о наличии в др.-русск. прилагательного **ракъ(ь)*, не было бы формальных препятствий для предположения, что от него образовано не только существительное *пакость*, но и наречие *пакы*⁵. Что касается *опаки*, *наопаки*, *опако*, *наопако*, то они характеризуются как префиксальные производные (от *пакы* и *опако*) или образования с другим суффиксальным оформлением (*опако*, *наопако*).

Семантические проблемы, возникающие при допущении этимологического тождества *пакость* и *пакы*, требуют рассмотрения совокупности всех данных, в которых отражен процесс развития значений, единство которых кажется на первый взгляд маловероятным.

2.2. Начнем рассмотрение наречной семантики с анализа значений тех лексем, которые принято считать вторичными, то

⁵ В древнерусском языке была регулярная модель образования наречий с помощью суффикса *-ы* (вытесненных позже суффиксальными наречиями на *-о*): по типу отношений *редъкыи* → *редъкы*, *малыи* → *малы*, *тихыи* → *тихы* следует предположить возможность **ракъ(ь)* → *пакы*.

есть *опаки, наопаки, опако, наопако*. Они имеют в словарях тождественное толкование ('назад, в противоположную сторону'). Как свидетельствуют доступные (по текстам XIV-XVII вв.) примеры употребления, *опаки / опако* или *наопако* [то есть сзади] *связывают / сковывают руки и ноги* (много употреблений); *опаки* (то есть назад) *смотрят*; [повернув] *опаки* [то есть перевернув вверх ногами], *подвешивают казнимого над разожженным огнем*; *опако* [задом наперед] *сажают провинившегося на вола и бичуют его* ⁶.

В подобных контекстах пространственная семантика — это, по-видимому, значение локализации в ближайшем (по отношению к говорящему или наблюдателю), воспринимаемом пространстве.

О разговорном характере наречия *опаки* и его аналогов свидетельствует тот факт, что их соответствия отмечены у Даля. К сожалению, в этом словаре значения наречий толкуются не дифференцированно; ряд, включающий, кроме интересующих нас наречий, прилагательное *олак* (в краткой форме), описывается таким толкованием: 'назад, задом, обратно, превратно, навзничь, изнанкой, наоборот' [Даль, IV: 697]. Хотя эти показания невозможно расчленивать, есть основания, тем не менее, относиться к ним как в целом подтверждающим наше предположение о том, что наречия *опако* и под. выражают преимущественно характеристику ближнего пространства. Об этом же говорят и данные Словаря русских народных говоров, в котором для наречий *олак, опаки, опако* приводятся значения 'назад, задом, обратно'; 'навзничь'; 'наизнанку'; 'наоборот'; 'шиворот-навыворот' [СРНГ, 23: 230]. Чрезвычайно интересно, что в этом словаре у наречия *опако* и под. представлен довольно широкий спектр оценочных значе-

⁶ В просмотренном древнерусском материале обнаружен единственный контекст с наречием *опако* в неконкретно-локальном значении ('наоборот') в позднем памятнике - Челобитной справщика Савватия 1662 г.: *многая рѣчь учала быти опако изъ лежащаго на другое мнительно, и учаль быти расколь* [СлРЯ XI-XVII вв., 12: 379].

ний ('не вовремя'; 'без толку, на ветер'; 'неловко, совестно'; 'опасно'). Мы полагаем, что развитие такой семантики у русских диалектных наречий определила соотнесенность рассматриваемых наречных показателей с «отрицательными» событиями, со сферами пространства, связанными с проявлениями темных, злых сил.

2.3. Наречие **паки** (паки) по показаниям древнерусских текстов манифестирует сложный комплекс пространственных, временных, количественных и логических ⁷ значений: 1. 'назад, обратно'; 2. 'опять, снова'; 3. 'как прежде, по-прежнему'; 4. 'прежде, в прошлом'; 5. 'потом, затем'; 6. 'вдобавок, ещё, сверх (чего-л.)'; 7. 'напротив, наоборот'; 8. 'в свою очередь'; 9. 'тогда, в таком случае'.

Особенно разнообразны временные значения (2. — 5.). Среди них первое ('опять, снова') непосредственно, прямо выражает идею повторяемости, обратимости событий ⁸, характерную для архаического циклического представления о времени ⁹.

С идеей обратимости, повторяемости или соотносимости проявлений сущего или мыслимого связаны и другие (не временные) значения рассматриваемого наречия: пространственное

⁷ Мы не рассматриваем семантические варианты, квалифицирующиеся словарями как значения частицы и союза. Разграничение омонимичных (многозначных?) наречий, частиц и союзов - специальный и заслуживающий отдельного рассмотрения вопрос. В связи с нашей темой достаточно указать на то, что с исторической точки зрения наречные значения рассматриваемого слова бесспорно первичны.

⁸ Типично употребление в Символе веры князя Владимира (в рассуждении о латинянах, которые, называя землю матерью, плюют на нее, целуют ее и - снова и снова - оскверняют: *почто плюете на мтръ свою да съмо ю лобъзаете и паки оскверняете*. Лавр. лет., 114-115 [ПСРЛ, 1]).

⁹ Специфика архаических представлений о времени как о вращении по кругу показана, например, в [Гуревич 1972; Гуревич 1981; Топоров 1971; Лотман 1987]. Среди новейших работ, посвященных особенностям языкового отражения категории времени, отметим [Яковлева 1994].

‘назад, обратно’ выражает идею возвратного движения, при этом в любом — и ближнем, и дальнем — пространстве¹⁰; логические (‘напротив’, ‘в таком случае, тогда’) выражают соотношенность нескольких умственных операций.

Паки способно указывать также

— на заданность, неизменность, предопределенность описываемого (см. значения ‘как прежде, по-прежнему’ и ‘в свою очередь’);

— на некоторый обобщенный момент в движущемся времени, определяемый по отношению к другому — предшествующему или последующему временному моменту (‘прежде, в прошлом’, ‘потом, затем’)¹¹;

— на добавление, присоединение чего-л. к существу или мыслимому (см. ‘вдобавок, сверх чего-л.’).

Полагаем, что движение от значения ‘назад, в обратном направлении в любом (и ближнем, и дальнем) пространстве / времени’ к перечисленным вторичным значениям оказалось возможным потому, что рассматриваемое наречие — в отличие от *опаки* и др. — не ограничено рамками воспринимаемого, ближайшего локуса.

2.4. Думается, что менее конкретный (по сравнению с *(на)опаки*, *(на)опако*) характер значения наречия *паки* объясняет, почему этот обстоятельственный показатель в определенных христианских текстах становится выразителем интенсивной, напряженной положительной оценки. Имеется в виду *паки* в составе сложений *пакырожденник*, *пакыпришьствник*, *пакыбытник*, которые

¹⁰ Характерно употребление в договоре Олега с греками (под 912 г.): *Аще вывержена будет лодья вътром великим на землю чюжую... и отослати паки не* [в др. сп.: *на*] *землю хрестьяньскую да проводимъ ю сквозъ всяко страшно мѣсто*. Лавр. лет., 35 [ПСРЛ, 1].

¹¹ Эти значения свидетельствуют о характерном для христианского сознания слиянии циклического и линейного времени.

естественно соотносить с глагольно-наречными сочетаниями *паки* родиться, *паки* принити, *паки* быти. Сложения толкуются словами следующим образом: 'новое рождение (бытие, пришествие), духовное обновление, будущая жизнь' (в учении о воскресении Иисуса Христа). Эти слова запечатлели представление о том, что пространство / время могут пресуществоваться, претворяться в состояние собственного преодоления, что означает формирование нового пространства и нового времени, в которое вмещается новое бытие, новая жизнь, новое благо.

Описываемые с помощью сложений с *паки*-понятия, связанные с христианскими идеями, выражают веру в высшие ценности и квалифицируются как положительные. Иными словами, мыслимое пространство, являющееся сферой применения *паки*-, представляется здесь как качественное, сопряженное с понятиями блага и добра. Однако этот признак — оценка пространства действия анализируемого компонента как благого, доброго — не является обязательным. *Паки* может описывать движение в пространстве, связанном и с действиями злых сил. Приведем один пример из Жития мученицы Ирины¹²: *Прѣиде Ѡю часть полярница* [мученица Ирина] *и паки възврати ся народоу же соущю многоу оужасахоу ся* [Усп. сб.: 157].

Итак, отсутствие конкретности делает возможными разнообразные применения наречного показателя *паки* — в контекстах, с которыми ассоциируются полярно противоположные оценочные характеристики.

3.1. Как было показано, *паки* выражает понятие 'назад, в обратном направлении' (в пределах любого пространства / времени), тогда как *опаки* / *опако*, *наопаки* / *наопако* — 'назад, в обратном направлении' (вблизи, в пределах видимого, воспринимаемого пространства).

¹² Мученица Ирина, пройдя через раскаленный медный сосуд в виде вола и возвратясь назад, остается невредимой.

Установленное различие хорошо согласуется с тенденцией наречных слов выражать различие локализации с помощью определенной словообразовательной структуры: в них может выделяться префикс, выражающий специализированный тип отношения локации. В древнерусском языке, в частности, отмечается немало пространственных наречий (и предлогов) с приставкой *о-*, которая выражает значение 'в непосредственной близости (к говорящему, наблюдателю)'. Таковы, например, *окръсть* 'в непосредственной близости вокруг', *окръгъ* 'в непосредственной близости, вокруг', *оѣво* 'в непосредственной близости, слева', *опротивъ* 'в непосредственной близости напротив', *осередѣ* 'непосредственно в середине' и др. под. Интересно, что некоторые из наречий (и предлогов) с приставкой *о-* образованы от бесприставочных наречий (и предлогов). Подобные словообразовательные отношения характерны для пар типа

окромѣ — *кромѣ*,
ожежду — *жежду*,
осередѣ — *середѣ*,
отайнѣ — *тайнѣ*,
одеснѣю — *деснѣю*.

Отметим также, что в древнерусских источниках представлены пары прилагательных с аналогичным словообразовательным отношением (*одесныи* — *десныи* и *отанныи* — *танныи*).

К указанному наречному словообразовательному типу следует, по-видимому, отнести и пару *опаки* — *паки*.

Принципиальное отличие этой пары от прочих, связанных с этой моделью, заключается в том, что элемент *о-* наречия *опаки* с этимологической точки зрения является корневым. Подобное отношение характерно, по-видимому, и для прилагательных *опаки* — *паки*, возможность реконструкции которых для древнерусского состояния мы постараемся показать в дальнейшем.

Что касается этимологии прилагательного *опаки*, засвидетельствованного для русского языка только диалектными данны-

ми, то она обосновывается следующими соответствиями: др.-инд. *ārākas* ('в стороне, позади'), лат. *opāsus* ('противопоставленный'), др.-исл. *ofugr* 'обращенный в другую сторону, обратный, враждебный'; арм. *haka* 'противо-'¹³. Интересующее нас слово этимологизируется как суффиксальное образование от предлога, отождествляемого с др.-инд. *ara*, греч. *ἀλό*, нем. *ab*.

Формальное единство начального славянского корневого элемента *o-* и предлога *o* привело, по-видимому, еще на праславянском уровне к обратному разложению. Таким образом, **ракъ(ь)* и *паки* могли появиться в результате дезаффиксации.

3.2. До сих пор мы учитывали реконструированное прилагательное **ракъ(ь)*. Действительно, в доступных исследователям древнерусских источниках это прилагательное как будто бы не представлено. Однако оно засвидетельствовано в чешско-немецком словаре Котта [Котт 1880] двумя значениями: 1. 'превращенный, обращенный (в другую сторону)'; 2. 'злой', — близость которых значениям др.-русск. *пакость* и *паки* очевидна.

Другие свидетельства связаны с русскими диалектами: отмечено сложение *пакорукой* 'однорукий, не владеющий одной рукой, неуклюжий, неловкий'¹⁴ и — что особенно важно — *пакый* (единственный известный нам контекст употребления этого слова находится в картотеке Архангельского областного словаря: *Кат'енька-то пака, пакорука-то*).

Значение 'искривленный, поврежденный', 'не владеющий одной рукой' хорошо согласуется и с исходным значением чешского соответствия, и со значениями древнерусских и русских диалектных наречий, проанализированных выше. Можно полагать,

¹³ По данным этимологического словаря М. Фасмера [Фасмер, III: 142] и материалам лекций В. А. Дыбо.

¹⁴ Это прилагательное, первая основа которого восходит к прил. **ракъь* и с которым связано отношением производности др.-русск. *пакость*, приводится в [Куркина 1988].

что существует еще одно подтверждение того, что русское *пакой* (или *пакий*) — не только реконструкция. В хрестоматийно известном тексте — Смоленской грамоте 1229 г., начальная часть которой представляет собой своего рода формулу, характеризующую превратность, изменчивость человеческого бытия, — есть такой фрагмент: *Аж бы миръ былъ и до вѣка, урядили пакъ миръ, как<о> было любо Руси и всѣму латиньскому языку.*

«Маленькое» слово *пакъ* в этом контексте плохо переводится: древнерусские словари в качестве эквивалента со времен Срезневского предлагают 'и, же'. Чтобы понять его значение, надо указать на то, что Смоленской грамоте 1229 г. предшествовала грамота 1223-1225 гг., в которой многие исследователи видят проект договора 1229 г. (существует и свидетельство Хроники Генриха Латвийского о заключении договора между немецким орденом и Смоленском в 1223-1225 гг.). Предполагают, что этот договор действовал до заключения и утверждения нового договора в 1229 г.

Можно выдвинуть два равновероятных предположения:

1. *пакъ* в Смоленской грамоте 1229 г. является наречием со значением 'снова, опять';
2. *пакъ* данной грамоты -- это форма прилагательного *пакъ* (*пакын*).

Если принять второе предположение, то *пакъ миръ* следует переводить 'новый, измененный мирный договор'. Возможность развития значения 'новый' у интересующей нас основы уже была рассмотрена в связи с анализом сложений типа *пакырождение*. Впрочем, независимо от того, какое решение этого частного вопроса считать более обоснованным, на раннедревнерусском уровне семантическое и формальное единство древнерусского гнезда, в которое входили прилагательные *опакын*, *пакын*, наречия *опакы*, *пакы* и существительное *пакость* (с рядами их производных), неоспоримо.

4.1. Возможность семантического отождествления исходных значений не только наречия и прилагательного, но и существительного становится совершенно очевидной, если среди типичных контекстов употребления существительного выделить и проанализировать те, где оценочность факультативна. Особый интерес представляют показания Княжеского устава Владимира — памятника, восходящего к XII в. (началу или его 1-ой половине), известного в списках с XIV в.

Чтобы понять «семантическую ситуацию» употребления в этом памятнике выделенного нами слова, необходимо представить историко-культурный контекст, в котором оно существовало, претерпевая изменения. Так, в нашем случае следует иметь в виду, что духовенство в XII в. обладало правом наблюдать за городскими торговыми мерами и весами (это архаическая форма обеспечения церкви не византийского, а, возможно, языческого происхождения). Законная мера веса в XII в. хранилась в определенной церкви. Весовщик должен был целовать крест — в знак того, что не будет никого обманывать, не будет изменять меру веса. Весы, как об этом свидетельствует, например, Любекский договор 1220-1226 гг., проверялись дважды в год.

После сделанного разъяснения будет понятен смысл следующего фрагмента Устава Владимира, в котором идет речь о „пакости“ (‘отклонении, изменении’) мер веса: *...городьскыѣ и торговыѣ всякая мѣрила и спуды, извѣсы, ставила от бога тако искони уставлено пискупу блюсти бес пакости, ни оумалити, ни оумножити.* [Княж. уст.: 24].

Та же статья в других списках Устава имеет следующий вид: *...[весы] бес пакости, ни умалити, ни увеличити...* [там же: 32]; *сие же... искони поручено... богом с(вя)т(ите)лем и еп(и)с(ко)пьям ихъ градския и торговья и вездѣ всякия мерила... тако из начала уставлено ес(ть) и не поколеблемо никогда ж(е) быти до скончания мира, и с(вя)т(ите)лю блюсти бес пакости всего того подобает* [там же: 78-79].

В более позднем уставе Всеволода указанная статья сохраняется и развивается: *Торговья вся въсы... еп(и)ск(о)пу блюсти безъ пакости, ни умаливати, ни умноживати, а на всякъи годъ извѣщивати; а скривитсѧ, а кому приказано, а того казнити близко см(е)рти* [там же: 156].

В поздней (1419 г.) грамоте великого князя Василия и митрополита Фотия, подтверждающей в общем виде прежние княжеские уставы в защиту привилегий церкви, важен следующий фрагмент: ... *николи напред въпрок [весь] ни умножити бы, ни умалити, но такъ бы то и стоало неподвижно* [там же: 185]. Как свидетельствует рассматриваемый текст, со словом пакость и его семантическим окружением связывается идея нежелательного, нарушающего церковное право изменения (увеличения или уменьшения): пакость мерила — это его 'изменение'. Разумеется, такое изменение оценивается и как ущерб, порча. Однако смысл 'ущерб, порча' и, тем более, 'обман' (как переводит пакость в данном контексте И. И. Срезневский) — вторичен.

Таким образом, можно видеть, как заложенный в тексте первичный смысл подвергался в ходе культурного функционирования трансформации, в результате чего на базе исходного текста произошло создание новых смыслов¹⁵.

Итак, пакость здесь первоначально 'отклонение от нормы'; понятно, что с подобным „отклонением“ естественным образом связывается отрицательная оценка, — однако эта оценка ситуативна.

4.2. Анализ другого важного древнерусского контекста позволит выявить актуальную для средневекового сознания мотивировку, лежащую в основе значения 'препятствие, помеха'.

¹⁵ Иными словами, рассматриваемый текст - одновременная манифестация нескольких состояний языка. Об этой функции текста см. [Лотман, 1987].

В Смоленских грамотах второй четверти XIII в. зафиксированы нормы торговых отношений в следующих выражениях: *латинскому человеку свободен путь ... на воде и на березѣ ... без пакости, свободно* [ему можно торговать]; *аже латинский гость приидеть к городу, свободно ему продавати, а противу того не молвити никому же;* [если немецкий гость пришел, тиун должен] *послати люди с колы перевести товар, а не удержати ему* (т.е. не противодействовать ему). Здесь *пакость* — ‘изменение’ (первоначальной нормы), что означает и ‘противодействие’, ‘препятствие’.

4.3. Чрезвычайно интересен еще один достаточно частотный контекст употребления слова *пакость*, в котором речь идет о солнечном или лунном затмении: *И с<ъ>лн<ъ>це многожды пакость подъемлюще аky лоуноу егда помръцаетъ, вѣмъ ти, аky задаление приемлетъ закрываниемъ, не могъ свѣта подати миру.* Ио. экз. Шестоднев 1263 г. [Срезневский, II: 863] ¹⁶. Текст можно перевести следующим образом: „И солнце многократно претерпевает уменьшение, как луну [луна?] когда затмевается, как известно, как бы гибель принимает закрыванием, не имея возможности подать миру свет“.

Приведенный контекст дает ясное указание, что для средневекового человека затмение светила — это его ‘затемнение’, ‘помрачение’, его ‘уменьшение’ и ‘ущерб, гибель’. Характерно, впрочем, что связь понятий ‘сокращение’ (видимой части) и ‘ущерб’ (светила) сохраняет даже современный язык, ср. сочетание *месяц на ущербе*, то есть в той фазе, когда он меньше всего виден.

Итак, анализ этого контекста дает нам право утверждать, что в раннедревнерусском со словом *пакость* связывается понятие ‘изменение’ (‘уменьшение’).

4.4. Многочисленны примеры употребления слова *пакость* для обозначения „противных“ (в соответствии с внутренней фор-

¹⁶ Подобные описания встречаются и в других древнерусских памятниках — например, в Менаandre.

мой этого прилагательного ¹⁷) действий темных сил (сатаны и его воинства — бесов). Вот как, например, описываются бесовские пакости противодействия благим устремлениям в Житии Феодосия Печерского: *Многоу ми пакость творяхоу въ келии зълии бѣси: егда бо емоу легышю на ложи своемъ и се множество бѣсовъ пришьдѣше и за власы имѣше и и тако пѣхающе вѣлачахоу* [Усп. сб.: 100].

Пакость или пакости — это и беды, несчастья, страдания (от болезни, от печали, от злой жены). Характерны сочетания типа *душевная пакость, пакости и скорби*. Пакостью, например, называет летописец то, что творят люди князя в захваченных чужих городах. В контекстах рассмотренного типа представлено следующее отношение: ‘направленные против кого- / чего-л. действия разных сил’ → ‘связанный с этими действиями ущерб, урон, утрата’ → ‘нечто отвратительное, скверное’.

Что касается значения ‘нечто (конкретное), вызывающее отвращение’, то в связи с ним надо напомнить, что в средневековом сознании идеи обладали такой же мерой реальности, как и предметный мир. Конкретное сущее осознавалось как воплощение идеи, а идея не мыслилась вне конкретного воплощения. Поэтому пакости — это не только ‘действия, направленные против’, но и ‘мерзкие, вызывающие отвращение предметы, которые используются как средство этих действий’. Характерен следующий контекст: *Прииде сатана ко Адаму и измаза его... Господь же, снемъ с него пакости сотонины, очисти его аки зеркало отъ всѣхъ сквернъ* (Ск. об Адаме) Лож. и отреч. кн., XVII в. [СлРЯ XI-XVII вв., 14: 130].

¹⁷ Она сохранена его устаревшим книжным значением ‘направленный против, противоположный’, ср.: *противные стороны не могли прийти к соглашению*. Интересно, что слова *противный, противно* отчасти как бы дублируют семантическую историю слов *пакостный, пакостно*.

5.1. В проведенном анализе, целью которого было установление наличия / отсутствия семантической и формальной связи между двумя древнерусскими словами, одно из которых (с измененным значением) сохранено русским языком, а другое, в сущности, утрачено, мы пытались показать, что решение подобных проблем предполагает, во-первых, обращение к разным уровням языка, во-вторых, учет специфики категорий средневекового сознания.

Оказывается, что в семантическом варьировании лексем, исходно выражавших идею движения, изменения положения описываемого в пространстве / времени, запечатлены определенные представления о мире, характерные для носителей русского языка в эпоху средневековья.

Оказывается также, что принятый подход помогает объяснить некоторые особенности процесса выработки лексических средств выражения пространственных, временных и логических отношений, а также процесс развития оценочной семантики.

ЛИТЕРАТУРА

- Варбот 1965 — Варбот Ж. Ж. Заметки по славянской этимологии // Этимология. 1964. М., 1965.
- Гуревич 1972 — Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1972.
- Гуревич 1981 — Гуревич А. Я. Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981.
- Даль, П — Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. СПб.; М., 1881. Т. II.
- Княж. уст. — Древнерусские княжеские уставы XI–XV вв. Л., 1976.
- Котт 1880 — Kott F. St. Česko-německý slovník. D. II. Praha, 1880.
- Куркина 1988 — Куркина Л. В. Этимологии русских диалектных слов // Этимологические исследования. Свердловск, 1988.

- Лотман 1987 — Лотман Ю. М. Несколько мыслей о типологии культуры // Языки культуры и проблемы переводимости. М., 1987.
- ПСРЛ, 1 — Полное собрание русских летописей. Л., 1926. Т. 1.
- Срезневский, I–III — Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка. СПб., 1893–1912. Т. I–III.
- СРНГ, 23 — Словарь русских народных говоров. Л., 1987. Т. 23.
- СлРЯ XI–XVII вв. — Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1975–1994. Т. 1–19.
- Топоров 1971 — Топоров В. Н. О структуре некоторых архаических текстов, соотносимых с концепцией мирового дерева // Труды по знаковым системам, V. Тарту, 1971.
- Усп. сб. — Успенский сборник XII–XIII вв. / Под ред. С. И. Коткова. М., 1971.
- Фасмер, III — Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1987. Т. III.
- Яковлева 1994 — Яковлева Е. С. Фрагменты русской языковой картины мира: (Модели пространства, времени и восприятия). М., 1994.

О. В. Кукушкина

**О МЕХАНИЗМЕ РАЗВИТИЯ
НЕПРОСТРАНСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ
У ПРИСТАВОК**

Как известно, такие отношения, как время, цель, причина, принадлежность, субъект, объект передаются в языках самых разных типов с помощью пространственных по происхождению показателей.

Языковая вторичность этих смыслов, по мнению многих исследователей, отражает их внеязыковую вторичность. Так, Л. Леви-Брюль убедительно показал, что для древнего типа мышления («пралогического») первостепенной важностью обладают такие конкретные категории, как расстояние, расположение в пространстве и направление движения, и что лишь при переходе к «логическому» типу мышления возрастает актуальность таких категорий, как время и причина. [Леви-Брюль 1930: 75–77, 103 и др.]

Может быть поэтому лингвисты, рассматривая вопрос о развитии у древних пространственных показателей (далее — ПП) непространственных значений, зачастую ограничиваются самыми общими рассуждениями, сводящимися, например, к тому, что появление временного значения у ПП связано с осознанием человеком объективно существующей связи между пространством и временем. Думается, однако, что мало кто, кроме физиков, может внятно объяснить, в чем заключается связь между пространством и временем. Здесь должен действовать очень конкретный механизм, опирающийся на такие связи, которые понятны не только Эйнштейну, но и любому представителю древнего племени.

Общий механизм, на базе которого у ПП возникают указанные непространственные смыслы, достаточно очевиден: это «опредмечивание» того, что предметом не является.

Воспринимать и именовать абстрактное через конкретное — это фундаментальное свойство человеческого мышления. И поскольку предмет — это то, что имеет протяженность в пространстве, воспринимая что-либо как предмет, наделяя это что-либо предметными свойствами, мы обязательно приписываем ему свойства локума. Таким образом, сутью процесса опредмечивания можно считать пространственное осмысление непространственного.

Однако возникая на базе предмета или осмысляясь как предмет, непередмет наследует далеко не все свойства и отношения предмета и сохраняет свою абстрактную (непространственную) сущность. Непередмет принадлежит совершенно иной, «абстрактной» денотативной ситуации, поэтому и те конкретные отношения, которые он заимствует, подвергаются в этой ситуации процессу «деконкретизации». В силу этого, например, семантическая идентичность предлога *с* в *брать пример с кого-либо* и *брать чашку со стола* начинает подвергаться нами сомнению. Таким образом, опредмечивание вызывает, в свою очередь, деконкретизацию и переосмысление самих пространственных отношений.

Классическим примером такого переосмысления пространственного отношения можно считать эволюцию ПП со значением 'пространственное следование, нахождение сзади'. Они во многих языках проходят следующие стадии семантического развития: 'пространственное следование' — 'временное следование' — 'причина'.

Причинное значение наблюдается и у русских предлогов *по*, *за*, ср. сочетания типа *по грехам*, *по незнанию*, *по причине*, *за грехи*, *за отсутствием* и т. д.

Как указывает Леви-Брюль, эта модель давно известна логикам в виде формулы «*post hoc, ergo propter hoc*», т. е. «после этого — значит вследствие этого», и рассматривается она как очень частотная ошибка в логическом рассуждении. Однако именно такой способ рассуждения является яркой и устойчивой особенностью пралогического типа мышления [Леви-Брюль 1930:

46]. Так что внутреннюю форму русских наречий *почему* и *поэтому* можно рассматривать как классическую иллюстрацию к сформулированному Леви-Брюлем закону партиципации.

Конкретные механизмы и конкретные модели непространственного переосмысления пространственных отношений (пространство → объект, субъект, время, причина, цель, принадлежность, подобие и др.) еще мало изучены, несмотря на то, что это интереснейший объект как для лингвистов, так и для психологов. Большой интерес они представляют и для истории конкретных языков. Здесь возникает много частных, но тоже достаточно интересных вопросов. Для русского языка к числу таких вопросов можно отнести, например, вопрос о том, почему в сочетании с днями недели и временами года в нем употребляется динамическая (куда?) временная конструкция «*с* + вин. п.» (*в субботу, в это лето*), а не более логичная, казалось бы, «статическая» (где?) — «*с* + предл. п.» (*в октябре*).

В наименьшей степени изучен вопрос о формировании у пространственных показателей аспектуальных значений. Эти значения особенно широко представлены у славянских ПП, поэтому славянский материал здесь является наиболее показательным.

На возможной реконструкции механизма формирования аспектуальных значений у ПП я бы и хотела остановиться подробнее.

Ключевым является здесь вопрос о возникновении результативного значения. Особое положение этого значения среди аспектуальных смыслов определяется, во-первых, его универсальностью (оно достаточно регулярно возникает у всех древних индоевропейских (далее — и.-е.) ПП и в и.-е. языках всех типов), а во-вторых, его первичностью.

Остальные регулярные аспектуальные значения возникают в языках уже на базе результативного значения. Этот факт еще недостаточно осознан в славяноведении, но после анализа П. С. Сигаловым истории русских ограничительных глаголов

[Сигалов 1975], после других исследований по формированию славянских способов глагольного действия последних лет стало совершенно очевидно, что, например, близкая к современной русская система многочисленных аспектуальных значений приставок складывается, да и то только в литературном языке, не раньше XVII–XVIII вв. Что же касается древних текстов, то в них еще почти безраздельно господствуют образования, в которых приставки имеют результивно-пространственное или результивное значение.

Учитывая фактор регулярности возникновения результивного значения у и.-е. ПП с самым разным пространственным значением, мы должны попытаться определить те условия, в которых ПП независимо от своего лексического значения мог приобретать дополнительную результивную функцию.

Первостепенное значение здесь имеют данные о природе древних и.-е. ПП, развившихся в предлоги и приставки. Эти данные можно свести к следующему.

1. С семантико-синтаксической точки зрения и.-е. ПП, как выразители пространственных отношений, были двухместными предикатами отношения, открывавшими две обязательные семантические именные валентности на локум и на ориентированный относительно этого локума предмет (субъект или объект действия).

2. С формально-грамматической точки зрения это были самостоятельные лексические единицы, и следы этой самостоятельности мы находим в таких древних письменных языках, как хеттский и санскрит. Она проявляется в незакрепленности места расположения ПП и в возможности вставки между ними и глаголами или между ними и именами других слов.

3. Не являясь служебными единицами, древние и.-е. ПП в то же время хотя и были предикатами отношений, не обладали самостоятельным предикативным морфологическим оформлением и выступали как модификаторы основного предиката.

4. Хотя место расположения ПП не было закрепленным, но наиболее часто в древних языках они располагались не перед именем, а перед глаголом.

Это еще один, несколько неожиданный и не до конца осознанный, факт. Мы настолько привыкли к утверждению, что приставки произошли от предлогов, что нас не смущает даже обилие в древних текстах беспредложных конструкций. Поэтому нам, очевидно бывает трудно поверить сразу в то, что чешский лингвист И. Немец сформулировал так: «...преимущественное превербальное положение и недостаточное количество предлогов в самых старых памятниках индоевропейских языков свидетельствует о том, что приставочный тип более древний, чем предложный». [цит. по: Сигалов 1975: 143].

5. С семантической точки зрения и.-е. ПП выступали как уточнители пространственных смыслов, передаваемых падежными флексиями. Как известно, такие важные смыслы, как «направление» (куда / откуда) и «нахождение» разграничивались в древних языках с помощью падежей. Поэтому на долю ПП приходилась именно конкретизация пространственного положения.

Таковы основные данные по и.-е. ПП. Какими еще данными мы располагаем для реконструкции истории возникновения результативного значения? Это прежде всего данные о самом этом значении, а они таковы:

— результативное значение и все остальные аспектуальные смыслы в отличие от других непространственных значений ПП тесно связано с приглагольной, а не приименной позицией. Оно характерно для и.-е. превербов или поствербов;

— в сочетании с глагольными основами, допускающими пространственную модификацию, ПП сохраняют и свое пространственное значение (ср.: *войти, унести, отойти* и т. п.) Это явно свидетельствует о том, что данное значение возникает как пространственно-результативное;

— результативное значение возникает у ПП в сочетании не со всеми допускающими пространственную модификацию глаголами, а только с предельными, т. е. с глаголами с семой 'перемещение субъекта или объекта в пространстве' (далее — глаголы «перемещения»). Подтверждение этому можно найти во многих языках, но, пожалуй, самое убедительное доказательство этому дают нам древние славянские языки.

Приставочные образования от глаголов со значением 'положение в пространстве' (т. е. непредельных), например, *седѣти*, *лежати*, *стояти*, ведут себя совсем не так, как производные от глаголов с семой 'перемещение', а именно: приставки не придают им значения совершенного вида.

Так, например, в церковнославянских, древнерусских и даже старорусских текстах:

надлежати означает 'лежать, возвышаясь над чем-то', ср.: *вьше же моря... надлежитъ гора...* (Пов. Ам., 7, XIV в. [СлРЯ XI–XVII вв., 10: 70]);

належати имеет значение 'помещаться, располагаться, простираться, находиться, лежать (на чем-либо сверху)', ср.: *зде стоит твое древо со належащим бревном...* (Артакс. действие, 275. 1672 [там же: 131]);

обсѣдѣти означает 'сидеть, располагаться около', ср.: *...и князи русстии мнози обсѣдающе его...* (Ник. лет. X, 241 [СлРЯ XI–XVII вв., 12:167]) и т. п.

Следы этого особого поведения сохраняются в современном русском языке, где мы имеем *состоять*, *предстоять*, *надлежит*, *подлежать* со значением несовершенного вида, а также *настоящий*.

Все эти данные позволяют говорить о том, что результативное значение возникало у древних ПП только в составе определенной синтагмы, а именно: в сочетании с предельными пространственно модифицируемыми глаголами (т. е. глаголами перемещения), что оно накладывалось на пространственное значение, т. е. было первоначально пространственно-результативным.

Как объяснить его возникновение в синтагме «ПП + глагол с семой 'перемещение'»?

Анализ контекстов, типичных для глаголов перемещения, показывает, что в самом частотном для них результативном контексте ПП выступает как своеобразный актуализатор значения результата.

Этот тип контекста в связном повествовании часто следует за контекстом цели (*Он двигался по направлению к; он ехал...*) и служит или для самостоятельного указания на пространственное положение как некоторое достигнутое состояние (*Он достиг определенной положения; он приехал...*), или на это же достигнутое состояние как на некую отправную точку для описания другого действия (*Когда он приехал, случилось следующее: ...*).

Роль ПП в таких контекстах хорошо выявляется с помощью сравнения русских предложений с соотносительными приставочными и бесприставочными глаголами совершенного вида. Так, предложение *Он кинул мяч в корзину* не дает нам информации о том, попал ли туда мяч. *Он бежал из тюрьмы* может обозначать и то, что ему не удалось покинуть ее пределы. *Он толкнул меня* не обозначает еще, что ему удалось сдвинуть меня с места.

Здесь просматривается следующее правило: если нужно подчеркнуть, что действие достигло результата, употреби приставочный глагол, т. е. введи пространственный показатель. И предложения *Он закинул мяч, Он убежал из тюрьмы, Он толкнул меня* уже не оставляют сомнений относительно достижения результата.

Таким образом, поскольку при глаголах перемещения ПП обозначают итоговое пространственное положение, а значит цель и результат действия, в результативных контекстах они одновременно выступают и как актуализаторы результативного значения.

Это значение вовсе не тождественно значению совершенного вида, так как оно характеризует именно «состояние как ре-

зультат действия». Суть, внутренняя форма этого результативного значения, его связь именно с семантикой «состояния» хорошо выявляют приставочные славянские образования от глагола *быть*. Как известно, во многих древних языках глагол *быть* ('существовать') первоначально отсутствует и развивается на базе пространственного предиката отношения со значением 'находиться здесь, в указанном месте' [см. напр., Леви-Брюль 1930: 102]. На подобный путь возникновения указывает и наличие у славянского *быть* значения 'находиться'.

Еще одной общей для языков самых разных типов особенностью глагола *быть* является его способность сочетаться с глаголами движения в результативных конструкциях (это проявляется, например, в образовании форм перфекта от немецких глаголов движения не с помощью *haben*, а с помощью *sein*), или вообще замещать их в этих конструкциях. [см. Типол. рез. констр. 1983]. В этом случае глагол *быть* ведет себя в сочетаниях с ПП как глагол движения, что и обнаруживает он, например, в славянском *убыти* (со значением 'оказаться на отдаленном расстоянии от локума') или *прибыти, выбыти, отбыти*.

Итак, в определенных контекстуальных условиях у древних и.-е. показателей должна была возникать добавочная функция актуализатора достижения результата. Эта функция была контекстуально обусловленной и поэтому на этом «пространственно-результативном» этапе никак нельзя еще говорить о появлении у ПП самостоятельного результативного значения. Для того, чтобы это произошло, нужно было, чтобы результативное значение, контекстуальное по своему происхождению, смогло выступать у ПП самостоятельно, без пространственного.

Условия для такой пространственной десемантизации и обеспечил прошедший в той или иной степени во всех и.-е. языках процесс превращения ПП в служебные единицы. Как известно, процесс утраты самостоятельности регулярно сопровождается десемантизацией и замещением самостоятельного исходного значения единицы вспомогательным по отношению к главному

слову, часто первоначально контекстуально обусловленным значением. Превращение ПП в служебные единицы — превербы или поствербы, предлоги или послелогои — было вызвано, по мнению индоевропейцев, общей грамматико-синтаксической перестройкой высказывания в древних и.-е. языках. Эта перестройка проявлялась в грамматикализации порядка слов и фиксации второстепенных членов при опорных словах [см. напр., Эдельман 1990: 240, 259 и др.].

В ходе этого процесса свободная ранее синтагма «ПП + пространственно модифицируемый глагол» начинает приобретать связанный характер и функционировать как единое целое, что влечет за собой возможности ее семантической эволюции.

Механизм, который лежит в основе эволюции этой синтагмы, — это все то же «опредмечивание», использование конкретных, в данном случае пространственных, средств для выражения абстрактных понятий. Впрочем, с учетом того, что, участвуя в «опредмечивании» чего-либо сами средства опредмечивания теряют в той или иной мере свой конкретный характер, здесь можно говорить и об «абстрактивизации». Весь вопрос в том, что имеется в виду: то, что происходит со средствами, или то, как происходит процесс наименования. Однако очевидно, что сначала мы должны именовать нечто абстрактное с помощью конкретных средств, т. е. осмыслить это нечто по аналогии с конкретным, «опредметить», и только потом уже возникают условия для изменения в семантике средств. Эти изменения проявляются как развитие у них вторичных значений.

Какие абстрактные понятия могли выражаться при помощи пространственно-результативных глагольных синтагм и как это могло сказаться на «освобождении» результативного значения ПП от пространственного?

Рассмотрим этот вопрос на примере приставочных образований от 4-х наиболее общих глаголов с семой 'перемещение в пространстве' (*стунити, стати, ставити, ийти*) и глагола *быти*

(на древнерусском, церковнославянском и современном русском материале).

I. Первые и генетически наиболее древние значения этих глаголов представляют собой явные пространственно-результативные синтагмы. Оба компонента сохраняют здесь свое самостоятельное значение. ПП при этом сохраняет свою локумную валентность. В современном языке эти значения отличаются предложно-падежным управлением: (ср.: *вступить*, *въехать в*, *уйти из...* и т. п.). Предлог здесь в большинстве случаев дублирует пространственное значение приставки и, как показывают древние тексты, возникает в таких контекстах достаточно поздно. Так, мы имеем: *А коли Богъ дастъ, стану митрополитомъ, ...и того не хочу иступити* (Зап. Луц. еп. Io, 1398 [Срезневский, I: 1115]); *Любосластьнии и идолослужителе... иже праваго поуты състоупише.."* (Панд. Ант. XI, л. 23 [Срезневский, III: 831]); *Молю вы, отступите дѣль поганьскихъ* (Серап. сл. 4 [Срезневский, II: 814]) и т. п. наряду с *иступити из*, *отъступити отъ* и др.

Причины подобного удвоения пространственного показателя, являющегося характерной чертой славянских языков, требуют специального обсуждения. Здесь же хочется отметить, что процесс удвоения прошел не во всех случаях и не до конца, и мы до сих пор имеем *обойти дом*, *перейти улицу* наряду с *обойти вокруг дома*, *перейти через улицу*.

II. Наряду с пространственно-результативным значением у рассматриваемых глаголов регулярно наблюдается второе значение — его можно определить как фразеологическое результативно-переносное значение. Оно представляет собой результат пересмысления первого значения и сопровождается часто полной утратой локума или замещением предметного локума абстрактным понятием и превращением его в объект.

Частое отсутствие здесь локумной по происхождению валентности не случайно. Так как цель движения как правило, определена уже в предшествующем тексте, в результативных конст-

рукциях с глаголами движения локум (цель движения) регулярно опускается. Отсутствие же локумной валентности у синтагмы «ПП + глагол» в значительной мере способствует ее пространственной десемантизации [см. напр., Ершова 1958].

Чаще всего в современном языке эти глаголы в рассматриваемом значении сохраняют древнее, беспредложное управление, и дублирование приставки предлогом здесь развивается редко.

Приставочные производные от 5-ти глаголов дают огромное количество переносных значений, часто синонимичных. Наиболее регулярные из этих значений образуют систему оппозиций, в основе которой лежит пространственно-результативное противопоставление: 'достижение близкого, контактного расположения по отношению к локуму' / 'достижение удаленного положения от него'.

Глаголы с приставками, имеющими значение контакта, близости (*на-, до-, при-* и др.) развивают значения 'приобрести', 'обеспечить', 'найти', 'начать(ся)' и 'увеличить(ся)'. Глаголы с приставками, имеющими значение удаления (*из-, от-, с-, о-, у-*) развивают противоположные смыслы — 'утратить', 'лишиться', 'избавиться', 'оставить', а также 'прекратить, кончить' и 'уменьшить(ся)'.

Так, модель **достичь контакта** — получить, добыть реализуется с приставками *до-* и *на-* и отмечена у глаголов *достати, добыти, доступити, набыти*. Ср.: *Что ти ся достало удѣла князьнина* (Дог. гр. Дм. Ив. 1389 [Срезневский, I: 713]); *Князь... доступивъ княжения киевскаго возрадовася зѣло...* (Ник. лет. IX, 183 [СлРЯ XI–XVII вв., 4: 341]); *...Московского государства у Литвы доступили и очистили* (Ул., Ал., 223 об., 1649 [там же: 341]).

В Словаре русского языка XI–XVII вв. отмечено также существительное *набытие* — в значении 'приобретение'. Аналогичное значение дает двухактантный глагол *ставити* в сочетании с *до*: он имеет значение 'обеспечить', 'заставить получить что-л.', причем *доставити* можно в церковнославянском все, от предметов до чувств, положения дел и т. п. Ср.: *Сами де меж собя бра-*

нятца, а меня грѣха доставили (Пис. о нел., 189 об. 1568 [там же: 333]); ...и аз ела чеснок да ретку, и тем себя я сарамоты доставила (Сказ. о куле и лисице, 75. XVIII–XVII в. [там же: 333]). Ср. также совр. — доставить неприятности.

Модель достигчь контакта — наткнуться, найти, обнаружить фиксируется не только для глагола *найти*, но и для *настати*, *налезти*, ср.: *Аще не поидете к намъ, то налѣземъ князя собѣ* (Пов. вр. л. 6478 [Срезневский, II: 297]); *Аще настанете роусинъ Латинеского члѣва своею женью...* (Смол. гр. 1229 [Хрест.]); *Искавшие ли послоуха и не налѣзоуть...* (Р. прав. Яр. (по Син. сп.) [Срезневский, II: 297])

Модель подойти близко, приступить — начать, возникнуть реализуется в глаголах с приставками *на-*, *под-*, *при-*, *за-*, *у-* с исходным значением 'нахождение около локума или в локуме'. Она отмечена у *настати*, *прийти*, *приступити*, *заступити*, *уоставити*, *надстати*. Ср.: *...оттолѣ горе оустави ся велико* (Новг. I л. 6738 г. [Срезневский: III: 1276]); *Распря надста* (Зин. Отен. Пролл. Ник., 62. XVI в. [СлРЯ XI–XVII вв., 10: 80]); *Испытание жь нам надста на новонареченное самоволно мученичество...* (Евфр. Отразит. пис., 7. 1691 г. [там же: 80]).

Судя по всему, современные сочетания *настало лето*, *зима* и т. п. реализуют ту же модель, и для них нужно предположить стадию утраты локума. Очевидно, в основе их лежат сочетания с исходной локумной валентностью типа '(на) двор(е), (на) порог(е)'. И внутренняя форма переноса здесь такова: «на порог(е) стал день».

Модель достигчь локума, прийти, прибыть — увеличиться реализуется в глаголе *прибыть*, ср. совр.: *вода прибыла*.

Противоположная модель представлена в глаголе *убыть*. Интересна модель: достигчь локума, подойти — соответствовать. Это значение развивается помимо *подойти* (ср.: *мне это не подошло*) у глагола *пристать* — ср.: *ему это не пристало*. У Срезневского отмечено даже существительное *пристань* — в значении 'пристойность, соответствие' [см.: Срезневский, II: 1461].

Для глаголов с приставками удаления наиболее актуальны модели с противоположными значениями.

Модель удалиться от локума, отступить — уступить, откаться, лишиться, покинуть, избавиться представлена глаголами *избыти, отступити, сступити, отстати, выступитися, изступи-ти, оставити, остати*, ср.: *Аще хоцещи избыти болѣзни сея, то...* (Пов. вр. л. 6496 [Срезневский, I: 1035]); *Пашни отсталъ, хлѣба не сѣялъ и сѣна не косиль* (Прав. Гр. Кологр. 1532 [Срезневский, II: 813]); *А жены боярскыя мужей своихъ и осподаревъ остали* (Сл. о Задон. [там же]).

Модель удалиться от локума, устать — прекратить, перестать наблюдается у того же круга глаголов и у глагола *установить*. Ср.: *Оуста дождь* (Быг. VIII, 2 по сп. XIV в. [Срезневский, III: 1281]); *И оуста оусобица и мятежь, и бысть тишина велика в земли* (Пов. вр. л. 6534 [там же: 1281]); *Устави гнѣвный твои пламень* (Илар. Зак. Благ. (Приб. тв. св. от. II. 251) [там же: 1276]); *Нъ сихъ остану много глѣти, да не много писании в забыть влѣземъ* (Лак. Бор. Гл. 601 [Срезневский, II: 739]).

Со значением 'кончить' употребляются и глаголы *выйти, изойти*, ср.: *...а какъ мѣсяць изойдетъ...* (Гр. Новг. и Псков., 116. 1447 [СлРЯ XI–XVII вв., 6: 196]). Ср. также совр. *деньги вышли* — в значении 'кончились'.

Интересна и важна еще одна модель переноса на базе «контактных» приставок. Это модель *соединить, составить* — *сделать, сделаться, случиться*. Чаще используется здесь приставка *с-*. В этом значении представлены *сбытися, сстатися, съсоставити*, например: *Пища съсоставляния ради прикасатися...* (Жит. Феод. Студ. 57 [Срезневский, III: 824]); *Льно бо бѣ радость съсоставити нашего спасения* (Гр. Наз. XI в. 96 [там же: 828]); *То же все съсастися надѣ Кыевомъ за грѣхы наша* (Переясл. л. 6711 г. [там же: 828]).

В этом же значении фиксируется и глагол *поставити*, причем *поставити* можно не только *деревню*, но и *брань*.

То, что у приставочных глаголов движения в диахронии регулярно наблюдается два типа значения — пространственно-ре-

зультативный и фразеологизированный результативно-переносный — и то, что сами модели переносов достаточно регулярны, позволяет сформулировать несколько правил. Эти правила можно использовать при диахроническом анализе глаголов, имевших или имеющих в своем составе приставку и основу, связанную с семантикой 'перемещения'.

Эти правила сводятся к следующему:

1) чтобы определить исходное значение приставочного глагола, нужно восстановить исходную для него пространственно-результативную синтагму с ее локумной валентностью; 2) значение ПП в этой синтагме восстанавливается по тому современному значению слова, которое имеет предложное управление (если оно есть); 3) исходный вид локумной валентности можно восстановить, анализируя результативно-переносное значение.

Вот что дает применение этих правил для анализа, например, глагола *забыть*. Исходная синтагма на основании современного *Он меня забыл* может быть восстановлена как *(Он) меня (= локум) за + был*, т. е. как «Кто-либо на самом удаленном расстоянии от локума (винит. пад.) оказался». Пространственное значение приставки реконструируется по современным русским глаголам типа *завидеть*, *заехать*, которые свидетельствуют об использовании *за-* для выражения не просто удаленности, но и очень большой ее степени. Таким образом, есть достаточные основания считать, что здесь реализована модель «Он от меня на самом удаленном расстоянии оказался» — «Он меня забыл» (т. е. «с глаз долой, из памяти вон») и что локум здесь превратился в объект.

Итак, приставочные глаголы движения развивают на пространственно-результативной основе большое количество производных значений, пространственная мотивация которых постепенно стирается, степень фразеологичности возрастает. Приставка здесь выступает уже не как ПП, а как носитель значения результативности. Но окончательное оформление ее как словооб-

разовательного форманта с аспектуальным значением происходит лишь на следующем этапе, когда по образцу глаголов движения возникают результивные приставочные образования от основ другого характера, т. е. появляются глаголы типа *сделать, сказать, подумать* и т. п.

Этот процесс, процесс формирования приставочных «общерезультивных глаголов», отмечен для многих и.-е. языков. И отличается он главным образом в этих языках степенью активности, наличием / отсутствием грамматикализации ПП в функции результивных показателей и количеством таких грамматикализованных показателей. Так, в славянских языках грамматикализуется само наличие / отсутствие ПП (приставки) при глагольной основе, т. е. в грамматическую систему оказываются втянутыми все ПП, а не один из них, ставший наиболее продуктивным, как, например, в германских.

Причины такого своеобразного поведения славянских приставок тесно связаны с причинами возникновения категории вида и требуют специального изучения. Такого же специального изучения требуют, впрочем, и все пространственные значения ПП. Эти значения — огромная и все еще недостаточно исследованная область вторичной номинации, и по мере изучения этого объекта мы будем все более открывать для себя, насколько пространственно, конкретно воспринимали мир наши предки. И каждый раз мы будем удивляться тому, что даже самые абстрактные с нашей точки зрения понятия, такие, например, как «исступление» («ума из+ступление»), «наитие» («нашествие духов или бесов»), им удавалось выразить через пространственные отношения.

ЛИТЕРАТУРА

- Ершова 1958 — Ершова И. А. Способы модификации значений глагольных основ в древнеисландском языке // Научн. докл. высшей школы. Филол. науки. 1958. № 3.

- Леви-Брюль 1930 — Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. М., 1930.
- Сигалов 1975 — Сигалов П. С. История русских ограничительных глаголов. // Труды по русской и славянской филологии. 23. Серия лингвистическая. Тарту, 1975.
- СлРЯ XI–XVII вв. — Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1975–1994. Т. 1–19.
- Срезневский, I–III — Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка. СПб., 1893–1912. Т. I–III.
- Типол. рез. констр. 1983 — Типология результативных конструкций. Л., 1983.
- Хрест. — Обнорский С. П., Бархударов С. Г. Хрестоматия по истории русского языка. М., 1952. Ч. 1.
- Эдельман 1990 — Эдельман Д. И. Сравнительная грамматика восточноиранских языков: Морфология. Элементы синтаксиса. М., 1990.

СЕМАНТИКА И УПОТРЕБЛЕНИЕ КОСВЕННЫХ ВОПРОСОВ С ЛЕКСЕМОЙ «ЛИ»

В статье рассматриваются вопросительные по форме предложения с лексемой *ли*, функционирующие в качестве зависимой части сложного предложения, см. (1) *Хорошо бы узнать, (не) говорит ли он по-английски*. Сложные предложения такого типа, как правило, представляют или описывают речевой акт вопроса или ответа на вопрос, а также ментальное состояние субъекта, соответствующее ситуации вопроса, см. (1), а также (2) *Вернув Маргарите подарок Воланда, Азazelло распрощался с нею, спросил, удобно ли ей сидеть...* (Булгаков); (3) *Рассказчик мой смолк и прислушался, не сплю ли я* (Короленко) и под., но могут как будто бы и не соотноситься с ситуацией вопроса, см. (4) *Эта гордая знать смотрит на нас, армейцев, как на диких. И какое им дело, есть ли ум под нумерованной фуражкой или сердце под толстой шинелью?* (Лермонтов). Тем не менее в соответствии с существующей традицией все эти предложения с *ли* квалифицируются как косвенные вопросы (далее — КВ).

КВ с *ли* с полным правом могут быть отнесены к числу малоизученных типов предложений: в подавляющем большинстве случаев они привлекаются к анализу только в связи с исчислением класса опорных слов, способных подчинять себе КВ (см., например, [Грамматика 1970: 706-707; Грамматика 1979: 959-960; Грамматика 1980: 479-480; Томилова 1984] и др.), замечания же, касающиеся собственно семантической интерпретации данных предложений и особенно их семантической типологии, носят, как правило, лишь самый общий характер (см., например, [Грамматика 1980: 480]). Данное положение вещей объясняется, по-видимому, тем, что интеррогативный статус предложений с *ли* позволяет с достаточной легкостью вычленить их семантический инва-

риант: все КВ ничего не сообщают о том, соответствует ли представляемая ими версия развития событий (далее — Р) действительности (ср. в связи с этим замечание, согласно которому содержанием КВ является не замкнутая пропозиция, а пропозициональная форма, см. [Падучева 1985: 245; Падучева 1988: 35 и др.]). Между тем это достаточно очевидное свойство КВ дает лишь самое общее представление о семантике предложений с *ли*, которое может и должно быть конкретизировано.

В данной статье предпринимается попытка дополнить и уточнить существующие представления о семантике и функционировании КВ с *ли*, в связи с чем предполагается рассмотреть следующие вопросы: каковы общие условия употребления данных КВ и в чем заключаются различия между разными формальными типами этих предложений, в частности — между их «положительными» вариантами, см. (1') *Хорошо бы узнать, говорит ли он по-английски*, и вариантами с отрицанием, см. (1'') *Хорошо бы узнать, не говорит ли он по-английски*, ср. также (2) *...спросил, удобно ли ей сидеть...* и (3) *...прислушался, не сплю ли я?* Как эти различия проявляются в употреблении данных КВ, и прежде всего в особенностях их сочетаемости с определенными типами подчиняющих предикатов? И, наконец, как соотносятся КВ с *ли* с другими типами сентенциальных актантов, например, с коррелирующими с ними придаточными с союзами *что* и *чтобы*?

Смысловые различия между «положительными» и «отрицательными» вариантами КВ с *ли* были проанализированы И. А. Филипповской в специальной работе, в которой рассматривался статус сочетания *не...ли* в составе изъяснительного придаточного [Филипповская 1986]. Как показала И. А. Филипповская, за отсутствием / наличием *не* в КВ с *ли* стоят различия в субъективном отношении к Р со стороны субъекта КВ: «*ли* содержит указание на нуль знаний, на то, что нет оснований считать одну из альтернатив (КВ, т. е. Р или не Р. — Е.С.) более вероятной, а в *не...ли* есть смысл 'предположение'» [Филипповская 1986: 77], далее, *ли* и *не...ли* привносят в придаточные различное оценочное

значение — соответственно значение желательности и нежелательности, которое может актуализироваться или оставаться скрытым, погашаться при рассуждениях, вопросах о степени вероятности [Филипповская 1986: 78-79].

Отмеченные И. А. Филипповской различия между *ли* и *не...ли* отражают существенные свойства КВ и имеют немалую объяснительную силу. Однако сами по себе интерпретации КВ, опирающиеся только на признаки 'степень вероятности Р' и 'желательность / нежелательность Р со стороны субъекта КВ' нуждаются, как кажется, в ряде дополнений и уточнений. Характерная особенность данных интерпретаций состоит в том, что они фиксируют лишь некоторые вторичные свойства КВ, производные от более значимых дифференциаций, которые, собственно, и определяют языковую форму косвенного вопроса. Именно к такому выводу приводит сопоставительный семантический анализ предложений с *ли* и *не...ли*.

К мысли о том, что отсутствие / наличие отрицания в структуре КВ влияет на аксиологическую оценку его пропозиционального содержания, как будто бы подводят наблюдения над значением предложений с *ли* и *не...ли*: первые обычно называют положения дел, имеющие в представлениях субъекта КВ положительную оценку, тогда как вторые нередко вводят явления, оцениваемые отрицательно, ср., например, (5) *Больше в этот вечер ничего интересного не случилось, только около полуночи Пумпянская отправилась проверять, везде ли потушен свет и хорошо ли заперта дверь в прихожей* (В. Пьецух) и (6) *Мне неприятно вспоминать ночной разговор, так как я боюсь, не поняли ли вы меня превратно* (Грин). Между тем, как показывает анализ примеров, предложения с *ли* и *не...ли* различаются на самом деле не столько характером аксиологической оценки Р субъектом КВ, сколько ориентацией на разные типы оценочной лексики, причем связь между определенным лексическим наполнением КВ и соответствующей ему аксиологической оценкой Р не является обязательной. Об этом, в частности, свидетельствуют предложения с

ли, имеющие в своем составе позитивные оценочные лексемы, но тем не менее не предполагающие, что субъект КВ заинтересован в Р, см., например, (7) (Разговор после театральной премьеры) *Спроси, понравился ли ей спектакль*; (8) *Милый Александр Иванович. Пожалуйста, напиши мне немедленно, откуда дошла до тебя весть о смерти К. Аксакова и достоверна ли она: ни в журналах, ни в полученных мною из России письмах ни слова об этом нету* (Тургенев — Герцену); (9) *Дело началось с урока политграмоты. Начальник меланхолически спросил о роли коммунистов на любом советском предприятии. Ему хором ответили соответствующий параграф устава. Курилов поинтересовался, хорошо ли задерживать выдачу пайков рабочим, и опять вопрос понравился всем своею исключительною простотой* (Леонов). В этих и подобных им примерах Р едва ли может быть истолковано как желаемое субъектом КВ (в (8) и (9), скорее, наоборот), однако позитивные оценочные лексемы в составе данных КВ не могут быть заменены на аксиологические антонимы, ср., например, (8') **Пожалуйста, напиши мне немедленно, откуда дошла до тебя весть о смерти К. Аксакова и недостоверна ли она...* и (9') **Курилов поинтересовался, плохо ли задерживать выдачу пайков рабочим...* А это, в свою очередь, означает, что выбор, в частности, позитивной формы КВ объясняется не столько субъективным отношением к Р субъекта КВ, т. е. желательностью Р, сколько некоторой более общей и объективной закономерностью, языковым проявлением которой служит определенный тип оценочной лексики (*удобно, понравился, достоверна, хорошо*), желательность же выступает в данном случае всего лишь как вторичный (а потому необязательный) признак, предопределенный этой закономерностью. Со своей стороны, тяготение положительной формы КВ к позитивной оценочной лексике можно связать с тем, что пропозициональное содержание данного предложения имеет непосредственное отношение к представлениям человека об идеализированной норме развития событий, фиксирующей такой ход вещей, который стремится к успеху, благоденствию, процветанию, наиболее полному

раскрытию всех задатков и возможностей, заложенных как в человеке, так и в окружающем его мире. Именно в соответствии с идеализированной нормой развития событий весть, полученная из «вторых рук», должна быть достоверна (8), в полночь везде должен быть потушен свет и заперта дверь в прихожей (5) и всякое сознательно предпринимаемое действие должно удовлетворять предъявляемым к нему требованиям (9). При этом сложное предложение (далее — СП) с придаточным-КВ ничего не сообщает о том, соответствует ли данному идеализированному миропорядку реальность, так как субъект КВ может не видеть в реальной действительности фактов, подтверждающих это соответствие, см. (8) *...ни в журналах, ни в полученных мною из России письмах ни слова об этом нету*, может (исходя из собственного опыта) не исключать возможности того, что в действительности реализовано обратное, см. (5), может даже располагать фактами, как будто бы свидетельствующими об обратном, см. (10) *Екатерина Павловна также скоро привыкла и привязалась ко мне и, когда я не появлялся два-три дня, присылала узнать, здоров ли я* (Чехов). Наконец, пропозиция КВ может оставаться неverified потому, что просто нет необходимости ее верифицировать, см. (4). Что же касается негативной формы придаточного-КВ, то называемое ею положение дел никак не связано с идеализированной нормой развития событий, чем объясняется возможность появления в ее структуре лексики с отрицательным оценочным значением, см., например, (6). Негативная форма КВ используется для языкового воплощения гипотезы Р, пришедшей на ум субъекту КВ в результате мыслительной оценки реальной ситуации (ср. в связи с этим смысл 'предположение', выделенный И. А. Филипповской в значении придаточного с *не...ли*). При этом мысль о возможности Р может возникнуть у субъекта КВ потому, что, по его представлениям или наблюдениям, в реальной действительности нет фактов, которые бы делали Р невозможным (само же обращение к Р объясняется или тем, что Р как таковое неразлично субъекту КВ, или тем, что оно способствует / препятствует

достижению какой-либо преследуемой им цели), см. (11) *К чести Аннушки надо сказать, что она была любопытна и решила еще подождать, не будет ли каких новых чудес* (Булгаков), затем, мысль о возможности Р может основываться на имеющихся у субъекта КВ подозрениях, см. (3), (7) а также (12) *Александр Антонович осторожно, чтобы не смять костюм, сел в кресло и задумался. В сотый раз он себя спрашивал, не безумно ли он поступает, женясь в сорок лет, да еще после такой жизни, да еще на шестнадцатилетней девочке, да еще на англичанке* (Алданов). Мысль о Р может возникнуть и как возможное объяснение некоторых попавших в поле зрения субъекта КВ фактов, см. (13) *Когда он (Чернышевский) сидел в крепости, она (Ольга Сократовна), говорят, рыскала по провинции, так мало заботясь об участи мужа, что родные даже подумывали, не помешалась ли она* (Набоков).

Таким образом, за употреблением позитивной и негативной форм придаточного-КВ стоят разные когнитивные ситуации, которые могли бы быть описаны следующим образом. **Позитивная форма КВ** означает, что пропозициональное содержание придаточного соответствует представлениям субъекта КВ об идеализированной норме развития событий, а именно: характеризуемый компонент пропозиционального содержания X' мыслится субъектом КВ как член класса X, все представители которого с точки зрения идеализированной картины мира должны Р (где Р — характеризующий компонент пропозиционального содержания КВ). При этом СП ничего не сообщает о том, соответствует ли реальный X' идеальному, должному, так как: а) субъект КВ не знает, соответствует ли Р (X') действительности, поскольку не располагает фактами, свидетельствующими в пользу Р (X'), и (или) по его представлениям или наблюдениям возможно обратное; б) субъекту КВ в данной ситуации не важно, соответствует ли Р (X') действительности. **Негативная форма КВ** означает, что пропозициональное содержание придаточного не соответствует представлениям субъекта КВ об идеализированной норме развития событий, т. е. характеризуемый X' не мыслится субъектом КВ

как X, который с точки зрения идеализированной картины мира должен Р (что объясняется либо тем, что у субъекта КВ нет оснований считать Р для X' должным, либо тем, что Р (X') априори не соответствует идеальному развитию событий). Однако Р (X') представляется субъекту КВ возможным, так как он не видит в реальном мире препятствий тому, чтобы было Р (X'), и (или) на Р (X') указывают его представления о действительности либо попавшие в поле его зрения реальные факты: при этом СП также ничего не сообщает о том, соответствует ли гипотеза субъекта КВ реальности. См. в качестве иллюстрации (14) *С ними же вернулся в город и в полночь тил у них чай в тихой, семейной обстановке, когда горел камин, и молодая мать все уходила взглянуть, спит ли ее девочка* (Чехов) и (15) *Пошла это Нюрка ввечеру корову доить, а Иван дома остался. Ждет-пождет — нету Нюрки. «Дай, — думает, — погляжу, не заснула ли»* (Войнович). Пропозициональное содержание придаточного (14) соответствует представлениям субъекта КВ об идеальном ходе вещей (очевидно, что в полночь дети должны спать), в то время как поведение Нюрки (*заснула*) в ситуации, описанной в (15), не является стандартным, т. е. должным (Нюрка пошла не спать, а доить корову); молодая мать, субъект КВ (14), по своему опыту знает, что девочка может проснуться, поэтому она *все уходила взглянуть*, т. е. СП (14) описывает ситуацию, когда субъект КВ подозревает, что действительность может не соответствовать идеалу. Напротив, СП (15) описывает ситуацию, когда субъект КВ допускает возможность нестандартного развития событий, поскольку к этому приводят реальные факты (см.: *Ждет-пождет — нету Нюрки*). Показательно, что введение отрицания в КВ (14) и, наоборот, его элиминация из КВ (15) инвертируют стоящие за данными КВ когнитивные ситуации, делая тем самым эти предложения неуместными ¹.

¹ Такое же смысловое различие проявляется при сопоставлении положительных общих вопросов и их коррелятов с отрицанием, ср.: *Он говорит по-английски?* и *Он не говорит по-английски?*, а также независимых общево-

В дополнение к предложенным семантическим интерпретациям позитивной и негативной форм КВ отметим еще один признак, дифференцирующий предложения с *ли* и *не...ли*, — им является информативный статус пропозиционального содержания данных предложений.

Как было показано выше, *ли* маркирует $P(X')$ как соответствующее представлениям субъекта КВ об идеализированной норме развития событий, основывающейся на том исходном положении, что все в мире должно стремиться к успеху. К этому можно добавить, что представление о $P(X')$ активизируется в сознании субъекта КВ не само по себе, а под воздействием внешнего фактора: оно возникает в его уме по ассоциации с попавшим в поле его зрения или ставшим предметом его мысли явлением R (каким-либо образом связанным с X') как условие, обеспечивающее успешность, идеальность, т. е. нормальность R . Так, например, в поле зрения субъекта КВ может попасть какой-либо поступок, в том числе и потенциальный (т. е., попросту говоря, ему может стать известно о намерении совершить какое-либо действие), и тогда в уме субъекта КВ могут активизироваться представления о допустимости данного действия (ср.: *Я постараюсь быть веселой.* — *Посмотрим еще, имеешь ли ты право веселиться*), его осуществимости (*Уж я ему покажу!* — *Посмотрим еще, сможешь ли ты его догнать*), результативности (*Вот молодец! Надо же придумать такое!* — *Посмотрим еще, удастся ли ему осуществить эту затею*), целесообразности (*Вы едете?* — *Право же, не знаю, стоит ли нускаться в такое долгое и хлопотное путешествие*) и т. д., а также о любом другом условии, гарантирующем его удачное осуществление. Предметом мысли субъекта КВ может стать какая-либо информация, которая, соответственно, вызовет в его

просительных предложение с *ли* и *не...ли*, ср.: *А говорит ли он по-английски?* и *А не говорит ли он по-английски?* [подробнее об этом см. Степанова 1993].

уме представление о достоверности, см. (8), а также какой-либо объект действительности (см. (10), где $P(X')$ мотивируется представлениями о том, что человек должен быть здоров) или обстановка, окружающая субъекта КВ (см. ситуацию, описанную в (5): полночь → должен быть везде потушен свет и заперта дверь в прихожей). Будучи ассоциативно связанным с R (как условие, обеспечивающее его идеальное существование или осуществление), $P(X')$ позитивного КВ **принципиально предсказуемо**: это своего рода коннотация (которую R — и, соответственно, связанный с ним X' — имеют в сознании субъекта КВ или всех членов данного социума), основывающаяся на том исходном положении, что все в мире должно стремиться к успеху; это то, что воспринимается субъектом КВ как некая априорная данность, то, что по его представлениям (впрочем, не всегда осознаваемым) должно заведомо сопутствовать R (и, соответственно, X') и что он, субъект КВ, как бы заранее (априори) знает о нем.

Эта особенность пропозиционального содержания позитивной формы КВ позволяет противопоставить данную форму негативной, пропозициональное содержание которой обычно воспринимается субъектом КВ как нечто новое. Негативный КВ описывает такой признак X' , который в сознании субъекта КВ не связывался с X' до того момента, как анализ реальной действительности вызвал в его уме вопрос (например, в ситуации, описанной в (15), Иван не мог подумать, что Нюрка, пойдя доить корову, уснет, до того момента, как он обратил внимание на ее длительное отсутствие). Поэтому $P(X')$ негативного КВ **принципиально непредсказуемо**, т. е. никак не следует из тех априорных знаний и представлений о мире, которыми располагал субъект КВ до осмысления реальной ситуации. Не случайно а) содержанием негативного КВ может являться явная аномалия; например, «быть превратно понятым» в (6) или «помешаться» в (13) и б) характе-

ристика X' посредством P может восприниматься как неожиданность, пришедшая на ум субъекту КВ внезапно ².

Различия, связанные с тем, следует или нет P (X') из априорных знаний и представлений субъекта КВ о мире, проявляются и в особенностях внутреннего устройства позитивных и негативных КВ, и в их синтагматике. В частности, можно обратить внимание на тот факт, что только негативный КВ описывает ситуацию «протопредложения», т. е. вербализует идею предпринять что-либо, возникшую в уме субъекта КВ в качестве нового хода в развитии событий и выраженную инфинитивной конструкцией, см. (16) *И тогда я подумал о том, не обратиться ли нам в Моссовет* и **И тогда я подумал о том, обратиться ли нам в Моссовет*. В том случае, если идею предпринять что-либо вербализует позитивный КВ, см. ниже (17) и (18), он означает критическое рассмотрение данной идеи, которая или уже введена в поле зрения субъекта (17), или представляет модель поведения, являющуюся традиционной, т. е. общепринятой и, соответственно, ожидаемой в описываемой ситуации (18). Ср.: (17) *Получив приглашение администрации музея присутствовать на открытии новой экспози-*

² Данному утверждению как будто бы противоречат употребления следующего типа: (Говорящий поставил чайник на плиту и через некоторое время обращается к собеседнику): *Посмотри, не кипит ли чайник*. См. также аналогичный литературный пример: (Министр нежных чувств, с минуты на минуту ожидая приезда принцессы, периодически обращается к жандармам): *Пойдите посмотрите, не едет ли принцесса* (Шварц). Однако на самом деле никакого противоречия здесь нет: ожидаемым в данном случае является кипение чайника «вообще» и приезд принцессы «вообще», но не отнесенность данных действий к определенному моменту времени, возможное же свершение P (X') именно в данный момент как раз является непредсказуемым. См. также: (Василий Львович) *стал соображать: не ехать ли в самом деле в Петербург всем домом — и с Аннушкой?* (Тынянов). Предложения такого типа означают, что субъект КВ впервые стал серьезно рассматривать идею, уже введенную в поле его зрения.

ци, я, признаться, засомневался, идти ли... (Комс. правда); (18) Однако принятое ею письмо беспокоило ее чрезвычайно. <...> Она упрекала себя в неосторожном поведении и не знала, что делать: перестать ли сидеть у окошка и невниманием охладить в молодом офицере охоту к дальнейшим преследованиям? — отослать ли ему письмо? — отвечать ли холодно и решительно? (Пушкин). И в том и в другом случае СП с позитивным КВ описывает ситуацию, не соотносящуюся с ситуацией предложения (о других проявлениях различий в информативном статусе Р (X') см. ниже).

Семантическая специфика позитивной и негативной форм КВ делает понятными некоторые синтагматические особенности данных предложений, к числу которых относится, например, их способность / неспособность сочетаться с определенными типами подчиняющих предикатов (о семантике и типологии предикатов, подчиняющих КВ, см. [Грамматика 1980: 479-480; Карттунен 1977; Кифер 1981; Томилова 1984; Томилова 1985; Падучева 1988; Бульгина, Шмелев 1988] и др.).

Предикаты, сочетающиеся с КВ, можно разделить на несколько групп.

I. Предикаты, свободно сочетающиеся как с позитивной, так и с негативной формой КВ и, соответственно, не определяющие формы придаточного, которая в данном случае зависит от когнитивной ситуации (собственно говоря, это предикаты, не определяющие когнитивной ситуации). Сюда относятся предикаты, называющие речевые действия, имеющие целью получить или сообщить информацию, например: *спросить / спрашивать, осведомиться / осведомляться, ответить / отвечать, сказать* и под.; предикаты, обозначающие стремление получить информацию, например: *интересно, любопытно, хотелось бы знать / узнать* и т. д.; предикаты, описывающие факт приобретения информации или процесс, направленный на ее приобретение, например: *узнать, установить / устанавливать, выяснить / выяснять, сообразить / соображать, размышлять, вспомнить / вспоминать, по-*

смотреть и под. См. (19) *Собственно пишу я к тебе, чтобы узнать, правда ли, что тебя посетил Чернышевский, и в чем состояла цель его посещения, и как он тебе понравился?* (Тургенев — Герцену) и (20) *Я ехал в город, ваше превосходительство, — отвечал Шабашкин, — и зашел к Ивану Демьянову узнать, не будет ли какого приказания от вашего превосходительства* (Пушкин); (14) *...и молодая мать все уходила взглянуть, спит ли ее девочка* и (15) *«Дай, — думает, — погляжу, не заснула ли»* и т. д. Следует, однако, иметь в виду, что большинство предикатов, вообще говоря, свободно сочетающихся с обеими формами КВ, обладают указанными свойствами, только будучи употребленными в качестве собственно игноративных предикатов, но не в качестве предикатов «положительного суждения», т. е. только в том случае, если предполагается, что субъект КВ не знает ответа на вопрос (о различии между этими употреблениями КВ см. [Бульгина, Шмелев 1988: 51-55]). Другими словами, свободной сочетаемостью с обеими формами КВ обладают употребления типа *ответь, скажи, узнай, надо выяснить, старался сообразить, попытайся вспомнить, пойду посмотрю* и под. и не обладают *узнал, сообразил, вспомнил* и т. д.

II. Предикаты, семантика которых как будто бы ограничивает их сочетаемость только одной из форм КВ, между тем они могут употребляться и с альтернативной формой КВ, однако такая нестандартная сочетаемость вызывает «смещение» сферы действия предиката. К этой группе относятся, во-первых, предикаты «озарения», указывающие на то, что в сознании субъекта, в результате осмысления им реальной ситуации, оформилось некое новое, т. е. отсутствовавшее прежде представление, например: *пришло / приходит в голову, навело / наводит на мысль, мелькнула мысль, подумывать / поговаривать, заподозрить / возникло / возникает подозрение, высказать догадку / предположение* и под., и, во-вторых, предикаты сомнения: *сомневаться, усомниться / засомневаться, возникло / возникает сомнение, не уверен* и т. д. Сочетаясь с КВ, первые требуют его отрицательной формы, вторые, соот-

ветственно, положительной, см. (13) *...она, говорят, рыскала по провинции, так мало заботясь об участи мужа, что родные даже подумывали, не помешалась ли она;* (21) *Впрочем, даже в нынешние дни такой человек (профессиональный шахматист) был настолько странным, что у нее возникло смутное подозрение, не есть ли шахматная игра прикрытие, обман, не занимается ли Лужин чем-то совсем другим...* (Набоков); (22) (На выставке акварелистов Клиссон и Бетси на одной из акварелей узнали свой дом). *Они отошли в угол; там, шепчась между собой, старались они понять, как попало сюда изображение дома. Клиссон высказал догадку, не есть ли картина раскрашенная фотография* (Грин); (23) *Кому интересно, что Чернышевский думал о Пушкине? <...> Чернышевский был прежде всего ученый-экономист, и как такового его надобно рассматривать, — а при всем моем уважении к поэтическому таланту Федора Константиновича (который объявил, что собирается написать биографию Чернышевского. — Е. С.), я несколько сомневаюсь, сможет ли он оценить достоинства и недостатки «Комментариев к Миллю»* (Набоков) и под. Однако возможны и следующие употребления: (24) *Сомс ладил с котами, что наводило на мысль: а собака ли он вообще?* (В. Токарева) и (25) *При первой беседе А. С. Компанеев не сразу принял мои идеи, высказал сомнения, не сделал ли я элементарных ошибок в оценках* (А. Сахаров)³. При этом обращает на себя внимание тот факт, что *возникла мысль, не Р ли X' ≠ возникла мысль, а Р ли X' и усомниться, Р ли X' ≠ усомниться, не Р ли X', скорее, возникла мысль, а Р ли X' ≈ усомниться, Р ли X' и усомниться, не Р ли X' ≈ возникла мысль, не Р ли X'*.

³ См. также: *Догнав монету, я начал одолевать второй коридор с сомнениями, не предстанет ли его конец пересеченным так же, как там, откуда я едва ушел...* (Грин); (Губернатор) *все сомневался, не обманывает ли его правитель канцелярии, и придумал способ, посредством которого удостоверяться, что его не обманывают* (Русский литературный анекдот конца XVIII — начала XIX века).

III. Предикаты, сочетающиеся только с позитивной или, наоборот, только с негативной формой КВ. К первым относятся предикаты: а) незнания, б) «положительного суждения» (о предикатах «положительного суждения» см. [Бульгина, Шмелев 1988]), в) релевантности и зависимости, а также г) предикаты группы I, употребленные с отрицанием; ко вторым — а) предикаты *бояться* и *надеяться* и б) предикаты «пристального внимания» *искать*, *следить*, *прислушаться / прислушиваться*, *всматриваться* и под. Употребление данных предикатов с альтернативной формой КВ или невозможно, или сомнительно, или менее предпочтительно по сравнению со стандартным вариантом сочетаемости, ср.: (26) *На Арбате был чудесный ресторан, не знаю, существует ли он теперь* (Булгаков) — **не знаю, не был ли он затем превращен в ведомственную столовую*⁴; (27) *Итак, теперь мы точно знаем, останавливался ли Иванцов в гостинице «Россия»* — **теперь мы точно знаем, останавливался ли Иванцов в гостинице «Россия»*; (4) *И какое им дело, есть ли ум под нумерованной фуражкой или сердце под толстой шинелью?* — **Выступая публично, он нимало не заботился о том, не раздражает ли слушателей его скверная*

⁴ Данный пример требует специальной оговорки. В современной литературе довольно часто встречаются СП, в которых предикат незнания подчиняет себе КВ с *не...ли*, см., в частности: *Я не могу вступить в партию, так как мне кажутся неправильными некоторые ее действия в прошлом, и я не знаю, не возникнут ли у меня новые сомнения в будущем* (А. Сахаров); (Колонну советских солдат пропустили к пакистанской границе и потом обещали выпустить обратно). *И вот колонна идет среди причудливых скал <...>, что будет дальше, за следующим поворотом, неизвестно; и неизвестно, не позабудут ли предводители данное обещание, когда колонна будет возвращаться обратно, — может быть, переводчик неверно перевел какое-нибудь слово, и предводители согласились только впустить советскую колонну...* (О. Ермаков). В этих и подобных случаях предикат незнания употреблен, по-видимому, не в собственно игноративном значении ('отсутствие информации'), а в значении предиката неуверенности, т. е. как предикат отмеченной выше группы II.

дикция; (28) *В пятницу нам вновь обещан «Взгляд». Однако выйдет ли передача в эфир, будет зависеть от того, совпадут ли к тому времени политические взгляды руководителей «Взгляда» и Гостелерадио* — **Однако не снимут ли передачу с эфира, будет зависеть от того, не разойдутся ли к тому времени окончательно политические взгляды руководителей «Взгляда» и Гостелерадио*; (29) *Она не заставляла меня клясться в верности, не спрашивала, любил ли я других с тех пор, как мы расстались (Лермонтов)* — **Не спрашивала, не любил ли я других с тех пор, как мы расстались*⁵; (6) *Мне неприятно вспоминать ночной разговор, так как я боюсь, не поняли ли вы меня превратно* — **я боюсь, был ли я понят правильно*⁶; (30) *Года два потолкался он в Петербурге, в надежде, не наскочит ли на него тепленькое статское место...* (Тургенев) — **в надежде, наскочит ли на него тепленькое статское место...* (3) *Рассказчик мой смолк и прислушался, не сплю ли я* — **Прежде чем встать с кровати, Петька прислушался, сплю ли я* (ср. однако: *Прежде чем встать с кровати, Петька прислушался, пытаясь определить, сплю ли я*).

Перечисленные синтагматические особенности позитивных и негативных КВ объясняются различными референциальными возможностями данных предложений, а точнее — характером истинностного значения Р (X'), задаваемым данными формами КВ⁷.

⁵ См., однако: *Я поднялся по знакомой лестнице, узнавая подробности, которых не вспоминал семнадцать лет, и автоматически постучал в знакомую дверь. Только тут я подумал, что напрасно не узнал у Бомстона, не умер ли Гаррисон...* (Набоков); *Может быть, все-таки он поддерживает тайную связь с ней? Не проверишь, не получает ли он от нее писем на штаб* (Солженицын).

⁶ См. однако: *Боюсь, выдержу ли я: что-то силы надают, хотя я и толстею* (Гончаров — Майковым).

⁷ В некоторых работах описываемые далее различия рассматриваются как различия в модальности [см. Падучева 1974: 195-200].

Чтобы определить референциальные возможности КВ, обратимся еще раз к предикатам, сочетающимся с данным типом предложений. Среди этих предикатов есть такие, которые подчиняют себе не только КВ, но и придаточные с *что*, *чтобы* и др., причем изменение характера придаточного сопровождается семантическим сдвигом — достаточно заметным (например: *Никто не знает, останавливался ли Иванцов в гостинице «Россия»*) или менее очевидным (например: *Я боюсь, не поняли ли вы меня превратно* и *Я боюсь, что вы поняли меня превратно*). Вместе с тем есть и такие предикаты, которые сочетаются только с интеррогативными придаточными, например: *спросить / спрашивать, зависеть* и нек. др. Отличительное свойство этих предикатов заключается в том, что их сентенциальную валентность не может замещать суждение, то есть нечто, способное быть утверждаемым или отрицаемым. Содержанием их непредметного актанта является *параметр*, то есть основание, по которому дается характеристика, способная образовать суждение, причем сама эта характеристика остается «за кадром». На лексемном уровне данным сентенциальным формам соответствуют параметрические существительные типа *место, время, значение, условия, характер* и др., также называющие основание для характеристики, но не характеризующие [см. Падучева 1980: 15-19; Падучева 1988: 38]. Как отмечает Е. В. Падучева, термин «параметрические существительные» обычно применяется к названиям физических параметров — *температура, высота, величина* и под., однако эти слова естественно включаются в существенно более широкий класс существительных, характеризующихся целым рядом общих признаков, к числу которых, кстати говоря, относится способность замещать интеррогативную валентность слов, подчиняющих КВ: *узнать величину, отношение, условия приема* и под. [см. Падучева 1980: 16-17]. В этой же работе дан список параметрических лексем русского языка [там же: 19].

Параметр, называемый местоименным КВ, определяется по местоименному слову, ср.: *независимо от того, кто / что / где /*

когда / сколько и т. д. Что касается общего КВ, то называемый им параметр можно представить как 'истинное значение $P(X)$ ', ср.: *независимо от того, P или $X' \approx$* 'независимо от истинностного значения $P(X)$ '; *поинтересуйся у него, не P ли $X' \approx$* 'поинтересуйся у него истинностным значением $P(X)$ ' и под. В отличие от характеристики по параметру местоименного КВ, характеристика по данному параметру не затрагивает пропозициональной части содержания интеррогативного предложения, ее роль заключается в том, чтобы соотнести $P(X)$ с действительностью.

Параметрическую валентность открывают подавляющее большинство предикатов, сочетающихся с общим КВ (об исключениях см. ниже), ср.: *любопытно / узнай / размышлял о том, (не) P ли (X') \approx* 'меня интересует истинностное значение $P(X)$ '; 'узнай истинностное значение $P(X)$ '; 'размышлял об истинностном значении $P(X)$ '; *не знаю / установлено, P ли $X' \approx$* 'не знаю истинностного значения $P(X)$ '; 'установлено истинное значение $P(X)$ ' и т. д. Некоторые предикаты приобретают ее, получая возможность иметь при себе делиберативный объект, ср., например, **считать / полагать, P ли X' и мнение о том / относительно того, P ли X'* , что является вполне объяснимым, если учесть, что позиция делиберативного объекта — это типичная позиция параметрической лексики (ср.: *говорить / думать о значении реформ для экономики страны, характере проводимых преобразований, роли личности в истории, времени действия пьесы, содержании фильма...*).

Итак, называя какое-либо положение дел внеязыковой действительности, *(не) P ли X'* , представляет его истинностное значение как параметр. Имея в виду это свойство общего КВ, обратимся теперь к его положительной и отрицательной формам с тем, чтобы определить, предполагают ли они какие-либо особенности в реализации параметрического значения.

Анализ данных форм приводит к следующим заключениям.

Позитивная форма КВ, представляя истинностное значение $P(X)$ как параметр, не несет в себе никакой информации об

оценке субъектом КВ реальной ситуации, т. е. его точке зрения на то, соответствует ли и в какой степени соответствует Р (X') действительности. Иначе говоря, *ли* указывает лишь на то, что обозначаемое КВ положение дел а) вытекает из представлений субъекта об идеализированной норме развития событий и б) берется в отвлечении от его характеристики по параметру 'истинностное значение', см.: ...останавливался ли Иванцов в гостинице «Россия»⁸.

Чисто параметрическим представлением истинностного значения Р (X') объясняются следующие особенности «поведения» предложения с *ли*. Во-первых, данное предложение обладает способностью употребляться в качестве заголовка, называя тему дальнейшего изложения, см.: *Хотят ли русские войны; Правильно ли мы говорим; Определяет ли принцип экономии развитие и функционирование языка; Является ли вид морфологической категорией* и под. (позиция заголовка типична для параметрической лексики, поскольку это позиция потенциального делиберативного объекта, кроме того, заголовки — это обычно «чистая» тема, без какой бы то ни было характеристики по параметру). Во-вторых, Р *ли* X' может употребляться с предикатами, которые, подчиняя себе общий КВ, вместо определенной истинностной характеристики пропозиции требуют «чистого» параметра, т. е. игнорируют истинностное значение Р (X') как таковое и оставляют в стороне его оценку субъектом КВ. Это предикаты, отнесенные выше к группе III: релевантности и зависимости (*зависит от того, Р ли X'; неза-*

⁸ Чисто параметрический характер истинностного содержания предложения с *ли* был так или иначе отмечен в некоторых исследованиях, см., например, замечание А. Н. Баранова и И. М. Кобозевой об отсутствии (или «нулевом» типе) эпистемической установки в вопросах с *ли* [Баранов, Кобозева 1983: 268] или характеристику Н. Д. Арутюновой модуса незнания (предложений типа *Не знаю, Р ли*), который «оставляет невыбранной пропозицию с тем или иным истинностным значением» [Арутюнова 1988: 126].

висимо от того, *Р* ли *X'*; принципиально важно, *Р* ли *X'*; безразлично, *Р* ли *X'* и под.), незнания (не знают, *Р* ли *X'*) и «положительно-го суждения» (теперь мы точно знаем, *Р* ли *X'* и др.), см. (4), (26) – (28). В-третьих, предложение с *ли* может употребляться с классификаторами *аспект* и *параметр*, ср. (31) *Характеристика каждого глагола будет дана по следующим параметрам: 1) имеет ли глагол актуально-длительное значение НСВ, 2) сочетается ли он с обстоятельствами, обозначающими способ выполнения действия...* Наконец, предложение с *ли* может быть развернуто в дизъюнкцию, т. е. соединено разделительной связью с предложением (-ями), описывающим (-ими) альтернативный ход событий, см. (32) *Дубровский держал в руке открытую книгу, но глаза его были закрыты. И старушка, поглядывающая на него из-за перегородки, не могла знать, заснул ли он, или только задумался* (Пушкин) и (33) *...у меня несчастный характер: воспитание ли меня сделало таким, Бог ли так меня создал, не знаю...* (Лермонтов) (как известно, дизъюнкция имплицитно равную возможность всех вариантов, см. толкования разделительных союзов в работе [Санников 1989: 98-134], и тем самым предполагает, что ни один из них не выбран в качестве утверждаемого)⁹. Следует специально

⁹ Заметим, что СП типа (32) и (33) отличаются от СП с одиночным *ли* характером параметра: в последних (см., например, (26) *На Арбате был чудесный ресторан, не знаю, существует ли он теперь*) предикат имеет валентность на параметр 'истинностное значение *Р* (*X'*)', тогда как в (32) и (33) он имеет валентность на параметр, соответствующий параметру местоименного КВ — в (32) субъект КВ не знает, что делает Дубровский, в (33) — субъект КВ не знает, в чем причина его несчастного характера. Думается, именно этим объясняется тот факт, что КВ с *ли* далеко не всегда может разворачиваться в дизъюнкцию, в частности, такой операции не поддается подавляющее большинство приведенных в тексте примеров. Кроме того, предложения с *ли* могут вступать в два типа дизъюнктивных отношений, между которыми существуют определенные различия, — это тип *или*, см. (32), и тип *ли...ли*, см. (33), описание которых не входит в задачи настоящей работы (о различиях между *или* и *ли...ли* см. [Санников 1989: 98-

подчеркнуть, что данные употребления свидетельствуют именно о чисто параметрическом характере истинностного значения позитивного КВ, а не о том, что *ли*, как отметила в своей работе И. А. Филипповская, «содержит указание на нуль знаний, на то, что нет оснований считать одну из альтернатив более вероятной...» [Филипповская 1986: 77]. *Ли* маркирует способ представления пропозиционального содержания КВ (в соответствии с которым $P(X)$ не получает никакого истинностного значения), а не характер представлений субъекта КВ об истинностном значении $P(X)$ и поэтому не исключает для субъекта КВ возможности иметь определенное мнение о степени вероятности $P(X)$, см., например, (34) *Люблю ли тебя — я не знаю, Но кажется мне, что люблю* (А. К. Толстой). Просто если такое мнение существует, в соответствии со способом представления истинностного значения $P(X)$ оно должно оставаться «за кадром» (см., например, предложения с предикатами «положительного суждения»). Другими словами, *ли* предполагает такой способ подачи положения дел, при котором совершенно не принимается во внимание его характеристика по параметру 'соответствие действительности', что, естественно, не означает, что субъект КВ не в состоянии дать указанную характеристику.

Перечисленные употребления P *ли* X' , по всей видимости, исчерпывают список употреблений, при которых значение предложения с *ли* сохраняется в своем исходном виде, без каких-либо контекстуальных наслоений. При всех остальных употреблениях P *ли* X' значение данного предложения уже следует рассматривать как результат взаимодействия его исходной семантики с семантикой контекста. Например, такое взаимодействие демонст-

109, 114-117)). Заметим только, что предложения типа (33) дают основание утверждать, что между *ли* — показателем общего КВ и *ли* — разделительным союзом есть семантическое единство: в обоих случаях пропозиция $P(X)$ представляется в отвлечении от своего истинностного значения.

рируют СП, в составе которых предложение с *ли* подчиняется предикатам группы I *спросить / спрашивать, любопытно, узнать, посмотреть* и под., см., в частности, (14) ...и молодая мать все уходила взглянуть, *стит ли ее девочка*. В отличие от предложений с предикатами зависимости, релевантности, незнания и «положительного суждения», см. (4), (26) – (28), данное предложение уже имплицитно определяет оценку субъекта КВ реальной ситуации: субъект КВ подозревает, что Р (X) может быть не реализовано в действительности. Однако этот смысловой компонент является не компонентом значения предложения с *ли* как такового — оно имеет то же самое значение, что и в составе (4) и (26) – (28), а контекстуальной импликатурой, так как выводится из самого факта употребления данного придаточного при определенном предикате: если человек идет узнать, соответствует ли должное развитие событий реальности, значит, он допускает, что такого соответствия может не быть, в противном случае его действия были бы лишены смысла. Результатом такого же взаимодействия является значение предложения с *ли*, сочетающегося с предикатами типа *сомневаться* (группа II), см. (17) и (23). Согласно общепринятому толкованию, *сомневаться* означает, что субъект, не решив, считать ли, что Р имеет (имело, будет иметь) место в действительности, более склонен считать, что Р не имеет (не имело, не будет иметь) места, см. [Мельчук, Жолковский 1984: 765], и эта оценка реальной ситуации переносится на предложение с *ли*, ср. (23) ...а при всем моем уважении к поэтическому таланту Федора Константиновича, я несколько сомневаюсь, *сможет ли он оценить достоинства и недостатки «Комментариев к Миллю»*.

Вместе с тем сочетаемость предложения с *ли* с предикатами группы *сомневаться* имеет свои особенности. Если способность предикатов I и III групп, например *спросить* или *зависеть*, подчинять себе КВ, и в частности КВ с *ли*, объясняется тем, что они имеют валентность на параметр, то сочетаемость *сомневаться* с *ли* связана с иными факторами. *Сомневаться* не имеет параметрической валентности, его объектный актанта — это сентенциаль-

ное или номинализованное («свернутое») суждение $P(X')$ со снятой утвердительностью (вследствие чего данный предикат не сочетается ни с местоименным КВ, ни с дизъюнкцией)¹⁰. Его способность употребляться с *ли* объясняется наличием общих признаков в оценке $P(X')$, имплицитруемой позитивной формой КВ, и оценке пропозиции, «обернутой» в оболочку пропозициональной установки сомнения. Так, например, ни предложение с *ли*, ни объектный актант предиката сомнения не представляют $P(X')$ как соответствующее действительности. Далее, пропозиция, истинность которой вызывает сомнение, имеет тот же информативный статус, что и пропозициональное содержание КВ с *ли*. Сомневаться можно только в том, что для субъекта сомнения не является новым, см. [Арутюнова 1988: 122], поэтому объект сомнения должен быть либо уже введен в коммуникативный фокус, т. е. предупомянут, либо должен восприниматься субъектом как некая априорная данность, т. е. признак, которым заведомо должен обладать какой-либо X , см.: *Ведь адресованные вам угрозы могут быть реализованы!* — *Сомневаюсь: им нет смысла убивать меня; Погода была ветреная, воздушный шар надувался плохо, и публика уже начала сомневаться в возможности полета; Читая эту работу, мы испытывали сильное сомнение в правоте исследователей* и т. д. (примеры из словаря [Мельчук, Жолковский 1984: 766, 771]). Наконец, сомневаются обычно в реализованности того, что обеспечивает *нормальность*, т. е. идеальность X , например, *в возможности полета, правдивости авторов, их порядочности, правильности принятого решения* и т. д., доказательством чему может служить следующее: если признак, наличие которого у X вызывает сомнение, не назван, он легко восстанавливается и понимается именно в «положительном смысле», т. е. как признак, которым должен обладать идеальный X , например, *Директор со-*

¹⁰ Отметим, что такими же свойствами обладают предикаты *провести, удостовериться* и производные несовершенного вида.

мневается в новом сотруднике означает, что директор сомневается в том, что новый сотрудник обладает каким-либо из качеств идеального работника (см. [Мельчук, Жолковский 1984: 767-768], где *сомневаться в Y-е* толкуется как 'сомневаться в том, что Y будет функционировать правильно'). Все это вместе взятое и делает возможной сочетаемость предикатов сомнения с позитивной формой КВ, несмотря на исходные различия в статусе $P(X)$ ¹¹.

Негативная форма КВ, в отличие от позитивной, не употребляется в качестве заголовка, не сочетается с чисто параметрическими предикатами (ср.: **Независимо от того, не P ли X'*) и классификатором *параметр* и не может быть развернута в дизъюнкцию (ср.: **узнай, не P ли X' или P*), т. е. не обладает всеми теми свойствами позитивной формы КВ, в которых проявляется чисто параметрический характер ее истинностного содержания. Все это позволяет утверждать, что параметрическое значение, выражаемое негативной формой КВ, осложнено семантическим компонентом, препятствующим употреблению данной формы в ситуациях, которые задают вместо определенной истинностной характеристики пропозиции «чистый» параметр. Этим компонентом является имплицитруемая *не P ли X'* оценка реальной ситуации, точнее, оценка $P(X)$ как возможного хода событий, пришедшая на ум субъекту КВ в результате осмысления им реальной действительности (см. предложенную выше интерпретацию *не...ли*). Она и определяет синтагматику предложения с *не...ли*, в частности, его сочетаемость / несочетаемость с той или иной группой предикатов. Например, предикаты *спросить / спраши-*

¹¹ Тот факт, что сочетаемость предикатов сомнения с КВ с *ли* обуславливается именно их семантикой, а не наличием у них валентности на параметр, подтверждается тем, что они теряют способность сочетаться с *P ли* при введении отрицания, ср.: **Я не сомневаюсь, сможет ли он оценить достоинства и недостатки «Комментариев к Миллю»*. Предикаты, имеющие валентность на параметр, не утрачивают этой способности при введении отрицания.

вать, интересно, узнать, размышлять и под., отнесенные выше к группе I, обозначают поиск информации, т. е. ситуацию, при описании которой уместно сообщить о какой-либо предварительной гипотезе субъекта КВ относительно истинности $P(X)$, поэтому данные предикаты допускают осложнение параметрического значения КВ оценкой субъектом КВ реальной ситуации и, как следствие, свободно сочетаются с *не...ли*, ср.: *спросить / спрашивать, не Р ли X'*; *интересно, не Р ли X'*; *узнай, не Р ли X'*; *размышлял о том, не Р ли X'* и под., см. (12), (15) и (20). Напротив, предикаты релевантности и зависимости, незнания и «положительного суждения», а также сочетания предиката поиска информации с отрицанием, отнесенные к группе III, называют ситуации, при описании которых какая-либо информация об оценке субъектом КВ реальной ситуации представляется неуместной (излишней), вследствие чего данные предикаты практически не употребляются с негативной формой КВ, см. (4), (26) – (29) и их соответствия с отрицанием. Неуместность выражаемой *не...ли* дополнительной информации при описании ситуаций, стоящих за предикатами релевантности, незнания и «положительного суждения», а также предикатами с отрицанием, объясняется ее коммуникативным статусом. Как уже отмечалось выше, эта информация является новой для субъекта КВ, а новой информации свойственно быть в центре внимания субъекта (тем более что она только что пришла ему на ум), а значит, и в коммуникативном фокусе высказывания. Однако в предложениях с перечисленными выше предикатами в коммуникативном фокусе должны находиться данные предикаты, а не употребленные с ними КВ (о коммуникативной организации предложений с ментальными предикатами и предикатами с отрицанием см. [Шатуновский 1988; Булыгина, Шмелев 1988; Шатуновский 1990]). В результате информация об оценке реальной ситуации, выражаемая негативным КВ, «перетягивает» на себя внимание, которое должно быть сосредоточено на другом

компоненте предложения, и данное предложение оказывается не вполне корректным¹² (что касается предикатов зависимости, то их несочетаемость с *не...ли* имеет то же объяснение, только, в отличие от других членов данной группы, эти предикаты предполагают, что в коммуникативном фокусе находится не сам предикат, а параметрическое значение). Наоборот, предложения с *ли*, называющие в данном случае «чистый» параметр и не отвлекающие внимания на оценку Р (X') субъектом КВ, здесь вполне уместны.

Компонент 'субъекту пришло на ум, что X' может Р', имеющийся в семантике *не...ли*, делает возможным употребление *не Р ли X'* с предикатами, не имеющими валентности на параметр, но имплицитно оценивающими оценку подчиненной пропозиции, сходную с оценкой Р (X') в составе негативного КВ. К их числу относятся, во-первых, предикаты «озарения» из группы II: *пришло в голову, наводит на мысль, возникло подозрение, подумывать* и т. д., см. (13), (21), (22), и, во-вторых, предикаты *бояться* и *надеяться*, а также *следить, прислушаться / прислушиваться, всматриваться* и под. из группы III; см. (6), (30), (3). Сочетаемость предикатов «озарения» с *не...ли*, по-видимому, не нуждается в комментариях: они фактически воспроизводят ментальное состояние субъекта, соответствующее негативному КВ, и, кроме того, предполагают соответствующий *не...ли* информативный статус подчиненной пропозиции. Что же касается *бояться* и *надеяться*, то в семантике данных предикатов есть два компонента, обуславливающих их сочетаемость с *не...ли*: 'субъект желает / не желает Р (X')' (вследствие чего мысль о Р (X') активизируется в его сознании) и 'субъект полагает Р (X') возможным' (подробнее о значении лексем *бояться* и *надеяться* см. [Мельчук, Жолковский 1984: 158, 441]). Эти же два компонента определяют сочетаемость *не...ли* с предикатами *следить, прислушаться / прислушиваться* и т. д.: данные

¹² Ср. эпизодически встречающиеся употребления чисто параметрических предикатов с *не...ли*, отмеченные ранее.

предикаты описывают ситуацию предельной концентрации внимания субъекта, которая может объясняться только тем, что субъект *боится* Р (X') или *надеется* на него, т. е. желает / не желает Р (X') и полагает Р (X') возможным, см., например, (35) *Прежде всего я закрыл двери, стесняясь пустых пространств, как подозрительных глаз; я даже вышел прислушаться, не ходит ли кто-нибудь, как и я, в этих стенах* (Грин) и (36) *Она приходила ко мне каждый день, а ждать ее я начинал с утра <...> За десять минут я садился к оконцу и начинал прислушиваться, не стукнет ли ветхая калитка* (Булгаков). Таким же образом объясняется и сочетаемость *не...ли* с предикатами группы *ждать*, см. (37) *Басистов не спускал глаз с Рудина, все выжидая, не скажет ли он чего-нибудь умного?* (Тургенев). Характерно, что перечисленные предикаты теряют способность употребляться с *не...ли* в сочетании с отрицанием, см. **Я не боюсь, не поняли ли вы меня превратно*; **Басистов не ждал, не скажет ли Рудин чего-нибудь умного* и под. По-видимому, это связано с тем, что *не* отрицает те компоненты семантики данных предикатов, которые «отвечают» за их сочетаемость с *не...ли*, и предикат в сочетании с отрицанием уже описывает ментальное состояние субъекта, противоположное тому, что предполагается негативным КВ¹³.

Следует, однако, иметь в виду, что предикаты «озарения» обладают одной синтагматической особенностью, отличающей их от *бояться*, *надеяться*, *прислушаться* и под.: требуя негативного КВ, они тем не менее могут употребляться и с позитивной формой интеррогативного предложения, см. (24) *Сомс ладил с ко-*

¹³ Что касается предикатов «озарения», то они сочетаются с отрицанием, однако это приводит к тому, что гипотеза, обозначаемая КВ, перестает быть гипотезой субъекта ментального действия, обозначаемого подчиняющим предикатом. См.: *Странно и наивно, что мне тогда не приходило в голову: а не презирают ли они меня за то, что у меня почти не бывало денег?* (Искандер) — КВ представляет мысль, которая пришла в голову не герою, а рассказчику.

тами, что наводило на мысль: а собака ли он вообще? Для бояться, надеяться, прислушаться и под. такое употребление будет не совсем корректным, см. позитивные соответствия предложений (3), (6) и (30). Данное различие, по всей видимости, объясняется следующим. Сфера действия предикатов бояться и надеяться, а также предикатов, имплицитующих 'бояться' и 'надеяться', может находиться только в пределах эксплицитного содержания КВ, т. е. $P(X)$, см. (6): ...я боюсь, не поняли ли вы меня превратно \approx 'полагаю возможным, что вы могли понять меня превратно, и не желаю этого'; (37) ...выжидая, не скажет ли он чего-нибудь умного? \approx 'полагая возможным, что он может сказать что-нибудь умное, и желая этого', и т. д. Что же касается предложения с *ли*, то оно, в силу своих семантических особенностей, исключает установку на возможность $P(X)$, оно может имплицитировать только такую оценку реальной ситуации, при которой возможным представляется обратное. Поэтому с *ли* сочетаются лишь те предикаты возможности, которые могут быть связаны не только с эксплицитным содержанием КВ, но и с его импликатурами. К числу таких предикатов и относятся *пришло в голову, мелькнула мысль, подумывать* и под. (те же предикаты группы «озарения», сферой действия которых может быть только $P(X)$, не сочетаются с *ли* ни при каких условиях, ср.: *Клиссон высказал догадку, а картина ли это вообще?). См. (24): мысль, пришедшая на ум субъекту КВ в результате оценки им реальной ситуации, заключается в том, что называемое КВ положение дел, принимаемое как нечто само собою разумеющееся (известно, что Сомс — это собака), может не соответствовать действительности (в этом смысле показательна лексема *а*, открывающая КВ, ср. ...а собака ли он вообще? «Имитируя» прямую речь, она сигнализирует о том, что мысль, утверждаемая в предложении, ранее как бы подспудно отвергалась). Представление о возможном несоответствии $P(X)$ действительности и составляет в данном случае сферу действия предиката, отличающуюся от стандартных употреблений (13), (21) и (22) тем, что она «сместилась» с эксплицитного содержания КВ на его им-

плицитное содержание, сообразуясь с семантическими особенностями предложения с *ли*.

Аналогичное «смещение» сферы действия предиката наблюдается и в том случае, когда предикат сомнения, требующий, вообще говоря, позитивной формы КВ, употребляется с *не...ли*, см. (25). *При первой беседе А. С. Компанеев не сразу принял мои идеи, высказал сомнения, не сделал ли я элементарных ошибок в оценках.* В отличие от стандартного употребления предиката сомнения, при котором сферой его действия является $P(X')$, см. (23) *...я несколько сомневаюсь, сможет ли он оценить достоинства и недостатки «Комментариев к Миллю», в (25) сомнению подвергается не то, что А. Д. Сахаров сделал элементарные ошибки в оценках, а правильность его расчетов и, соответственно, адекватность предложенных им идей. То есть в сфере действия предиката сомнения в (25) находится не $P(X')$, а некие априорные представления о должном, активизированные в сознании субъекта КВ в связи с идеями, высказанными А. Д. Сахаровым, сам же КВ вербализует возникшее в уме субъекта предположение, лежащее в основе его сомнений. именно поэтому *усомниться, не Р ли X' ≈ возникла мысль, не Р ли X', а возникла мысль, а Р ли X' ≈ усомниться, Р ли X'.**

Способность ряда предикатов употребляться и с КВ, и с другими типами зависимых предложений закономерно ведет к постановке вопроса о различиях между (*не*) P ли X' и предложениями с *что, чтобы* и др. Эти различия могут быть двух типов. Первый выделяется при сопоставлении СП с предикатами, имеющими валентность на параметр, например: (38) *Никто не знает, останавливался ли Иванцов в гостинице «Россия»* и (38') *Никто не знает, что Иванцов останавливался в гостинице «Россия»*; (39) *Он говорил, не заботясь о том, слушают ли его* и (39') *Он говорил, не заботясь о том, чтобы его слушали* и под. Различия между членами этих пар связаны со способом представления истинностного значения (оно представлено как параметр), тогда как *что* и *чтобы* вводят пропозицию, получившую утвердительную истинност-

ную характеристику — в реальном мире (*что*) или в одном из возможных миров, отличных от реального (*чтобы*). В итоге (38'), в отличие от (38), имеет презумпцию фактивности, т. е. имплицитно утверждает, что говорящий знает, что Иванцов останавливался в гостинице «Россия», а (39'), в отличие от (39), означает, что субъект не прикладывал никаких усилий к тому, чтобы было Р (X') (о других возможных реализациях данного различия см. [Кобозева 1988: 90-91, 96-97]).

Второй тип различий между (*не*) Р ли X' и предложениями с изъяснительными союзами обнаруживается при сравнении СП с предикатами, не имеющими валентности на параметр, например: (23) *...при всем моем уважении к поэтическому таланту Федора Константиновича, я несколько сомневаюсь, сможет ли он оценить достоинства и недостатки «Комментариев к Миллю»* и (23') *...я несколько сомневаюсь (в том), что он сможет оценить достоинства и недостатки «Комментариев к Миллю»*, (22) *Клиссон высказал догадку, не есть ли картина раскрашенная фотография* и (22') *Клиссон высказал догадку, что картина есть раскрашенная фотография*; (6) *Мне неприятно вспоминать ночной разговор, так как я боюсь, не поняли ли вы меня превратно* и (6') *...я боюсь, что вы поняли меня превратно*; (30) *Года два потолкался он в Петербурге, в надежде, не наскочит ли на него тепленькое статское место* и (30') *...в надежде, что на него наскочит тепленькое статское место* и под.

Различия между этими парами имеют несколько иной характер, чем в предыдущем случае. Во-первых, предложение с *что* семантически элементарнее, чем (*не*) Р ли X'. Оно означает лишь то, что представляемое им суждение «обернуто» в некую ментальную оболочку, однако какова эта оболочка, целиком и полностью определяется подчиняющим предикатом (ср.: *сомневаться, что Р*; *бояться, что Р* и т. д.). Напротив, (*не*) Р ли X' выражает оценку Р (X'), которая существует как бы сама по себе, независимо от предиката. Это хорошо видно, например, при сопоставлении предложения с *что* и предложения с *не...ли*, см., в частно-

сти, (6) ...я боюсь, не поняли ли вы меня превратно и (6') ...я боюсь, что вы поняли меня превратно. Что вы поняли меня превратно имеет модальность возможности только потому, что подчиняется предикату боюсь, тогда как не поняли ли вы меня превратно имеет модальность возможности само по себе, независимо от предиката. Поэтому, кстати говоря, (6') не совсем точно передает смысл (6), более адекватным в данном случае было бы предложение (6'') ...я боюсь, что вы могли понять меня превратно (ср. в связи с этим замечание И. Н. Кручининой о том, что в СП с *что* глагол боюсь имеет значение «предположения-опасения», а в СП с *не...ли* — «неуверенного предположения», «опасения-сомнения», см. [Грамматика 1980: 481]). Затем, (*не*) Р ли X' воспринимается как более самостоятельное по сравнению с предложением с *что*. Оно легко отрывается от связанного с ним предиката и может функционировать независимо, выражая при этом те же смыслы, что и в сочетании с предикатом, ср. (13) ...родные даже подумывали, не помешалась ли она и Не помешалась ли она? Далее, оно может употребляться с частицами *а, уж, да*, что характерно именно для независимых предложений, см. (24) ...а собака ли он вообще?; (40) Лео Бар вдруг застыл, пораженный подлейшей постыдной мыслью — уж не сравнивает ли он свою судьбу с судьбой Наполеона? (Аксенов), и нередко получает оформление бессоюзной части СП, см. (41) А я уже по выражению спины понимала, что бабушке плохо, и очень боялась: не плачет ли она? (Н. Ильина) и (42) Подметил я твой моментальный взгляд, искоса. Знаю, у тебя мелькнула мысль про меня: «Не опустил ли?» (Куприн). Наконец, (*не*) Р ли X' отличается от предложения с *что* значительно большей «силой чувства», или экспрессивностью, о чем свидетельствует и сочетаемость *ли* и *не...ли* с частицами *а, уж, да*.

Взятые вместе, данные признаки позволяют предположить, что (*не*) Р ли X' употребляется с «непараметрическими» предикатами тогда, когда говорящий не просто описывает положение дел, подвергаемое сомнению или являющееся содержанием предположения субъекта, — это функция союза *что*, а как бы вос-

производит мысли субъекта, его внутреннюю речь (тем самым создается эффект интроспективного представления информации, при котором говорящий описывает происходящее с позиции субъекта КВ). А это значит, что а) отношения между «непараметрическим» предикатом и *(не) Р ли X'* аналогичны отношениям между авторскими словами и прямой речью (к предикату мысли примыкает мысль, воспроизводимая КВ)¹⁴ и что б) рядом с «непараметрическим» предикатом *(не)...ли* не выполняет связующей функции и выступает только как вопросительная частица¹⁵. Таким образом, в СП с *ли* и *не...ли* реализуются два типа отношений: отношения, при которых параметрическую валентность предиката замещает предложение, называемое параметр, и отношения, при которых к предикату мысли присоединяется предложение, воспроизводящее данную мысль (причем предложения второго типа можно рассматривать как своеобразное связующее звено между собственно придаточными с *ли* и *не...ли* и независимыми общевпросительными предложениями.

¹⁴ Однако от канонической прямой речи *(не) Р ли X'* отличаются характером оформления категории лица, ср. (40) *Лео Бар вдруг застыл, пораженный подлейшей постыдной мыслью — уж не сравнивает ли он свою судьбу с судьбой Наполеона?* и *Лео Бар вдруг подумал: «Уж не сравниваю ли я мою судьбу с судьбой Наполеона?»* Ср. в этой связи понятие несобственно-прямой речи как особого промежуточного явления, расположенного между двумя каноническими способами передачи чужой речи — прямым и косвенным [Арутюнова 1992: 43].

¹⁵ Подтверждением тому могут служить случаи совмещения *что* и *(не)...ли*, например: *Дядя Берлиоза был искренне поражен поведением неизвестного <...> Однако в то же время неприятное облачко набежало на его душу, и тут же мелькнула змейкой мысль о том, что не прописался ли этот сердечный человек уже в квартире покойного, ибо и такие примеры в жизни бывали* (Булгаков). Ср. также точку зрения Г. В. Валимовой, согласно которой все СП с КВ следует рассматривать как бессоюзные [Валимова 1967: 309-316].

Итак, позитивная и негативная формы КВ с *ли* различаются тем, что в одном случае пропозициональное содержание КВ мотивируется представлениями субъекта об идеализированной норме развития событий, тогда как во втором — его мыслями о реальной ситуации, что предопределяет все остальные различия между предложениями с *ли* и *не...ли*; в частности, *не...ли* всегда предполагает определенную оценку действительности, в то время как *ли* представляет истинностное значение пропозиции как «чистый» параметр; *не...ли* вводит новый для субъекта КВ ход в развитии событий, в то время как *ли* маркирует $P(X)$ как (априорную) данность, новой при употреблении *ли* может быть только мысль о возможном несоответствии $P(X')$ действительности и т. д., и все это находит свое отражение в синтагматике обеих форм.

ЛИТЕРАТУРА

- Арутюнова 1988 — Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт. М., 1988.
- Арутюнова 1992 — Арутюнова Н. Д. Речеповеденческие акты в зеркале чужой речи // Человеческий фактор в языке: Коммуникация, модальность, дейксис. М., 1992.
- Баранов, Кобозева 1983 — Баранов А. Н., Кобозева И. М. Семантика общих вопросов в русском языке (категория установки) // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1983. Т. 42. № 3.
- Булыгина, Шмелев 1988 — Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Вопрос о косвенных вопросах: является ли установленным фактом их связь с фактивностью? // Логический анализ языка: Знание и мнение. М., 1988.
- Валимова 1967 — Валимова Г. В. Функциональные типы предложений в современном русском языке. Ростов-на-Дону, 1967.
- Грамматика 1970 — Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970.
- Грамматика 1979 — Русская грамматика. Прага, 1979. Т. 2.

- Грамматика 1980 — Русская грамматика. М., 1980. Т. 2.
- Карттунен 1977 — Karttunen L. Syntax and semantics of questions // Linguistics and philosophy. Dordrecht – Boston, 1977. Vol. I. № 1.
- Кифер 1981 — Kiefer F. Questions and attitudes // Crossing the boundaries in linguistics. Dordrecht etc., 1981.
- Кобозева 1988 — Кобозева И. М. Отрицание в предложениях с предикатами восприятия, мнения и знания // Логический анализ языка: Знание и мнение. М., 1988.
- Мельчук, Жолковский 1984 — Мельчук И. А., Жолковский А. К. (ред.). Толково-комбинаторный словарь русского языка. Wien, 1984.
- Падучева 1974 — Падучева Е. В. О семантике синтаксиса: (Материалы к трансформационной грамматике русского языка). М., 1974.
- Падучева 1980 — Падучева Е. В. Об атрибутивном стяжении подчиненной предикации // Машинный перевод и прикладная лингвистика. М., 1980. Вып. 20.
- Падучева 1985 — Падучева Е. В. Высказывание и его соотношенность с действительностью: (Референциальные аспекты семантики местоимений). М., 1985.
- Падучева 1988 — Падучева Е. В. Выводима ли способность подчинять косвенный вопрос из семантики слова? // Логический анализ языка: Знание и мнение. М., 1988.
- Санников 1989 — Санников В. З. Русские сочинительные конструкции: Семантика. Прагматика. Синтаксис. М., 1989.
- Степанова 1993 — Степанова Е. Б. Значение русских общевопросительных предложений. Автореф. канд. дис. М., 1993.
- Томилова 1984 — Томилова Т. П. Структурно-семантическая природа и функционирование изъяснительных сложноподчиненных предложений с союзом-частицей «ли»: Автореф. канд. дис. Л., 1984.
- Томилова 1985 — Томилова Т. П. Лексико-синтаксическая координация в сложноподчиненных предложениях с союзом-частицей «ли» // Проблемы лексико-синтаксической координации. Л., 1985.
- Филипповская 1986 — Филипповская И. А. Частица *не* как средство образования изъяснительного союза // Словообразовательные единицы — их семантика и взаимодействие. Душанбе, 1986.

- Шатуновский 1988 — Шатуновский И. Б. Эпистемические глаголы: коммуникативная перспектива, презумпции, прагматика // Логический анализ языка: Знание и мнение. М., 1988.
- Шатуновский 1990 — Шатуновский И. Б. Аномалии и отрицание: (К проблеме «перенесения отрицания») // Логический анализ языка: Противоречивость и аномальность текста. М., 1990.

ТИПЫ ФАТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ

За последнее время появилось немало фундаментальных исследований в области функциональной грамматики, отражающей язык в действии, в реальном речевом воплощении [Бондарко 1983; 1984; ТФГ 1987, 1990, 1991, 1992 и др.]. В этих исследованиях показана функциональная соотносительность различных грамматических средств выражения одного и того же значения, детальнейшим образом описано соотношение той или иной грамматической категории (вида, времени, лица и т. п.) с контекстом, в развернутом виде представлен семантический потенциал каждой из рассматриваемых грамматических форм.

Одним из возможных направлений дальнейшего развития функционально-грамматических исследований представляется описание самой *логики речевой коммуникации*, коммуникативных стратегий и тактик говорящего, реализуемых в дискурсе и его составляющих. Изучая грамматические закономерности речи, функциональная грамматика не может не учитывать того обстоятельства, что говорящий вступает в речевое общение лишь при наличии вполне определенных коммуникативных интенций и опирается при этом на весь набор прагматических, социокультурных, психологических и иных факторов, определяющих характер речевого акта и дискурса в целом. Речевой акт в обычных условиях не инициируется желанием говорящего во что бы то ни стало изложить информацию о структуре денотативной ситуации (т. е. о соотношении ее предикатных, актантных и сирконстантных компонентов) и о комбинациях таких ситуаций в рамках макроситуации вне, например, фактора адресата. Следовательно, функциональная грамматика, стремящаяся показать язык в действии, в коммуникации, не может сводиться к описанию средств

выражения по преимуществу диктальных значений, отображающих внеязыковую реальность.

Исходя из всего сказанного, можно предположить, что было бы целесообразно разрабатывать функциональную грамматику собственно коммуникативного типа. Между прочим, подобные функциональные описания даже чисто композиционно должны строиться иначе по сравнению с существующими исследованиями в области функциональной грамматики: отражая логику речевой коммуникации, они должны открываться развернутым разделом, посвященным всестороннему описанию самой среды общения, представленной в виде системы коммуникативных ситуаций различного вида.

Данная статья содержит некоторые материалы к подобному вводному разделу грамматики активного, по Л. В. Щербе, типа.

Цель статьи заключается в описании системы фатических (контактоустанавливающих) средств русского языка, называемых в дальнейшем **фатическими операторами** — по аналогии с «метатекстовыми операторами» (термин, используемый А. Вежбицкой для обозначения средств авторской аранжировки связного текста, см. [Вежбицка 1978: 417]). В фатических операторах получает реализацию особая фатическая функция языка, требующая ввиду своей малоизученности некоторых комментариев.

Известно, что язык является специализированной формой коммуникации, т. е. передачи информации от человека к человеку. Однако успех коммуникации возможен лишь при достижении **контакта** между говорящим и слушающим, ср. выражения типа «глас вопиющего в пустыне», говорить «в пустоту» и т. п., описывающие ситуацию провала коммуникативных намерений говорящего из-за отсутствия должного контакта с адресатом. Под **контактом** обычно понимается «физический канал и психологическая связь между адресантом и адресатом, обуславливающая возможность установить и поддержать коммуникацию» [Якобсон 1975: 198]. Нет ничего удивительного в том, что в любом языке

оформляется особый механизм контактоустанавливающих средств. «Существуют сообщения, — писал Р. О. Якобсон, — основное назначение которых — установить, продолжить или прервать коммуникацию, проверить, работает ли канал связи («Алло, вы меня слышите?»), привлечь внимание собеседника или убедиться, что он слушает внимательно («Ты слушаешь?») или, говоря словами Шекспира, «Предоставь мне свои уши!», а на другом конце провода: «Да-да!» [Якобсон 1975: 201].

При изучении фатических операторов («сообщений») необходимо учитывать, что они чаще всего не функционируют изолированно, приобретают определенную фатическую функцию лишь в составе функционального единства с другими операторами (Алло! — Да-да!; Простите... — Слушаю вас; Петров. — Очень приятно. Сидоров и т. п.). Условимся, что подобное единство фатических реплик, принадлежащих разным коммуникантам, отражает определенную фатическую ситуацию (ср. ситуации начала контакта, его поддержания и пр.). Один и тот же фатический оператор может фигурировать при формировании разных фатических ситуаций (ср.: Алло! как ответная реплика адресата при установлении контакта по телефону и как средство проверки адресантом канала связи Алло! (Вы меня слышите? — Да-да!), Петров как обращение к адресату и как форма представления адресанта при знакомстве и т. п.). Следовательно, для коммуникативно ориентированного описания, построенного на ономаσιологических основаниях, важны не перечни фатических операторов, а установление типологии фатических ситуаций, в которых эти операторы функционируют.

Прежде чем перейти к построению такой типологии, введем следующее ограничение рассматриваемого материала. Наряду с собственно языковыми (вербальными) фатическими средствами, человеком используются и паралингвистические фатические средства — мимика, жесты и пр. С другой стороны, могут иметь место фатические проявления некоммуникативного типа — «говорение ради говорения», ср. речевые отправления лиц с опреде-

ленными расстройствами психики. В последующем изложении будут анализироваться лишь вербальные фатические операторы как предпосылка осуществления языком его основной, коммуникативной функции.

Общая характеристика коммуникативной фатической ситуации.

Необходимыми условиями любой фатической ситуации являются: а) наличие двух участников — активного (адресанта, говорящего — в дальнейшем: А) и пассивного (адресата, слушающего — в дальнейшем: Б); б) наличие у А коммуникативной интенции вступить в речевой контакт с Б (существование «встречной» аналогичной интенции у Б, как будет показано ниже, факкультативно).

Фатические ситуации качественно неоднородны. Характер ситуации предопределен а) коммуникативным и социальным статусом участников речевого акта, б) каналом связи, в) общими условиями протекания коммуникации и в) фазой (стадией) речевого акта. Каждый из отмеченных признаков может послужить основанием для классификации фатических ситуаций: очевидно, что при индивидуальном общении контакты устанавливаются и поддерживаются иначе, чем в условиях массовой коммуникации, по телефону — не так, как при визуальном общении, между военнослужащими при исполнении ими уставных обязанностей — не так, как при коммуникации гражданских лиц или военных в обычной, неформальной обстановке и т. д., и т. п. В идеале каждая фатическая ситуация должна быть охарактеризована со всех указанных точек зрения.

За основу классификации фатических ситуаций нами выбирается один из названных признаков — отношение к фазам речевого акта (начало коммуникации — ее осуществление — завершение). С этой точки зрения фатические ситуации могут быть трех типов: (I) ситуации установления речевого контакта; (II) си-

туации поддержания речевого контакта; (III) ситуации прекращения речевого контакта.

I. Фатические ситуации установления речевого контакта

Возможны такие случаи: 1) А и Б устанавливают контакт; 2) А и Б откладывают контакт на время; 3) А и Б не вступают в контакт. Рассмотрим каждый из этих случаев.

I. 1. А и Б устанавливают речевой контакт

Этот вид фатических ситуаций чаще всего бывает представлен в своей основной разновидности, смысл которой может быть передан в условной семантической записи следующим образом: 'А сигнализирует Б, что он хочет вступить с ним в контакт, — Б отвечает согласием'. Ср.:

А (к знакомому адресату): *Иван Семенович! / Мама! / Мам! / Валь — а Валь! / Рыбуля!* и т. п. — Б: *Да! / Слушаю вас / Слушаю / К вашим услугам / Что тебе?* и т. п.

А (к незнакомому адресату, нейтрально): *Простите... / Извините... / Можно вас на минутку / Можно у вас спросить / Молодой человек! / Девушка* и т. п. — Б: *Да / Что? / Слушаю / Я вас слушаю* и т. п.; ср. то же в просторечном общении: А: *Эй! / Друг! / Парень! / Хозяин! / Женищина! / Эй, шляпа! / Эй, в шляпе! / Эй, борода! / Эй, очки!* и т. п. — Б: *Ну? / Чего тебе?* и пр.

Влияние канала связи на способ языковой презентации той же фатической ситуации можно показать на примере общения по телефону:

А (набирает номер абонента; обращение к адресату автоматизировано и реализуется в звонках телефонного аппарата абонента). — Б: *Алло / Я вас слушаю! / Слушаю* и т. п.

Ср. также примеры, показывающие влияние таких факторов, как общие условия установления контакта и коммуникатив-

но-социальный статус адресата и адресанта: коммуникативная ситуация установления делового знакомства: А (подходит к Б и представляется): *Нечаев / Начальник лаборатории Фомин Георгий Спиридонович / Позвольте представиться: Нестеренко из Киева и т. п.* — Б: *Очень приятно, Щукин / Китаев и пр.*

В условиях коммуникации с индивидуальным адресатом Б-операторы обязательны так же, как и А-операторы. В тех случаях, когда имеется множество адресатов (*Взвод! Слушай мою команду!*), включая сюда и массовую коммуникацию (*Товарищи! / Говорит Москва!* и т. п.), то Б-реплики исключены, фатическая ситуация формируется А-операторами и имплицитным Б-оператором (если Б включает телевизор, значит, он уже вступает в контакт такого рода).

Многие из контактоустанавливающих операторов традиционно рассматриваются в пособиях по речевому этикету [см., в частности, *Формановская 1989*]. Оказационально могут использоваться и иные виды соответствующих фатических операторов. Так, в рассказе Б. Васильева «Пятница» (исключительно интересном в плане отражения в нем разнообразных фатических ситуаций) разговор главного героя Кости и его друга — самодеятельного поэта Сени начинается следующим образом:

«...[Костя] проснулся в тот день ни свет ни заря. Повздыхал, повертелся, хотел было запихать голову под подушку, но тут в комнату вошел Сеня Филин-Киноварь и сообщил:

— Заря над миром мировая, о чем не думал никогда я! ...

— Который час? — с тоской спросил Костя.

— Четыре. — Сеня явно был в ударе. — Рассвет пылает над Кремлем...»

Очевидно, что употребление сочиненных Сеней строк в приведенном контексте имеет вполне определенное фатическое значение, которое можно было бы передать примерно такими словами: «У меня хорошее настроение, почему бы нам не поговорить о чем-нибудь...»

Иногда ситуация установления контакта предстает в осложненном виде (т. е. можно говорить о деривационных отношениях в рамках способов выражения фатических ситуаций): 'А сигнализирует Б, что он хочет вступить с ним в речевой контакт, — Б уточняет, с ним ли хочет контактировать А, — А подтверждает свое намерение'. Ср.: А: *Молодой человек!* — Б: *Это вы мне?* — А: *Да, вам. Вы не скажете...;* А: *Простите, пожалуйста...* — Б: *Вы меня?* — А: *Да-да* и т. п.

1.2. А и Б откладывают речевой контакт на некоторое время

(А сигнализирует Б о желании вступить с ним в речевой контакт — Б откладывает контакт на время'). Ср.: А: *Простите, пожалуйста...* — Б: *Одну минуточку...* (завершает разговор с другим коммуникатном); А: *Юрий Николаевич!* — Б: *Сейчас, сейчас...* (доедает бутерброд) *Слушаю вас;* А: *Извините, пожалуйста, мне бы хотелось обговорить с Вами один вопрос...* — Б: *К сожалению, сейчас у меня лекция, а потом, если это Вас устроит, — я к Вашим услугам.*; А: *Можно вас спросить?..* — Б: *У нас обед до двух, не видите разве?* (показывает на табличку); А (набирает номер справочной железнодорожных вокзалов). — Б: *Ждите ответа... Ждите ответа...*

Когда Б откладывает речевой контакт, то желательно (этого требуют нормы общения), чтобы назывались сроки, когда контакт будет возможен. При непосредственном общении это требование воспитанными людьми выдерживается и Б ставит А в известность о времени контакта — через некоторое сравнительно короткое время (ср. Б-операторы: *Одну минуточку, Сейчас-сейчас, Подождите, пожалуйста* и т. п.), через более продолжительный промежуток времени (*Я смогу принять вас через час*), во время, предусмотренное определенным расписанием или графиком работы (*После обеда; по окончании рабочего дня; в среду, в приемные часы* и т. п.). Сознательное нарушение этого требования

свидетельствует о низкой общей и речевой культуре адресата (ср.: А: *Скажите, пожалуйста...* — Б: *Не видите, деньги считаю / Ухожу на базу, когда приду — не знаю и т. п.*)

Установление контактов через промежуточное звено — автоответчики типа «Ждите ответа», при всех своих достоинствах, имеет существенный недостаток: А не знает, когда он сможет получить ответ, т. е. лишен возможности располагать своим временем и не может быть до конца уверен, что информация, которую он намерен получить, сохранит в момент получения свою актуальность (в этом смысле Б-реплика *Ждите ответа* уравнивается с репликами типа *Не видите, деньги считаю*). Указанное обстоятельство неоднократно привлекало к себе внимание писателей-сатириков. Так, в эстрадном монологе А. Хайта «Автоматика» говорится о том, как в ситуацию «Ждите ответа» попадает человек, не владеющий «правилами игры» и вступающий в общение с автоответчиком: *Ждите ответа. — Хорошо, подожду. — Ждите ответа. — Я жду, жду. — Ждите ответа. — Слушай, такой маленький вопрос — может, сразу ответишь* и т. п. В итоге выясняется, что поезд, о котором спрашивал незадачливый абонент, ушел. В рассказе А. Арканова «Разная музыка из окна напротив, или Влияние сервиса на жизнь...» та же ситуация доведена до гротеска. Герой рассказа, двадцатидвухлетний Поленьев, мечтает поехать к морю, где его ждет любимая девушка. «Оставалось совсем немного — позвонить и узнать, когда уходит сегодняшний поезд в маленький городок у моря...» В ожидании ответа, под аккомпанемент сакраментальной фразы проходит вся жизнь персонажа, и ответ «Ваш поезд уже ушел» звучит символически. Заканчивается рассказ так:

«„Не беда — полетим самолетом!“ — пропел Поленьев на мелодию Моцарта и несколько раз прокрутил телефонный диск. Ему тут же ответили нечеловечески спокойно: — ...Не вешайте трубку... Вам обязательно ответит оператор... — Не вешайте трубку... Вам обязательно ответит оператор... — Не вешайте трубку... Вам обязательно ответит оператор...

Из окна напротив грянул марш „Прощание славянки“...»

Проблема «фатического дискомфорта», с которой сталкивается человек, пытающийся связаться с источником информации через промежуточное звено, очевидно, не случайно так остро ставится писателями-сатириками; На современном этапе развития техники эта проблема вполне разрешима — ЭВМ могла бы сообщать абоненту примерное время контакта с учетом количества дежурных операторов на линии и их реальной загруженности в данный момент.

1.3. А и Б не вступают в контакт

Этот вид фатических ситуаций представлен целым рядом разновидностей, т. е. неизмеримо разнообразнее по сравнению с двумя рассмотренными ранее видами ситуаций установления контакта¹. Возможны следующие случаи (по понятным причинам не останавливаемся на ситуациях, когда контакт не устанавливается при отсутствии соответствующих интенций у А, см. выше; инициатор невступления в контакт — всегда Б):

а) 'А сигнализирует Б о своем желании вступить с ним в речевой контакт — Б не может вступить в контакт по объективным причинам'. К числу таких причин объективного порядка может относиться незнание кода (ср. Б-операторы типа: *Извините, я не говорю по-русски*), неуместность контактов в определенных жизненных ситуациях (например, Б — часовой на посту или экзаменатор в аудитории), невозможность воспользоваться каналом связи (Б потерял голос или слух) и т. п.

¹Л. Н. Толстой писал в «Анне Карениной»: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему» (часть I, 1); так и с удачным и неудачным началом речевого контакта (действует универсальная закономерность, согласно которой минуса явления стремятся к большему качественному разнообразию, нежели явления со знаком «плюс»).

б) 'А сигнализирует Б о желании вступить с ним в речевой контакт — Б не хочет вступать в контакт'. Отказ от контакта может свидетельствовать о различных мотивах, которыми руководствуется Б.

Так, в миниатюре М. Жванецкого «О городах» отказ от контактов обусловлен занятостью и отсутствием должной внимательности у жителей столицы (приехавший в Москву житель Котовска находится в искреннем недоумении, не будучи в силах установить контакта со стремительно бегущими мимо него прохожими: «Граждане! Москвичики! Православные!.. Рупь дам тому, кто остановится...»).

Герой рассказа В. Шукшина «Привет Сивому!», кандидат наук Михаил Александрович («Мишель», как его окрестила новая знакомая), сталкивается с иными мотивами отказа от вступления в коммуникацию: «Не разговариваю, потому что не уважаю»:

«И как-то Мишель пришел опять к ней вечером. Пришел... и оторопел: на диване, где он вчера еще вольно полулежал, весьма тоже вольно полулежал здоровый бугай в немыслимой рубашке, сытый, даже какой-то светлый от сытости.

— Здравствуйте, — сказал Мишель. <...> Бугай в цветастой рубашке сел на диване и несколько насмешливо, несколько снисходительно смотрел на длинного опрятного кандидата. <...> Кандидат чувствовал себя скверно...»

Ср. также описание встречи через много десятилетий одного из героев последней повести В. Катаева «Сухой лиман» со своим бывшим родственником: « — Представь себе, Саша, — сказал Михаил Александрович с тяжелой одышкой, — совсем недавно я встретил этого типа — и где же, ты думаешь? На бульваре возле „Отрады“. Каким образом уцелел и как очутился он в Одессе — непонятно. Он шел хромя, старый, седой, опустившийся, одетый в какое-то старье. Но я его узнал, остановил и сказал: „Здравствуйте, фон Воюцкий“. Он посмотрел на меня и тоже узнал. У него на продавленном носу сидело все то же пенсне со стеклами без

ободков. Одно стекло было с трещиной. Он сердито, но испуганно посмотрел на меня и сказал ворчливо: „Не фон, не фон, а просто Воюцкий. Никакого фона больше нет“. И с этими словами он повернулся ко мне потертой спиной и заковылял дальше, опираясь на палку с резиновым наконечником» (мотив отказа: «нам не о чем с вами говорить»).

в) 'А сигнализирует Б о желании вступить с ним в контакт — Б саботирует контакт'. Коммуникативная неудача А связана с различными независящими от него причинами. Часто этой причиной является стремление Б, поддерживая видимость речевой коммуникации, воспрепятствовать ее нормальному протеканию и в конечном счете свести на нет коммуникативную активность адресанта. Так, в миниатюре М. Жванецкого «Что случилось?» (хорошо известной в исполнении Р. Карцева и В. Ильченко) подчиненный, на участке которого упал кран, успешно выходит из положения, не вступая в речевой контакт с начальником, тщетно пытающимся выяснить, где спрашиваемый был во время происшествия. «Вы здесь? Хорошо... Послушайте, Кольцов, вы, конечно, были на работе, да? — Да? — А? — А? — Что? — Что? — Я вас спрашиваю... — Что вы спрашиваете? — Я говорю, вы, конечно, были на работе, да? — Да? — А? — А? — Что? — Что?» и т. п., пока начальник не теряется окончательно и не забывает, с какой целью он вступал в контакт с подчиненным. В другой миниатюре Жванецкого («О городах») старый житель Одессы саботирует коммуникацию, отвечая вопросом на вопрос и засыпая адресанта множеством встречных, уводящих в сторону вопросов.

Наконец, необходимо выделить, очевидно, еще одну разновидность ситуации I.3. — (г): 'А и Б хотят вступить в речевой контакт друг с другом, но не могут этого сделать по субъективным причинам'. Здесь встает та проблема «притяжения и отталкивания между вступающими в контакт людьми», о которой писал Р. Якобсон [1985: 397]. Ср.:

«...В нем не было ни Сенечкиной бестолковой настойчивости, ни Фединой тяжеловесной самоуверенности, и потому Костя молчал, когда встречался с Капой. А встречался он с нею часто, потому что Сеня вскорости влюбился в Капочкину подружку, и на первых порах они ходили вчетвером. Но на этих встречах Капочка болтала со всеми, кроме Кости, и выходили одни страдания» (Б. Васильев. Пятница).

II. Фатические ситуации поддержания речевого контакта

Среди ситуаций такого типа могут быть противопоставлены: (1) ситуации заполнения «коммуникативных пауз»; (2) ситуации оптимизации коммуникативного процесса; (3) ситуации проверки канала связи.

II. 1. Ситуации заполнения коммуникативных пауз

Это собственно фатическое общение, хрестоматийным примером которого являются «дежурные» беседы о погоде.

Умение поддерживать фатическую беседу (когда говорить, с коммуникативной точки зрения, «не о чем», а молчать неудобно) требует определенного уровня речевой культуры и достигается нередко специальными упражнениями. Вспомним, что доктор Хиггинс, готовя Элизу Дулитл к встрече с аристократическим обществом, совершенствует ее произношение на упражнениях, лексическую основу которых составляют сообщения о «дождях в Испании» (как оказалось, простого повторения этих упражнений при первой встрече с представителями лондонского «высшего общества» оказалось достаточно для поддержания разговора). А вот более современный пример — сцена моральной подготовки парня к решительному разговору с любимой девушкой (Б. Васильев. Пятница):

« — Главное — инициатива, — поучал Федор в перерывах между песнями. — Сперва про звезды наворачивай, про мироздание. Большую Медведицу знаешь?

— Так ведь день, — сказал Костя. — Какая тебе медведица.

— Ну, насчет стран света. Знаешь, с какой стороны муравейник строить полагается?

— Да что она, муравыха, что ли? — рассердился вдруг Сеня. — Спрячь ты свою эрудицию, пожалуйста! Девушке что нужно? Чувства ей нужны. Чувства, Костя, понял? Ты вздыхай больше. Вздыхай, цветы нюхай. А если спросит, почему грустный, отвечай „Так...“»

Урок фатической компетенции не дал нужных результатов, Костя так и не научился выходить из ситуаций рассматриваемого типа. Зато его избранница Капа, библиотекарь по профессии, оказывается на высоте:

«Косте хотелось крикнуть: „Не уходите!“ — но Сеня с такой готовностью поспешил за Катей, <...> что Костя промолчал. И молчал долго.

— В июне будут грозы, — говорила Капа на ходу. — Вообще самый грозовой месяц — июль, но в этом году всё будет раньше, я читала в „Огоньке“. <...> Капочка толковала про осадки, розу ветров и влияние Гольфстрима на климат Подмосковья, а Костя слушал, как глухо стучит его сердце, и боялся, что Капочка услышит этот стук. Но она говорила и говорила, и Костя не догадывался, что она тоже боится.»

Ситуация типа П.1. чревата затруднениями не только на продуктивном, но и на рецептивном уровне. Так, Фазиль Искандер вспоминал, что его, приехавшего в столицу поступать в университет, чрезвычайно поразило, как любят москвичи говорить о погоде (что, естественно, немотивированно с информационной точки зрения).

Еще один пример, достаточно распространенный, чисто фатического общения — вопросно-ответные единства типа А: *Ну как дела / как живешь / как у тебя* и т. п. — Б: *Спасибо / Нормаль-*

но, спасибо и т. п. (восприятие фатической А-реплики в буквальном смысле и попытка дать исчерпывающий ответ о том, как у адресата обстоят дела на самом деле, производят анекдотическое впечатление и также неоднократно обыгрывались в литературе).

Десемантизация (в диктальном плане) фатических высказываний иногда может приводить к тому, что целые диалоги, призванные заполнить коммуникативную паузу, состоят из слов, не имеющих (вообще или же в данном употреблении) денотативной семантики. Ср. поразительный пример такого диалога из произведения Дороти Паркер, приведенный в одной из работ Р. Якобсона [1975: 201]: « — Ладно! — сказал юноша. — Ладно! — сказала она. — Ладно, стало быть, так, — сказал он. — Стало быть, так, — сказала она, — почему же нет? — Я думаю, стало быть, так, — сказал он, — то-то! Так, стало быть. — Ладно, — сказала она. — Ладно, — сказал он, — ладно». Нужно сказать, что реально такие диалоги встречаются нечасто — обычно же десемантизуются высказывания, исконно обладающие полноценной семантикой. При этом их десемантизация далеко не всегда так же безобидна, как приобретение фатической функции рассказами о погоде. Так, М. Жванецкий в миниатюре «Слова, слова» отмечает тенденцию к десемантизации деловых разговоров эпохи «застоя»: два специалиста начинают беседу с нейтральных сюжетов фатического типа — «*Вы надолго к нам?*» и т. п. и затем переходят к заполнению коммуникативной паузы профессиональными разговорами, в ходе которых условливаются о совместных разработках, обсуждают подготовительные моменты и т. п. — заведомо зная, что ничего не будет сделано, потому что ничего никому не нужно.

Существуют примеры чисто фатических проявлений и в условиях массовой коммуникации (ср. жанр выступлений в научной печати, преследующих лишь одну цель — показать, что автор соответствует своему социальному статусу; отсутствие реакции убеждает его в том, что публикации выполнили свою фатическую функцию). В условиях коммуникации с множественным

адресатом скорее всего чисто фатическую функцию имели проводимые в трудовых коллективах «мероприятия» «для галочки». Не случайно говорили, что такие мероприятия проводились «формально» — соблюдалась лишь форма общения, позволяющая в какой-то мере компенсировать возникшую потребность в подобном общении.

Заканчивая рассмотрение ситуаций типа II.1., заметим, что фатический контакт может быть расторгнут одним из коммуникантов уже на данной фазе, т. е. не дожидаясь фатической ситуации завершения контакта; для этого должны быть достаточно серьезные основания, ср.:

«Кандидат катастрофически пьянел <...>

— Мишель, не надо хамить, — нормально — не лениво — сказала Кэт.

— А кто хамит? — удивился Мишель. — Мы просто беседуем. Скажите, пожалуйста, много было народу?

Серж молчал» (В. Шукшин. Привет Сивому!).

II.2. Оптимизация речевого контакта

В отличие от чисто фатического общения, ситуации рассматриваемого типа органично включаются в процесс передачи информативного содержания; соответствующие фатические операторы могут буквально насыщать текст, никак не отражаясь на его информационном плане, а служа средством, призванным гарантировать успешное протекание коммуникативного процесса.

Средства оптимизации контакта различны, причем достаточно четко противопоставлены, как и в ранее рассмотренных случаях, А- и Б-операторы. Особенность же ситуаций рассматриваемого типа заключается в том, что они могут создаваться не сцеплениями реплик адресата и адресанта, а изолированным употреблением реплик того или иного коммуниканта. Поэтому целесообразно рассмотреть А- и Б-операторы отдельно.

Виды А-операторов оптимизации речевого контакта.

а) **Фатические обращения.** У обращений такого рода адресативное (апеллятивное) значение нейтрализовано условиями коммуникации, а именно фазой коммуникативного акта (в середине речевого акта уточнение адресата бессмысленно) и самим фактом единственности адресата (в таких случаях повторяющееся обращение никак не может иметь функции идентификации получателя сообщения². Приведем несколько примеров чисто фатических обращений.

« — Я, Саша, не пьян. „Я страшно болен — снами“ ... „Послушай, где, когда я прежде жил?“ Эти стихи такие, Саша, не смущайся <...> А знаешь, Саша, какая у меня была кличка в юности? <...> Ты будешь смеяться, Саш! Постой! <...> Меня звали Герцогом! Слышишь, я Герцог!» (Г. Семенов. Торопит коня человек).

« — Коль, едем? — спрашивала время от времени невеста жениха. — Едем, Том, — отвечал жених... » (Лит. газета, 1985, № 48).

« — Что, Жень, топит вас? (говорится о наводнении. — Е.К.) — вместо приветствия осведомился Федин воспитатель. Скупым кивком я дал понять, что дело наше плохо <...> — Дуй к своим, а то неровен час... — Пока терпимо, дядь Кеш. — Если что, перевозки семейство ко мне. — Да у вас у самих тесновато, дядь Кеш. — Разместимся, студент, не бойсь, только с тебя потом детективная книжка причтется. — Какой разговор, дядь Кеш!» (Г. Машкин. Половодье).

Используя фатические обращения (ср. многочисленные примеры такого типа в драмах Островского — обращения типа

² В этом плане фатические обращения принципиально противопоставлены апеллятивным, ср. пример последних: «Кончай, Марин. Надо пообедать. А то вон мужики уже мясо подожгли. А ты чего, Сашк, — кричит она подполковнику, — мясо-то поджег?» (Г. Семенов. Торопит коня человек).

сударь, маменька и пр.), адресант добивается максимального контакта с адресатом, полного привлечения его внимания и, в определенной мере, его симпатий, что немаловажно для передачи информации — достигается эффект бесперебойной, идеальной работы канала связи.

б) Вводно-модальные слова фатической семантики. Эти операторы заключают в себе, по определению В. В. Виноградова, «призыв к собеседнику, стремление возбудить его внимание к чему-нибудь...» [Виноградов 1972: 580], ср. *видишь ли (видите ли), знаешь ли (знаете ли), веришь ли, ты понимаешь* и т. п. См. в «Капитанской дочке» А. С. Пушкина: «Он, веришь ли, так взглянул на меня, как бы ножом насквозь» (ср. многочисленные примеры с модальными операторами такого типа в кн. [Зубрилина, Мейеров 1985]).

Виды Б-операторов оптимизации речевого контакта.

а) Реплики, призванные выразить внимание адресата к получаемой информации, его заинтересованность в коммуникации: *Ну да!; Что вы говорите?; Да-да...; Вот так-так* и т. п. (говорят, что в таких ситуациях слушающий «поддакивает» говорящему).

б) Реплики оценочной семантики, которые также утрачивают свое основное значение и становятся средством «эмоционального поддакивания»: *Вот это да!; Шикарно!; Колоссально!; Кайф!* и пр. Подобными репликами всегда был насыщен молодежный жаргон (вспомним лексикон Элочки из романа И. Ильфа и Е. Петрова). Вот пример из современной прозы:

«...Я знаю много слов, потому что много читаю. Это у меня от папы. Но знать много слов совершенно не обязательно. Мальчишки в нашем классе вполне обходятся шестью словами: точняк, нормалёк, спокуха, не кисло, резко, структура момента. А Ленка Коновалова любую беседу поддерживает двумя предложениями: „Ну да, в общем-то...“ и „Ну, в общем-то, конечно...“ И этого оказывается вполне достаточно: во-первых, она дает возможность говорить собеседнику, а это всегда приятно; во-вто-

рых, поддерживает его сомнения. „Ну да, в общем-то...“, „Ну, в общем-то, конечно“ (В. Токарева. Самый счастливый день).

Фрагмент для рассматриваемой проблематики весьма интересный и показательный в том плане, что здесь сталкиваются два типа фатического Б-общения и два вида фатических Б-операторов. Операторы типа «Ну да, в общем-то...» — это операторы рассмотренного ранее типа (а) (чистое «поддакивание»), с особым флёрком рефлексизирующего соучастия: поддакивание интеллигента-«лирика». Операторы *точно́к, нормалёк, не кисло, резко* относятся к типу (б) — энергичное эмоционально-оценочное поддакивание, стимулирующее адресанта к продолжению коммуникации.

II.3. Ситуации проверки речевого контакта

Типичные случаи фатических ситуаций такого рода — проверка слышимости (а отчасти — и внимания адресата) в телефонных разговорах: А: *Алло, ты меня слышишь? / слушаешь?* — Б: *Да-да*. Ср. также при визуальном общении: А: *Вы следите за моей мыслью?* — Б: *Да-да, конечно* и т. п.

В том случае, когда в надежности канала связи и внимании адресата сомневаться не приходится, операторы типа *Слышишь?* утрачивают функцию проверки контакта и переходят в разряд операторов типа II.2 (служат для оптимизации контакта). Ср. в ситуации разговора двух влюбленных наедине:

- Я люблю тебя, слышишь? Я люблю тебя!..
- Говори. Говори, что ты любишь меня. Говори.
- Я люблю тебя. <...> ...Мы все Робинзоны, и все ждем свою Пятницу. <...>
- Я твоя Пятница. Твоя Пятница, слышишь? Обними меня крепко, крепко!.. <...>
- Я люблю тебя, слышишь? Я просто люблю тебя!
- Какой сегодня удивительный день!..» (Б. Васильев. Пятница).

III. Ситуации прекращения речевого контакта

В нормальном случае коммуниканты завершают речевой контакт по достижении своих коммуникативных целей. Готовность партнеров к прекращению контакта проверяется А-операторами типа *Ну что же... / Вот как будто и всё... / Давайте будем заканчивать... / Ну, я пошел, надо еще с Сидоровым поговорить... / Ну что же, всё это было очень интересно...* и т. п. Если не последует Б-реплик, имеющих целью отсрочку прекращения контакта (*А вот еще, кстати... / Нет, погоди...* и пр.), то контакт завершается обменом ритуальных реплик типа *До свидания / Пока / Всего доброго / Всего* и пр. Не мотивированное коммуникативно или не учитывающее актуальной ситуации речи настаивание на продолжении контакта после того, как один из коммуникантов сигнализировал о своем намерении выйти из контакта, не приветствуется, что нашло отражение в выражениях-оценках типа *Вот прилипуха!; Ну и навязался со своими разговорами!; Никак от него не отвязеешься* и т. п. Иными словами, оптимальные ситуации прекращения контакта являются ни преждевременными, ни искусственно отодвигаемыми, а закономерно вытекающими из всего хода коммуникации.

Уже приведенных немногочисленных примеров достаточно для вывода о том, что ситуации рассматриваемого типа, как и ситуации установления речевого контакта (тип I), могут быть разделены на три группы: III.1 — А и Б прекращают контакт; III.2 — А и Б откладывают прекращение контакта на время; III.3 — А и Б не прекращают речевой контакт (хотя по логике коммуникации он уже может быть прекращен). Остается лишь заметить, что (и это тоже можно было заметить из приведенных примеров) конкретная речевая реализация того или иного вида фатических операторов зависит от множества факторов, одним из которых является социальная роль коммуниканта. Например, начальник может сказать подчиненному, завершая с ним беседу:

У меня к вам всё, или Вы свободны — тогда как в устах подчиненного эти реплики вряд ли нормативны.

Завершая краткий обзор коммуникативных ситуаций фатического типа, подведем некоторые итоги.

Представленная типология фатических ситуаций с коммуникативной точки зрения универсальна, но в каждом языке набор операторов, адекватных определенной ситуации, индивидуален, и прямой «перевод» с языка на язык не всегда возможен, ср. типичные ошибки иностранцев, изучающих русский язык и испытывающих интерференцию родного языка: *Пожалуйста, как мне попасть в университет* — вместо: *Простите...*; в телефонном разговоре — Б снимает трубку и вместо *Алло! / Да / Слушаю* и пр. говорит: *Здесь (есть) Отто Шнайдер*. Перечень подобных отступлений от фатических норм можно легко продолжить.

Выше было показано, что различные по своей структурной организации единицы — вкрапления в высказывания, самостоятельные высказывания ритуального (этикетного) и свободного типов, а иногда даже целые связанные тексты могут функционально уравниваться, играть роль фатического оператора, назначение которого — содействовать речевому контакту в той или иной его стадии.

И последнее замечание. От речевого контакта двух коммуникантов, имеющего вполне определенные координаты на осях 'где' и 'когда' (а именно: 'здесь', 'сейчас'), следует вполне определенно отграничивать форму длительного взаимодействия тех же коммуникантов, которую обычно называют контактами; ср.: *Их дружеские контакты продолжались всю жизнь; А вступил с Б в контакты с целью получить у него ряд консультаций* и т. п. Хотя контакты в указанном смысле не могут не опираться на множество конкретных речевых (разовых) контактов, т. е. коммуникативных актов, отождествлять контакт и контакты с фатической точки зрения (как и с любой другой) нецелесообразно: у двух видов

контактов своя логика развития, своя система контактоустанавливающих средств.

Так, когда героиня повести Г. Семенова «Жасмин в тени забора» обращается к группе работников органов внутренних дел: «Здравствуйте, юноши!», то в плане контакта ее реплика характеризует ситуацию I.1 (установление контакта), а с точки зрения контактов та же реплика имеет функцию оператора типа II (поддержание контактов, причем на вполне определенном, достигнутом коммуникантами уровне; заметим попутно, что и эффект с позиций контакта и контактов был достигнут различный: контакт не состоялся, поскольку адресаты находились под впечатлением от гибели их товарища; что касается контактов, то на них произошедшее, естественно, никак не отразилось, оператор был воспринят адресатами правильно). Ср. аналогичный пример из «Сухого лимана» В. Катаева (оператор имеет контактоустанавливающее значение в плане контакта и является одновременно средством поддержания контактов на определенном уровне):

«Увидев подходившего двоюродного брата, он отложил книгу и, поправив на своем старом, сморщенном носу пенсне, улыбнулся. Двоюродные братья обнялись, похлопали друг друга по плечам и по спине.

— Явился не запылится, — сказал Михаил Михайлович с оттенком превосходства над младшим двоюродным, усвоенным еще с детства».

Бывают случаи, когда реплика имеет большое значение с точки зрения контактов, но не имеет фатического значения в плане контакта, ср.:

«После того, как Костя побывал под высоким напряжением, в нем пробудился интерес к физике, который и привел его в заводскую библиотеку. За столом в библиотеке худенькая девушка застенчиво подняла на Костю большие спокойные глаза.

„Кавказский пленник“ есть? — посторонним голосом спросил Костя.

— У нас техническая библиотека. А вам нужно...

Костя уже знал, что ему нужно: глядеть в эти глаза и слушать этот голос» (Б. Васильев. Пятница).

В приведенном отрывке вопрос о «Кавказском пленнике», собственно говоря, не имеет фатического значения для установления речевого контакта (автор попросту упускает, каким образом была разрешена ситуация типа I.1, поскольку герой вряд ли мог войти, не поздоровавшись). Но сам этот вопрос, не уместный в технической библиотеке (и поэтому фатически незначимый: основное свойство фатического общения — соответствие обстановке общения), вполне объясним с точки зрения контактов, что и доказывается автором цитированного рассказа в дальнейшем изложении.

Этот пример показывает, что у контакта и контактов своя система фатических средств, которые лишь частично накладываются друг на друга. Поэтому, когда мы читаем, что «зоне фатических высказываний» принадлежат «приглашение, поздравление, пожелание... благодарность, извинение, соболезнование...» [Галочкина 1985: 8], то необходимо отдавать себе отчет в том, что все эти средства принадлежат не контакту, а контактам, поддерживая их на должном уровне; что же касается конкретного речевого контакта, то, например, приглашение или поздравление может составить основное содержание данного коммуникативного акта, соответствующим образом обрамленное определенными фатическими операторами, но не являющееся само по себе фатическим оператором в узком смысле. Точно так же мысль О. Н. Седовой об отражении перепиской особых фатических функций языка [Седова 1985: 58] можно понимать лишь в том смысле, что в выражениях типа *Твое последнее письмо я получил, спасибо* или *Почему ты не пишешь?* отражена проверка адресантом контактов, но отнюдь не контакта.

Диалектика речевого контакта и языковых проявлений социальных контактов должна стать предметом специального анализа.

ЛИТЕРАТУРА

- Бондарко 1983 — Бондарко А. В. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. Л., 1983.
- Бондарко 1984 — Бондарко А. В. Функциональная грамматика. Л., 1984.
- Вежбицка 1987 — Вежбицка А. Метатекст в тексте // Новое в зарубежном лингвистике. Вып. VIII. Лингвистика текста. М., 1978.
- Виноградов 1972 — Виноградов В. В. Русский язык: (Грамматическое учение о слове). Изд. 2. М., 1972.
- Галочкина 1985 — Галочкина И. Е. Роль интонации в формировании прагматических типов высказывания (на материале английского языка): Автореф. канд. дис. М., 1985.
- Зубрилина, Мейеров 1985 — Зубрилина Л. Н., Мейеров В. Ф. Предложения с вводными и вставными компонентами. Иркутск, 1985.
- Седова О. Н. 1985 — Седова О. Н. Эпистолярный стиль в системе функциональных стилей русского языка // Научн. докл. высшей школы. Филол. науки. 1985. № 6.
- ТФГ 1987 — Теория функциональной грамматики: Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987.
- ТФГ 1990 — Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность. Л., 1990.
- ТФГ 1991 — Теория функциональной грамматики: Персональность. Залоговость. СПб., 1991.
- ТФГ 1992 — Теория функциональной грамматики: Субъектность. Объектность. Коммуникативная перспектива высказывания. Определенность / неопределенность. СПб., 1992.
- Формановская 1982 — Формановская Н. И. Употребление русского речевого этикета. М., 1982.
- Якобсон 1975 — Якобсон Р. О. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против». М., 1975.
- Якобсон 1985 — Якобсон Р. О. Избранные работы. М., 1985.

М. Г. Безяева

РУССКИЙ ДИАЛОГ СКВОЗЬ ПРИЗМУ СИСТЕМ ДРУГИХ ЯЗЫКОВ

Анализ соотношения универсального и типологически особенного в русском диалоге представляет собой существенный аспект в изучении специфики «чертежа» [Реформатский 1962] русского языка на фоне других иноязычных систем.

Основной единицей диалога, с нашей точки зрения, является коммуникативный тип высказывания, т. е. предложение с определенной целеустановкой и смысловым выделением слова внутри него (например, вопрос и его разновидности, требование, просьба, совет, предложение, угроза, предостережение, различного рода ответные реплики-реакции, оценочные предложения и т. д.). И лишь затем следуют коммуникативный блок и типовая речевая ситуация, так как от особенностей формирования коммуникативных типов высказываний и их функционирования зависят особенности строения двух последних единиц.

Таким образом, наше внимание будет сосредоточено на проблеме универсального и типологически особенного в области значений, относящихся ко всему предложению в целом, значениям коммуникативных типов предложений. Достаточно долгое время в лингвистических работах подчеркивалась универсальность синтаксических значений при расхождениях в средствах формирования, так как «категории синтаксиса в конечном счете отражают самые общие закономерности мышления» [Гак 1979; 175].

Соглашаясь с наличием универсального в области значений коммуникативных типов, мы хотели бы остановиться на наличии типологически особенного как в области значений, так и в средствах формирования, поскольку именно это позволит объяснить потери смысла, стилистических и этикетных характеристик при

восприятию коммуникативных типов, разновидностей внутри них, нарушение тактики речевого поведения в типовых речевых ситуациях. Работа строится на анализе вариативных рядов конструкций, объединенных общим коммуникативным заданием или целеустановкой. Каждая из конструкций характеризуется особенностями оттенков значений, различным соотношением средств разных уровней языка, существенных для формирования значений, определенной стилистической и жанровой принадлежностью, специфическими этикетными характеристиками.

В данной статье затрагиваются следующие вопросы: 1) сходство и расхождение в способах выражения коммуникативных заданий, 2) различная степень дифференциации значений коммуникативных типов предложений, 3) сходство и различие в границах коммуникативных типов в языках различных систем и 4) сочетаемость коммуникативных типов предложений. Отметим, что 3-й и 4-й пункты тесно связаны со сходствами и различиями в построении коммуникативных блоков и типовыми речевыми ситуациями.

Итак, рассмотрим первый вопрос — универсальные значения коммуникативных типов предложений и способы их выражения (эксплицитный, имплицитный, коммуникативное дублирование).

Остановимся на эксплицитном способе выражения коммуникативного задания. При всей универсальности логико-лингвистических определений заданий коммуникативных типов предложений каждый из языков может актуализировать в своих конструкциях ту или иную коммуникативную составляющую в ее эксплицитном выражении либо иметь тенденцию не выражать ее вовсе.

Обратимся, в качестве примера, к значению просьбы. С нашей точки зрения, универсальным ее определением могло бы послужить следующее: просьба — это выражение желания говорящего, чтобы слушающий совершил то или иное действие, которое он может, но не должен, не обязан совершать, что, в свою оче-

редь, зависит от его желания (при условии, что исполнитель и слушающий — одно и то же лицо).

Так, именование самого коммуникативного задания «просьба», оппозиция «может — должен» при определении значения просьбы или актуализация значения коммуникативной составляющей желания говорящего или желания слушающего отражается в языках в использовании конструкций с глаголами *просить, мочь, хотеть*. Однако их место в системах языков может быть очень различным. В ряде индоевропейских языков такие конструкции являются максимально употребительными и «открывают» вариативные ряды. Например¹, **Вы хотите открыть окно, пожалуйста* во французском, **Прошу открыть окно* как нейтральная вежливая просьба в литовском, **Вы можете (могли бы) открыть окно, пожалуйста* в испанском, английском и т. д.

В русском языке конструкции с лексически раскрытыми коммуникативными составляющими либо вообще невозможны, либо находятся на периферии вариативных рядов, тяготея к официально-деловой, научной сфере общения, высоким этикетным формулам: ср. *Прошу выслушать мои замечания, Не могли бы Вы ответить на мой вопрос.*

Оказываясь же в ситуации «бытовых жанров»², конструкции с лексически раскрытыми составляющими коммуникативного задания в русском языке могут приобретать дополнительные смысловые оттенки, либо полностью менять коммуникативное задание. Так, в высказывании: *Вы не хотите³ поставить чемодан на верхнюю полку?*, обращенном пожилой дамой к молодому человеку в вагоне, в русском языке передается не просто просьба, но и скрытое значение напоминания, упрека, близкое к значению «мог бы и сам догадаться».

¹ Для удобства восприятия приводятся кальки на русском языке.

² Термин, предложенный М.М. Бахтиным [1979] и используемый М.В. Пановым [1981].

Сравним просьбу-напоминание об обязанностях матери к сыну — *Ты не хочешь сходить в магазин?* или обращение преподавателя к студенту — *Вы не хотите мне сдать курсовую?*, где значение напоминания-упрека выступает на первый план. В романских языках, в частности, во французском, испанском, введение в формулу просьбы глагола *хотеть* не даст подобного смыслового эффекта и просьба будет рассматриваться как нейтральная. Американец же воспримет эту формулу как повышенно этикетную, поэтому недоумение вызовет использование данной конструкции в ситуации при обращении матери к сыну. Однако при анализе закономерностей формирования того или иного значения необходимо учитывать не только экспликацию той или иной коммуникативной составляющей, но и их взаимодействие с целым рядом факторов, в первую очередь, с частицами и наклонениями. Так, использование частицы *не* в конструкциях со значением просьбы в русском языке является нейтральным и наиболее употребительным. Ср. *Сходи в магазин? Ты не сходишь в магазин? Ты не можешь сходить в магазин?* В романских языках введение частицы *не* подчеркнет некоторую настойчивость просьбы, появление этой формулы частотно в ситуации конфликта. В корейском же языке эквивалент частицы *не* перед глаголом каузируемого действия полностью изменит коммуникативное задание, переведя его в требование, а введение в конструкцию с эквивалентом *не* аналога глагола *мочь* (ср. русское *Ты не можешь сходить в магазин?*) даст резкий, грубый приказ.

Языки отличаются и по отбору «мотивирующих» составляющих. Так, русский язык всячески избегает мотивированности коммуникативных типов предложения через экспликацию «семы» желаний говорящего и желаний слушающего. Напротив, это одна из любимых коммуникативных составляющих, эксплицируемая в романских языках. Так, например, она используется в конструкциях с коммуникативными заданиями просьбы, просьбы о разрешении, предложения, совета, приглашения, запреща-

ния, требования. Ср. ориентацию на желание слушающего в романских и русском языках.

- * *Вы хотите танцевать?* *Разрешите пригласить.* (приглашение).
- * *Вы хотите пойти обедать с нами?* *Пойдем с нами пообедаем.* (предложение).
- * *Вы хотите замолчать!* *Замолчите!* (требование).
- * *Вы хотите, чтобы я Вам помог?* *Давайте я Вам помогу.* (предложение).
- * *Вы хотите выйти за меня замуж?* *Выходите за меня замуж.* (предложение).

Ориентация на желание говорящего:

- * *Я хочу пройти.* *Разрешите пройти.*
- * *Я хочу представить моего брата.* *Разрешите представить моего брата.*
- * *Я хочу билет до Киева.* *Мне нужен билет до Киева.*

Однако лексическая экспликация того или иного коммуникативного задания далеко не всегда однозначно обеспечивает его выражение. Так, например, в конструкциях “*прошу* + инфинитив совершенного вида” просьба передается лишь при условии функционирования этих конструкций в высоких жанрах общения. Попадая же в условия бытовой речи, они передают в русском языке не просьбу, а резкое, раздраженное требование. Ср. *Прошу передать мне соль*, *Прошу принести второе*, а также *Прошу не перебивать*. Отсюда и типичность ошибок иностранцев (словаков, литовцев, поляков), употребляющих эти конструкции как нейтральные, следуя логике их родного языка: **Прошу передать билет*, **Прошу (просил бы) второй бутерброд* и т. д. Напротив, русская формула *Передайте, пожалуйста, билет*, например, для литовцев, излишне категорична, так как естественные носители целого ряда языков испытывают «болезненную» реакцию на русский императив. Данные нейтральные конструкции, по свидетельству ин-

формантов, могут восприниматься следующим образом: «нагрузили, а потом с помощью „пожалуйста“ пытаются исправить положение».

Отметим, что эксплицироваться могут не только глаголы, называющие коммуникативное задание или его составляющие. Например, в вопросительных предложениях проблема эксплицитности связана с раскрытием ряда противопоставлений. Так, в различных языках есть вопрос, выясняющий наличие — отсутствие действия, признака, состояния [Брызгунова 1977: 173; Брызгунова 1980: 401], связанный с альтернативным рядом, построенным по принципу взаимоисключающего противопоставления. Как известно, в русском языке он передается тремя основными конструкциями — *Ты был там?* (имплицитная выраженность противопоставления при нейтральном вопросе), *Ты был там / или не был?* (в русском языке осложняется оттенком настойчивости), *Ты был там, / не был?* (оттенок безразличия, не очень большой заинтересованности в получении «ответной» информации). Данные оттенки значения в конструкциях с эксплицитно раскрытым рядом противопоставления теряются в восприятии китайцев, корейцев, вьетнамцев, так как в этих языках экспликация, лексическое раскрытие ряда противопоставлений является нейтральным. Португалец же, восприняв оттенок значения в конструкциях с *или*, не сможет понять третьей русской конструкции, так как данное соотношение средств в его родном языке даст экспрессивное утверждение, близкое к русскому высказыванию *Но ведь ты же был там.*

Кроме различной фиксации коммуникативных составляющих в конструкциях того или другого языка при выражении коммуникативного задания в языках различных систем существуют и различные правила их сочетания. Так, значение просьбы сочетается со значением вежливости, которая может выражаться как эксплицитно, так и имплицитно. При эксплицитном способе выражения семы «вежливости» в разноструктурных языках существуют резкие различия в сочетаемости.

Например, в английском языке, лексические средства вежливости сочетаются со всеми конструкциями, выражающими просьбу, более того, в ряде случаев становясь основным формирующим средством этого значения. Вспомним известный пример *Please, it's cold in here* [Гордон, Лакофф 1985: 290]. В русском языке лексические средства вежливости соединяются только с волеизъявлением, представленным в форме императива. Русский язык налагает очень большие ограничения на функционирование лексических средств вежливости. Эксплицитные средства вежливости не сочетаются в русском языке с вопросом ни тогда, когда в высказывании передается собственно вопросительное значение (ср. вопросы **Который час, пожалуйста?*, **Где находится аптека, пожалуйста?*, возможные в ряде индоевропейских языков), ни тогда, когда в высказывании в «вопросительной форме» передается иное коммуникативное задание (невозможность конструкций типа **Ты не сходишь в магазин, пожалуйста?*). Для выражения вежливости в вопросе мы вынуждены эксплицитно волеизъявление в императивной форме — *Скажи³те, пожалуйста, / где находится аптека²?* Отметим, что данные ограничения особенно ясны при сопоставлении с неродственными языками, например, с корейским, в котором маркированность этикетных отношений по шести регистрам вежливости слушающего (наряду с регистрами вежливости субъекта и объекта) является обязательной в высказываниях с любым коммуникативным заданием.

Как видно из сказанного, типология эксплицитного способа выражения коммуникативного задания связана со сходствами и различиями в отборе «мотивирующих сем» и особенностями их сочетаемости в языках различных систем. Эти различия приводят к сложностям при восприятии диалогической речи представителями других иноязычных систем, накладывающих свою «прагматическую сетку» (по аналогии с фонологическим ситом) на систему конструкций вариативных рядов русского языка.

Обратимся к имплицитному способу выражения коммуникативного задания. Еще Якубинский отмечал, «что в известной

мере при всяком диалоге налицо эта возможность недосказывания, неполного высказывания, ненужность мобилизации всех тех слов, которые должны были бы быть мобилизованы для обнаружения того же мыслимого комплекса в условиях монологической речи». «Мы говорим лишь необходимыми намеками», — отмечал Поливанов [Якубинский 1986: 36, 46]. Простота и неполнота реплик диалогических единств является чертой универсальной. Однако степень имплицитности, лексической нераскрытости значений может быть различной. Здесь мы входим в область типологии «нуля».

Отмеченная в работах Е. А. Брызгуновой [1980; 1982; 1992] большая многозначность простейших синтаксических структур в русском языке (что связано с частотной немаркированностью коммуникативного задания на уровне синтаксической структуры) и активизация взаимодействия средств разных уровней языка (лексики, синтаксиса, интонации и смысловых связей предложений при формировании значений высказывания) приводит к одной из ярких типологических особенностей русского языка — имплицитности выражения целого ряда коммуникативных значений (крайним проявлением которой является структурный эллипсис) при тенденции к выражению этих значений лексико-синтаксическими средствами в других языках, т. е. использованию конструкций либо с полным лексическим раскрытием значений, либо семантического эллипсиса, который заключается в сохранении структурной полноты предложения при семантической опустошенности компонентов. Именно эта нелюбовь русского языка к эксплицитности выражения значений создает большие сложности в восприятии русской звучащей диалогической речи. Можно назвать целый ряд коммуникативных значений, имеющих тенденцию к имплицитному выражению, хотя практически такие структуры характерны для всех вариативных рядов конструкций коммуникативных типов предложений русского языка. Например, *Мне бы водички* (просьба), *Можно с Вами?* (просьба о разрешении), *Тебе бы домой*, *Вам бы выспаться* (совет), *Вот бы на коф-*

точку, *Вот бы на дачу* (выражение желания говорящего), *А другой на Ваше место сядет?* (опасение), *А тебе не на семинар?*, *А пообедать?* (напоминание) и т. п.

В русском языке частотна нераскрытость модальных значений невозможности, неспособности, нежелания, ненужности осуществления того или иного действия. Сравним русские и португальские примеры:

- | | |
|---|---|
| — <i>Не сердѝ меня, Поль!</i> | — <i>Pavel, seja gentil e não me envergonha mais no futuro.</i> |
| — <i>Где мне вас рассердѝть, тетушка.</i> | — <i>Como poderia envergonha-la, querida titia?</i>
(Как я мог бы рассердить вас, тетушка?). |
| — <i>Да вы не обманываете?</i> | — <i>O senhor não está me enganando?</i> |
| — <i>Теперь чего обманывать.</i> | — <i>Qual seria a vantagem de engana-la agora?</i>
(Какое было бы преимущество сейчас вас обманывать). |

Типична необязательность лексического раскрытия признака и показателя высокой степени проявления признака в ряде оценочных структур типа *Пирог подошел*, где опущен признак оценки (либо быстро, либо хорошо), что создает ряд сложностей, как, например, для болгар, так и для вьетнамцев, корейцев, для языков которых подобного рода соотношение средств нетипично. Здесь действует закономерность: чем проще синтаксическая структура, тем больше сложностей вызывает она у представителей других языков (что связано с русской многозначностью лексико-грамматических составов).

Так, большие сложности вызывают простейшие русские высказывания типа *А платье-то / у нее длинное*, требующее, например, во французском языке обязательности лексического раскры-

тия значения типа «чересчур», либо значения соответствия-несоответствия ожидаемому.

Отметим, что имплицитность, максимальная лексическая нераскрытость значений характерна не только для русских реплик-реакций, но и для реплик-стимулов. Рассмотрим в качестве примера выражение коммуникативного задания в конструкциях с местоименным словом *что*: *Что² ты?* — возможен вопрос о причине либо цели прихода адресата (ср. в репликах-реакциях — отказ, несогласие, удивление, недоверие).

Что² с тобой? (вопрос о состоянии адресата).

Что² тебе? (Что тебе от меня нужно?)

Что² у тебя? (Что ты хочешь мне сообщить?).

Сложность в восприятии этих конструкций связана не только с тем, что в ряде языков отсутствует падежная система, но и с русской имплицитностью выражения целого ряда значений. Еще более сложной становится ситуация, когда в «игру» вступают русские частицы. Ср. *Что² это ты?* — вопрос о причине неожиданного действия адресата. *Что² же ты?* — выражение упрека. *Ну что² же это ты!* (упрек). Не менее сложными для восприятия являются и конструкции типа *Что² там?* — вопрос о происходящем вне визуального присутствия говорящего, *Что² ты там?* — выражение нетерпения и т. д.

Таким образом, имплицитность и крайнее ее проявление — структурный эллипсис — выполняет в русском языке целый ряд функций. Это не только функция архисемы (при сравнительно небольшом наличии гиперонимов в лексической системе языка), функция актуализации (смыслового выделения слова), но и выполнение роли полноправного средства, формирующего как значение высказывания, так и маркирующего стилистические, жанровые и эмоционально-экспрессивные оттенки.

В качестве подтверждения приведем отрывок из «Страха» Анатолия Рыбакова:

— Он спрашивал обо мне?

— Ну, конечно, Варя, о чем ты говоришь?

— Как он спросил? Какими словами?

— Словами?.. “Как Варя?” — вот так, так прямо и спросил: “Как Варя?”

— Наверное, как поживает Варя?

— Нет, только два слова: “Как Варя?” Что ты Варенька, разве он мог так небрежно, как бы между прочим спросить о тебе? Нет! Он сразу спросил и именно так, как я говорю: “Как Варя?”

Этой тенденции к имплицитности в русском языке противостоит контраст — коммуникативное дублирование. Как известно, русский язык обладает большими вариативными рядами конструкций, объединенных общим коммуникативным заданием. Одной из особенностей русского языка и является «нанизывание» ряда конструкций при выражении одного коммуникативного задания, например:

1. Будьте добры, / скажите, пожалуйста, / где здесь у вас тут буфет?

2. Иди, сходи принеси хлеб.

3. На, / возьми!

4. — Спасибо.

— Ну что вы! / Не за что! / Какие пустяки! /

5. — Ты пойдешь?

— Само собой разумеется.

Подобного рода избыточность остро ощущается представителями польского, литовского, словацкого, частично испанского языков, системы которых устроены несколько иначе. Если русский носитель языка либо имплицитует, либо коммуникативно дублирует, то носители данных языков предпочитают один раз лексически раскрыть необходимое.

Типологические особенности в области значения коммуникативных типов высказываний связаны не только с различными

способами его выражения и тесно связанными с ними вопросами реализации дополнительных смысловых оттенков и сочетаемости «коммуникативных» сем, но и с проблемами различной степени дифференциации значений на уровне высказывания (регулярностью и обязательностью различения универсальных значений в ряде конструкций вариативных рядов сопоставляемых языков). Не останавливаясь подробно в этой статье на данном вопросе, который был освещен в предыдущих публикациях [Безяева 1986; Безяева 1993], отметим, что условиями его решения являются 1) определение универсальных составляющих коммуникативных значений, 2) выявление вариативных рядов конструкций, соответствующих выделенным значениям, 3) использование коммуникативного анализа предложений, учитывающего взаимодействие средств разных уровней языка и ставящего своей задачей определить дифференциальные, существенные средства для формирования того или иного значения. Причем при сопоставлении языков возможны следующие типы соотношения средств и степени дифференциации значений:

а) средств больше и степень дифференциации значений больше;

б) средств меньше — степень дифференциации значений больше;

в) одинаковые средства — степень дифференциации значений различна.

Иными словами, степень дифференциации значений коммуникативных типов предложений в том или другом языке может зависеть от большего или меньшего количества конструкций, выражающих те или иные смысловые оттенки, от регулярности и обязательности действия одного из средств, от разных закономерностей взаимодействия сходных средств.

Проиллюстрируем эти положения кратким сопоставлением ряда конструкций русского и португальского языков. И в русском, и в португальском языках различается вопрос, в котором одно из неизвестных наиболее вероятно. Одной из конструкций,

в которой может формироваться данное значение в португальском, является вопрос с выделительным оборотом, относящимся к слову с тематическими связями. Этой конструкции в русском языке соответствует целый ряд структур, в которых выражена градация по степени неизвестности (в частности, догадка, предположение), различного рода эмоционально-экспрессивные оттенки, которые в португальском языке могут передаваться только упомянутой структурой:

Ср. *Foi você que viviu la?*

Вы³ жили там?

Так это вы³ жили там?

Это вы³ там жили?

Там, наверное, вы³ жили?

Никак вы²³ там жили?

Там только вы³ жили?

Вы³, что ли, там жили?

Это вы³-то там жили?

Этот же тип соотношений средств присутствует и в вариативных рядах конструкций с иными коммуникативными заданиями. Так, в частности, бóльшая степень дифференциации значений в русском языке характеризует и область выражения желания говорящего при наличии препятствия к его осуществлению. В этом случае большее количество конструкций русского языка с частицами вводит ряд дополнительных коммуникативных «сем» (достижимости желаемого, необходимости его осуществления, способа его реализации, готовности пожертвовать остальным ради достижения цели и т. д.), которые могут не дифференцироваться, например, в конструкциях романских языков.

Второй тип соотношений можно проиллюстрировать следующим примером. Конструкций, которые выражают упомянутый тип вопроса, в португальском языке значительно больше, чем в русском, что связано с увеличением роли лексико-синтаксических средств в формировании значений высказываний. Однако в этом ряду структур, однозначно формирующих вопрос, в кото-

ром одно из неизвестных наиболее вероятно, в португальском языке есть конструкция с полнозначным глаголом с антонимическими связями и словом с тематическими связями, находящимся в конце предложения, которая может передавать как вопрос, в котором выясняется наличие-отсутствие действия, так и вопрос, в котором одно из неизвестных наиболее вероятно. Только контекст в ряде случаев позволит различить указанные значения. Если же он допускает возможность реализации сразу двух, то в этом случае степень дифференциации значений в португальском будет меньше, в то время как в русском языке передвижение интонационного центра на слово — неизвестное (отсутствующее во многих языках) заставит нас дифференцировать эти значения, даже если их отличия не столь существенны. Рассмотрим примеры из португальского и русского языков.

- *Vem só?* — Он пришел один?
 — *Não senhor. Vem com uma loura.* — Нет, с блондинкой.
 — *Mandaste-os entrar para a sala?* — Ты приказал им войти в зал?
 /
 — Ты приказал им войти в зал?

Два типа значений вопроса в диалоге не дифференцируются в португальском, но строго различаются в русском благодаря регулярности и обязательности действия одного из средств формирования значений, в данном случае интонационного центра ИК.

Третий тип соотношения можно проиллюстрировать кратким примером вопроса со значением отождествления. Так, предложение — *Это тоже для меня?* в русском языке выражает отождествление объекта, в то время как в португальском — отождествление как объектов, так и адресата действия, поскольку в русском языке отождествление в конструкциях с *тоже* может относиться к любому слову с тематическими связями, стоящему перед *тоже*, а в романских языках — как перед аналогом *тоже*, так и

после него. Если контекст допускает двоякое понимание значения, оно носит в португальском менее дифференцированный характер. Отметим, что в конструкциях с русским *также* отождествление может относиться к словам с тематическими связями с предшествующим контекстом, стоящим как перед *также*, так и после него (соотношение средств, близкое к португальскому языку), однако в этом случае опять-таки начинает работать интонационный центр, что не характерно для португальского и обеспечивает большую обязательность разграничения значений:

Ср. Эта делегация ²также посетила строительство.

Эта делегация также посетила ³строительство.

Таким образом, проблема различной степени дифференциации значения является изоморфной для всех уровней языка (лексика, морфология, синтаксис) и провоцирует ошибки в восприятии и воспроизведении коммуникативных значений высказываний.

Перейдем к следующему аспекту сходств и расхождений коммуникативных типов высказываний в языках различных систем, к вопросу границ коммуникативных типов предложений, в котором можно выделить два аспекта. Первый связан с вопросом переходных зон и совмещения значений. Так, например, в русском высказывании *Куда ты идёшь?* может быть передано два значения — собственно вопросительное и значение, близкое к волеизъявлению (запрещению) — *Куда ты идёшь? Там же грязно!* В русском языке лишь контекст позволит разграничить эти значения. В португальском же языке сыграет роль порядок слов, который при вопросе будет обратным, а при выражении волеизъявления — обычно прямым. Вот эта-то «нереакция» русских лексико-синтаксических средств на изменение коммуникативных заданий, которая охватывает большую часть лексико-синтаксических составов, и приводит к возможности передачи совмещенных значений. Вспомним один из эпизодов розовской «Тани». Так, вопрос,

обращенный к молодой женщине, одевающейся после телефонного звонка, чтобы выйти из дома поздним вечером в пургу: *Куда вы идёте?* — совмещает и значение вопроса (неизвестность), и значение волеизъявления (запрещение): «Не ходите туда». Отметим, что если, в силу особенности строения лексико-синтаксических составов, русский язык обладает большей потенциальной возможностью к совмещению, нерасчлененности коммуникативных заданий, то в области смыслового выделения слова внутри отдельного коммуникативного типа картина прямо противоположна — здесь русскому языку свойственна большая обязательность разграничения значений.

Второй аспект сходств и расхождений в границах коммуникативных типов связан с особенностями их отбора и функционирования в типовых речевых ситуациях. Так, например, сопоставительные исследования показывают, что область функционирования просьбы в русском языке потеснена расширением зоны требования. Однако область функционирования просьбы расширяется за счет выражения желания говорящего в других языках.

В русском языке резко расширена область функционирования просьбы о разрешении. Так, если нам надо отойти из очереди за билетами в кино, русский носитель языка воспользуется просьбой о разрешении *Я отойду?* и даже *Я позвоню?*, что означает *Можно я отойду из очереди, чтобы позвонить?* Испанец в этом случае выберет констатацию типа *Я отойду*. Просьба о разрешении здесь невозможна. Француз может выбрать и просьбу, но это будет не просьба о разрешении, а просьба о действии **Вы можете сохранить мое место?*

Таким образом, языки имеют разные тенденции к использованию разных коммуникативных типов в сходных речевых ситуациях. Список подобного рода примеров можно продолжить.

Специфика функционирования коммуникативных типов предложений связана и с их сочетаемостью в типовых речевых ситуациях. В качестве примера приведем структуру ситуации «прощания». С нашей точки зрения, она включает ряд состав-

ляющих: это формулы конца разговора, этикетные формулы «приятности» проведенного совместного времени, которые минимально используются в русском языке, но распространены и практически обязательны в ряде европейских, сами формулы прощания, имеющие яркие особенности в каждом из языков. Однако сейчас нас интересует дальнейшее развитие речевой ситуации. Так, если во французском языке формулы прощания обычно сочетаются с пожеланиями (приятной второй половины дня, конца недели и т. д.), то в русском языке формулы прощания обычно сочетаются с этикетной просьбой о действии. Этикетность этой просьбы заключается в том, что она не требует ответных действий. Так, если после окончания переговоров, русский носитель языка обычно заключает встречу словами: *До свидания, звоните!*, то он может получить неожиданную реакцию носителя французского: *А зачем? Мы не все обсудили?*, или формула прощания уставшей хозяйки: *До свидания! Заходите* — вызывает неожиданную для нее реакцию: *Когда?*, что свидетельствует об отсутствии такой стратегии языкового поведения у носителей, в данном случае, французского языка.

Таким образом, универсальность логико-лингвистических определений заданий коммуникативных типов предложений не снимает вопроса о типологических особенностях их значений и функционирования в системах разноструктурных языков.

ЛИТЕРАТУРА

- Бахтин 1979 — Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
- Безяева 1986 — Безяева · Гуськова М. Г. О типологии языковых значений: (На материале сопоставительного анализа русского и португальского языков) // Вопросы изучения русского языка в сопоставлении с другими языками. М., 1986.

- Безяева 1993 — Б е з я е в а М. Г. Диалог: Универсальное и типологически особенное // Язык и культура: Вторая международная конференция. Киев, 1993.
- Брызгунова 1977 — Б р ы з г у н о в а Е. А. Звуки и интонация русской речи. М., 1977.
- Брызгунова 1980 — Русская грамматика. М., 1980. Т. 2. § 2629-2640.
- Брызгунова 1982 — Б р ы з г у н о в а Е. А. Коммуникативный анализ русской звучащей речи // Russian Language Journal. 1982. XXXVI. № 125.
- Брызгунова 1992 — Б р ы з г у н о в а Е. А. Категория общего и конкретного в русской диалогической речи // Системные семантические связи языковых единиц. М., 1992.
- Гак 1979 — Г а к В. Г. Сравнительная типология французского и русского языков. М., 1979.
- Гордон, Лакофф 1985 — Г о р д о н Д., Л а к о ф ф Дж. Постулаты речевого общения // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16. Лингвистическая прагматика. М., 1985.
- Панов 1981 — П а н о в М. В. Стили русского языка // Современный русский язык / Под ред. В. А. Белошапковой. М., 1981.
- Реформатский 1962 — Р е ф о р м а т с к и й А. А. О сопоставительном методе // Русск. яз. в нац. школе. 1962. № 5.
- Якубинский 1986 — Я к у б и н с к и й Л. П. О диалогической речи // Избранные работы: Язык и его функционирование. М., 1986.

ПРОБЛЕМА ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО СТАТУСА КАТЕГОРИИ РОДА

В лингвистической литературе высказывались различные точки зрения о грамматическом роде. Исследователи характеризовали формы рода как «несловоизменяемую синтагматически выявляемую морфологическую категорию» [Грамматика 1980: 465], «классификационную точку зрения» [Докупил 1967], «попытку нашего ума классифицировать все разнообразные понятия, выраженные существительными» [Вандриес 1937: 97], имеющие «символическое» [Пешковский 1956: 94], «стертое» значение [Гвоздев 1973: 147].

Несмотря на довольно большое количество работ, в той или иной степени затрагивающих вопросы грамматической категории рода, данную проблему нельзя считать окончательно решенной.

Вопрос о формальных, т. е. собственно лингвистических свойствах грамматической категории рода ставился в отечественной грамматической традиции еще в начале XIX века. Так, в 1824 г. И. Ф. Калайдович в «Трудах Общества любителей российской словесности» опубликовал полемическую для своего времени статью, где впервые в мировом языкознании указал на категорию рода прежде всего как на согласовательную категорию, во многом предвосхищая (почти на сто лет) традиции московской формальной школы: «...грамматические роды служат только к различению трех способов согласовать прилагательное с существительным, принимая первое слово в обширном его значении» [Калайдович 1824: 172]. А. Х. Востоков предлагал два способа «узнавания» рода, во-первых, «в именах предметов одушевленных по значению сих имен» и, во-вторых, «в именах неодушевленных по окончаниям» [Востоков 1831: 12]. Н. И. Греч также

различал две группы имен относительно категории рода. В первую группу входят «все имена, означающие одушевленные предметы мужского, женского и среднего рода», т. е. определяемые по значению, и вторую группу образовывали «все прочие имена существительные, определяемые по окончаниям» [Греч 1834: 26], т. е. такие, у которых грамматический род определяется по чисто формальным показателям. Сходные точки зрения высказывались Г. П. Павским [1850, вып. II: 181–182, 188 примеч.], К. С. Аксаковым [1880: 220] и др. Ф. И. Буслаев был, по-видимому, первым из отечественных лингвистов, указавшим в эксплицитной форме на различия между естественным полом и грамматической категорией рода ¹.

Однако до настоящего времени не определен статус категории рода. Некоторые исследователи характеризуют род (наряду с типами склонения) как формальный класс, как «бессодержательную классификацию».

Распространенным является признание рода лексико-грамматической (классифицирующей) категорией. Дискуссионными остаются также вопросы о категориальном содержании и струк-

¹ Так, он пишет: «Естественный род отличается от грамматического. Естественный объемлет малое число слов, в сравнении с остальными, в которых не обращается внимание на родовое отличие, или потому что его действительно нет, или потому что обыкновенная наглядность, господствующая в языке, не знает строгого естествоиспытательного наблюдения... Без грамматического рода можно обойтись, и многие языки не имеют его: в тех же языках, в которые род проникнул, составляет он необходимую принадлежность, без которой невозможно склонение. Грамматический род есть не что иное, как созданное фантазиею распространение естественного рода на все предметы; оттого всему отвлеченному, умственному и даже неодушевленному язык дает в наглядных представлениях жизнь и движение. Так, понятие действующее, мощное и самостоятельное означаетя родом мужским; понятие, подлежащее действию, слабейшее и зависящее — женским или средним; напр., бог и природа, творец и творение, дух и душа; огонь, ветер и железо, золото и проч.» [Буслаев 1959: 299].

турной организации категории рода. А. А. Зализняк, например, считает род частной категорией, взаимодействующей с категорией одушевленности–неодушевленности в рамках согласовательного класса, при этом общее категориальное содержание проявляется в согласовательных связях, синтаксические элементы образуют семь граммем категории согласовательного класса [Зализняк 1967: 73–80]. Такая трактовка категории рода удобна в формально-структурном плане, позволяет дать классификацию, включающую все существительные языка.

Синтаксичность категории рода бесспорна. Сравнительно с морфологическим выражением рода существительных «более информативным для определения родовой принадлежности стал синтаксический момент» [Милославский 1981: 53].

Так как синтаксический фактор при отнесении существительного к определенному грамматическому роду следует признать наиболее регулярным, именно он является важнейшим в определении принадлежности к тому или иному грамматическому роду: «Категория рода вне синтаксиса безжизненна, только в синтаксисе, так же, как слово в контексте, получает она жизнь...» [Мелик-Оганджян 1966: 319].

Категория рода существительных является классифицирующей грамматической категорией, одним из основных средств выражения предметности.

Всеми признается универсальный характер категории рода: отнесение к одному из трех родов в русском языке «обязательно для каждого имени существительного в единственном числе» [Виноградов 1972: 56].

Чаще всего категориальное содержание вызывает споры при определении категории рода: одни исследователи в содержание категории рода включают семантику «естественного» рода, или номинативное значение, связанное с обозначением мужского либо женского рода (И. П. Мучник), другие указывают на отсутствие у рода данного номинативного значения, поскольку оно не является обязательным, и считают основой грамматического значения

рода синтаксический элемент значения (И. Г. Милославский), квалифицируют категорию рода как классифицирующую грамматическую категорию со структурной доминантой категориального содержания, не отрицая связи с семантическим содержанием у части одушевленных существительных (А. В. Бондарко).

В последнее время предпринят ряд попыток классификации разных концепций происхождения грамматического рода [Фодор 1959; Иоффе 1973; Гаспаров, Сигалов 1974].

Принято различать три основные гипотезы: символично-семантическую, морфологическую и синтаксическую. Следует заметить, что данная проблематика привлекала внимание ученых еще с времен античности, когда и были заложены предпосылки многих позднейших воззрений на род [см. АТЯС 1936; Кобов 1972].

Символично-семантическая гипотеза

Вопрос о семантике рода представляется наиболее спорным и постоянно дискутируемым. Один из важнейших аспектов проблемы — соотношение рода и пола. Распространенной была точка зрения, согласно которой значение пола у одушевленных существительных относится к плану содержания их рода.

А. В. Бондарко [1976: 189–196] выделяет лексико-грамматические разряды со значением отношения к полу и тем самым отчуждает значение пола от рода, но делает существенную оговорку об исключительно тесной связи рода и пола в языке: «...их [разрядов по полу — А.Ш.] семантика переносится на граммымы рода, получает причастность к грамматическому роду» [Бондарко 1976: 196].

Сторонники этой гипотезы (И. Г. Гердер, Я. Grimm, В. Гумбольдт, Т. Якоби и др.) полагали, что в основе грамматического рода лежит противопоставление по полу. Признак пола, в соответствии с этой концепцией, древними индоевропейцами переносился на предметы неживой природы. По Я. Гримму, все боль-

шое, быстрое, активное относилось к мужскому роду, все малое, спокойное, пассивное — к женскому, а все искусственное, собира- тельное — к среднему. Сторонники данной концепции основыва- лись на таких особенностях мифологического мышления, как анимизм и антропоморфизм, и приписывали древним индоевро- пейцам способность одухотворять природу, сексуализировать не- живые предметы ². В русской лингвистике эту гипотезу развивал А. А. Потебня [1968: 451–499], близкую позицию занимал И. А. Бодуэн де Куртенэ [1900].

Таким образом, в соответствии с этой гипотезой граммати- ческий род считается мотивированным внешними для языка об- стоятельствами, а именно, естественным полом. Источниками этой гипотезы являются, по-видимому, многочисленные и хоро- шо известные из жизни и литературы совпадения и различия ме- жду полом и родом.

В своей книге «Новейшая русская поэзия» Р. О. Якобсон [1921: 346] первый раз затрагивает эту проблему применительно к строчкам В. Хлебникова:

*Зачем отечество стало людоедом,
А родина его женой.*

² И. А. Бодуэн де Куртенэ по этому поводу пишет следующее: «У че- ловека с родовыми или сексуальными представлениями в области языка более поводов к анимизму, к оживлению мира, к его очеловечению и „оживотнению“, нежели у человека без этого языкового элемента.

Отсюда особое направление мифологических представлений и разви- тие этимологических мифов с сексуальным олицетворением явлений при- роды. Взаимные отношения олицетворенных солнца и луны у различных народов ариоевропейских принимают различный вид, сообразно с родом названий того и другого светила. В мифологии ариоевропейцев имеется усиленное олицетворение со всеми его последствиями, прежде всего с лю- бовными похождениями сексуальных богов и с их воплощениями. Бог се- митический, например, понимается совершенно иначе, нежели бог ариоев- ропейский» [Бодуэн де Куртенэ 1900: 369].

Хотя «отечество» и «родина» синонимы, они не взаимозаменяемы, и это хорошо видно в приведенном примере. Персонификация наделяет объекты женского рода свойствами женского пола, а объекты среднего и мужского родов — свойствами мужского пола. Р. О. Якобсон [там же: 346; 1959: 265] вспомнил как-то результаты опроса, проведенного в Институте психологии Московского университета в 1915 году. Исследователи обнаружили, что русские представляют себе дни недели сообразно роду слова, которое их называет: так, понедельник, вторник, четверг и воскресенье являются в сознании опрошенных мужчинами, а среда, пятница и суббота — женщинами. Индивидуальная и коллективная фантазия буквально пропитана грамматическим родом. Русский художник Кепин, рассказывал Р. О. Якобсон, не мог понять, почему его немецкий коллега Штук изображал грех в виде женщины, не зная, что его «грех» мужского рода был для Штука женского рода (*die Sünde*). Согласно русской примете, падение ножа связано со скорым появлением мужчины, а падение вилки предвещает визит женщины (известно, что род объясняет распределение ролей, но не само разделение). Согласно Р. О. Якобсону, также обряд пятницы различается в славянских странах согласно тому, к какому роду (м. или ж.) относится слово, называющее пятницу, в том или ином языке. Для французских детей мыши, лягушки и совы — «девочки», а крысы, жабы и филины — «мальчики»³.

³ На такие же случаи употребления категории рода обращает внимание А. В. Исаченко: «Только в редких случаях, а именно при переносном употреблении слов или при так называемом „образном олицетворении“, грамматический род обнаруживает тесную связь с представлением пола. Говорят „ложь мать всех пороков“, но нельзя было бы сказать „ложь отец всех пороков“, ибо грамматический род существительного ложь (женский) при образном олицетворении вызывает представление как бы о живом существе женского пола. Ср. также матушка Москва, батюшка Новгород, господин великий Новгород, батюшка мороз и т. п.» [Исаченко 1965: 51].

Поэзия дает многочисленные примеры подсознательных ассоциаций. В песне солнце — юноша, который идет на свидание с девушкой, луной. Сборник Б. Пастернака «Сестра моя — жизнь» легче всего перевести на английский язык (*My sister Life*) или на французский (*Ma soeur la Vie*), но довольно трудно перевести на чешский, где жизнь, *život* — мужского рода. Коннотации по полу в «*Der Tod und das Mädchen*» навсегда потеряны в французском переводе «Девушка и смерть», где уже отсутствует противопоставление слов по роду. Можно было бы привести еще и другие примеры, однако и так ясно, что самое распространенное утверждение — лингвистическая бесполезность категории рода, который, казалось, на первый взгляд, совершенно лишен какой-либо лингвистической функции и логически немотивирован. А. Мейе [1921a] замечает, что «грамматический род является одной из наименее логичных и самых неожиданных грамматических категорий». Для Дж. Лайонза, «с семантической точки зрения родовые разграничения в существительном обычно избыточны» [Лайонз 1978: 304]. Этот ученый признает их необходимость единственно для функции согласования, но, видя, что в таких языках, как венгерский и финский, разделение на роды пропадает в местоимении третьего лица, не пытается изобразить эти разграничения как совершенно необходимые.

Во всяком случае, с функциональной точки зрения род кажется не имеющим никакой особенной значимости на лингвистическом уровне и создает для говорящих лишь дополнительные трудности согласования. Функционалистский подход в лингвистическом анализе всегда направлен на то, чтобы определить средства языка, которые обеспечивают взаимопонимание говорящих. Для языка как средства общения имеет значение только то средство, которое позволяет различать даже два одинаковых субъекта [Мартине 1969]. В этой перспективе грамматическая категория находит себе оправдание тем, что удовлетворяет некоторую потребность коммуникации.

Короче говоря, как замечает А. Мартине, разграничение между мужским и женским родами имеет видимую коммуникативную функцию только в отношении с «фактами деривации», которые указывают на природу упоминаемых лиц или предметов. Речь идет о местоимениях третьего лица и о суффиксах, которые разделяют лица на женские и мужские (*lion-ne* vs. *lion*). Но существование суффикса для выделения женского рода, как местоименного разделения, не доказывает существование рода, а служит лишь для уточнения, если это необходимо, пола существа в вопросе. Суффикс производного от существительного, называющего агента женского пола, нельзя отождествлять с грамматическим родом, маркированным связью с прилагательным [там же].

Говорить о роде можно только в связи с вопросами согласования, но именно в этом случае как раз труднее всего определить коммуникативную функцию этой грамматической категории. Какая, в конце концов, коммуникативная функция может быть в следующем факте: французский язык определяет «стакан» как слово мужского рода, а «бутылку» как существительное женского рода? Чтобы устранить это противоречие, не отказываясь от функционального описания языковых элементов, Мартине выбирает путь деривационной реконструкции категории. Исходя из предположения о том, что род «возник для удовлетворения потребности коммуникации», Мартине пытается объяснить его существование случаями, где разделение выполняет коммуникативную функцию, к примеру, у местоимений. Здесь он предполагает серию изменений по аналогии, которые должны свести воедино в индоевропейском языке противопоставления женский—мужской сначала у местоимений, затем у прилагательных, потом у существительных. Эта гипотеза не объясняет, тем не менее, почему, если язык существует только как средство коммуникации, категория должна распространяться на области, которые не оправдывают с коммуникативной точки зрения свое существование. Если разделение на мужской и женский роды лингвистически оправдано только в одном случае — в местоимениях, почему оно должно

распространяться по всей лексике, противореча во всем принципам экономии и стремлению системы к упрощенности?

Анализ с позиций чисто коммуникативного функционирования не может дать удовлетворительное объяснение феномена рода. С другой стороны, если роды не имеют никакого функционального смысла, то как тогда объяснить тот факт, что во всех языках, по крайней мере в индоевропейских, где имеется противопоставление мужского и женского родов, эту лингвистическую категорию можно рассматривать как мотивированную экстралингвистической реальностью?

Функционалистская гипотеза оказалась не в состоянии объяснить вопрос «естественного основания» категории рода. И действительно, является ли категория рода семантически мотивированной языковой практикой или же она представляет собой произвольное лингвистическое понятие, лишенное коммуникативного смысла? С такой постановкой вопроса согласны многие лингвисты. «Первое общее соображение, которое следует высказать, состоит в том, что признание рода как грамматической категории логически не зависит от какой-либо конкретной семантической ассоциации, которую можно усмотреть между родом существительного и физическими или другими свойствами людей или предметов, обозначаемых этим существительным» [Лайонз 1978: 300–301].

Э. Сепир в своих размышлениях о формальной природе грамматических категорий, объясняет наличие родов как пережиток архаических концептов, существующих только в таком качестве в сознании говорящих субъектов, но поддерживаемых в структуре языка «инертностью» лингвистической формы: «Таким образом, форма живет дольше своего концептуального содержания. И форма и содержание непрерывно меняются, но в общем форма имеет тенденцию удерживаться и тогда, когда дух уже улетучился или видоизменил свою сущность... Иррациональная форма, форма ради формы, как бы мы ни называли эту тенденцию держаться за установившиеся формальные различия,

столь же присуща жизни языка, как сохранение форм поведения, намного переживших свое бывшее значение» [Сепир 1934: 76–77].

Хотя сегодня род является лишь сохранившимся пережитком архаичных форм, которому никакая мотивированность не присуща, следует все же предположить, что изначально род должен был бы быть мотивирован, пусть даже стремлением к классификации. По Э. Сепиру, эта связь была установлена в мифическом прошлом: «Дело как будто бы обстоит так, что в какую-то давнопрошедшую эпоху несознательный ум племени сделал наспех инвентарь своего опыта, доверился этой скороспелой классификации, не допускающей пересмотра, и наделил наследников своего языка наукой, в которую они перестали всецело верить, но которую не в силах опрокинуть. Догма, предписываемая традицией к неукоснительному исполнению, становится окостенелым формализмом. Категории языка образуют систему пережившей себя догмы, догмы бессознательного» [там же: 78].

Может ли намек на «бессознательные установки» дать возможность понять связь, установленную с таким трудом, между оригинальной экспериментальной классификацией, тоже, правда, «преждевременной» и «поспешной», и лингвистическими формами? Эта возможность нас непосредственно и привлекла. В отношении к этим классификациям язык — «бессознательный» и «упорный», а с другой стороны, согласно Э. Сепиру, немислимо, чтобы различие по половому признаку послужило критерием, способным создавать основу для категоризации: «Кажется в достаточной мере странным, что можно понятия полов мужского и женского — понятия грубо материальные, в философском смысле случайные — использовать в качестве средств связи между качеством и лицом, между лицом и действием, если бы мы не изучали классических языков, нам нелегко было бы не считать безусловной нелепостью и такое положение, при котором столь ослабленные в своей значимости реляционные понятия <...> дополнительно нагружаются представлениями о числе и поле» [там же: 74].

С философской точки зрения разделение по признаку пола случайно, и его «материальная грубость» не представляет никакого теоретического интереса. Его наличие в языке — лишь результат «более тирании обычая, чем потребности выражения конкретного содержания» [там же: 76].

Эти слова кажутся отголоском высказывания Аристотеля, по мнению которого, половая дифференциация есть ни род, ни вид, но лишь «случайность». Еще раз эту мысль высказал Ельмслев; за очевидно нейтральным теоретическим анализом мы видим отчетливо проявляющегося говорящего субъекта, позицию наблюдателя, которая не может не влиять на исследуемый лингвистический феномен. Семантический факт — не непосредственная данность, объективно наблюдаемая, — он создается в процессе его описания. Следовательно, не удивительно, что тому, кто считает абсурдным и искусственным факт, что случайность полового признака могла бы служить средством связи между существительным и прилагательным, удастся увидеть в оппозиции мужской — женской лишь немотивированный формальный остаток.

Остается сомнение, как эта грубая и незначимая «случайность» смогла обусловить бессознательные категоризации?

Как получилось, что женские и мужские концепты сыграли важную роль «в оригинальном фиксировании эксперимента» человечества и остались «записанными» во многих языках, если кроме природных случайностей и кроме самих по себе ничего не значащих и не символизирующих фактов ничего не было перед тем, как язык со свойственной ему инерцией нам их навязал? На эти вопросы Э. Сепир не отвечает, и формалистская гипотеза не разрешает противоречия. Остается только мотивированное позитивное оправдание для таких языков, как английский, которым удалось освободиться от бесполезных родовых разграничений, паразитических концептов, как их назвал Э. Сепир, которые в свою очередь продолжают навязываться романским и другим языкам. Это положение объясняет идею прогрессивной эволюции,

которая утверждается с устранением бесполезных категорий, среди которых род представляется самым неудобным.

В объяснениях лингвистов не находит себе места половая дифференциация, проявляющаяся в языке. Они отказывают этой дифференциации в наличии возможного смысла. Род, как грамматическая категория, записавшая внутри языка эту дифференциацию, ограничен пустой, произвольной формой, семантически немотивированной, случайно образуемой окружением последующих членов.

Вернемся к проблеме отношения лингвистической структуры к значению. Какова же семантическая значимость рода? Результат ли это случайной номинативной классификации или же эта номинативная классификация зависит, хотя бы отчасти, от внешней смысловой ситуации?

Здесь имеется в виду теоретическая альтернатива, определяемая либо как произвольность, либо как мотивированность. Произвольное истолкование рода показывает, что эта категория возникает вследствие внутренних сугубо языковых причин, в результате фонетических изменений, благодаря роли аналогии, морфологических чередований и др. Здесь же необходимо допустить возможность в отдельных случаях символического истолкования родов. Однако эти случаи считаются второстепенными и очень ограниченными, так что категория рода продолжает быть определяемой как бесполезная, но неустраняемая (как это получилось в английском языке). Согласно этой модели, сигнификативная значимость половой дифференциации достаточно хорошо скрыта, спрятана, сведена в нескольких случаях употребления до психологического факта, определяющего, но не существенного, до приспособления к данным лингвистическим структурам.

Этому истолкованию категории рода можно противопоставить гипотезу с противоположным смыслом, которая предполагает, что лингвистические категории не мотивированы внешней ситуацией, экстралингвистическими причинами. Другими словами, это не природная данность разделения по признаку пола, не

«грубая материальность», как сказал бы Э. Сепир, которая организует лингвистические структуры, напротив, это обозначение того, что дифференциация изменялась одновременно с независимыми изменениями специфических грамматических форм, в которых различные языки отразили указанные различия. Приписывать непосредственное отражение внеязыковой реальности лингвистической форме, значит считать половую дифференциацию уже значимой, символической структурой, способной в свою очередь образовывать значение и обозначение. Конечно, речь не идет о природной данности, о сконструированной биологическим путем материальной случайности, но о естественной оппозиции ясно организованной, как близкой к смысловому окружению, которая фигурирует под видом определенных лингвистических форм ⁴.

Относительный характер мотивированности грамматического рода был ясен в определенной степени уже во времена античности. Так, в грамматике Дионисия Фракийского подчеркивалась языковая сущность этой категории. Там отмечалось, что различие пола живых существ не всегда обозначается в языке и что некоторые обозначения получают точное указание на пол лишь при посредстве особых дополнительных показателей. При этом к старому делению на три рода прибавлялось два новых. Оба эти «рода» или разряда имени (*χοῖνόν* и *ἐλίχοῖνον*) сходны между собой в том, что относящиеся к ним существительные представляют собой названия, общие для особей обоих полов. Однако между этими «родами» есть и различие: *χοῖνόν* (sc. *γένος*) или во мн. ч. *χοῖνά* (sc. *ὀνόματα*) — это имена нейтральные относительно

⁴ Этого типа гипотеза создана размышлением редких лингвистов, внимательных к символической и метафорической функции рода, согласно со всеми принципами функциональной целесообразности. Р. О. Якобсон, занимаясь проблемой перевода между разными семиотическими системами, открыл метафорические и поэтические потенции внутри грамматических категорий.

рода, но при помощи артиклей (ὁ, ἡ) они могут обозначать особей определенного пола; что же касается ἐπίχοινα или ἐπίχοινα, то они также нейтральны относительно рода, но не обладают такой способностью к дифференциации и всегда употребляются в языке только с одним артиклем. Так, слово ἄνθρωπος «человек», которое в греческом языке может принимать значение 'мужчина' (ὁ ἄνθρωπος — с артиклем м. р.) и 'женщина' (ἡ ἄνθρωπος — с артиклем ж. р.), слово ἵπλος 'лошадь', означающее также 'конь' (ὁ ἵπλος) и 'кобыла' (ἡ ἵπλος), относятся к χοινά. Но ἡ χελιδόν 'ласточка' и ὁ ἀετός 'орел', например, всегда имеющие при себе артикль определенного рода и тем не менее не указывающие на определенный пол референта, относятся к категории ἐπίχοινα, т. е. к именам индифферентным, «безразличным» к полу обозначаемого предмета. Таким образом, если χοινά приводят род и пол в соответствие, то в ἐπίχοινα род не имеет «реального» значения, а лишь грамматическое. То же самое характерно и для старых латинских грамматик, где нашли отражение соответствующие факты латинского языка. Термину χοινά здесь соответствует commune (sc. genus) или communia (sc. nomina). Второй термин остался без изменения в латинской транслитерации — ерисоепон или ерисоена. Слова типа communia могут принимать две родовые формы местоимения («артикля»): hic (мужской род) или haec (женский род) — hic / haec canis — 'кобель' / 'сука' и т. п. Слова же типа ерисоена употребляются в одном каком-либо роде — (haec) vulpes 'лиса', fellis 'кошка', aquila 'орел', (hic) passer 'воробей', turdus 'дрозд' и т. п. [Немировский 1938].

В дискуссии по вопросам лингвистической природы грамматического рода в двадцатых годах прошлого столетия один из многочисленных оппонентов И. Ф. Калайдовича, оставшийся неизвестным, писал: «Существительные имена произошли гораздо ранее прилагательных, следовательно, придавая первым значение пола, человек не мог думать о способах совокупления с ними последних. При том должно сказать, что значение родов не так-то случайно, как кажется нашему автору (т. е. Калайдовичу —

А.Ш.): младенчеству человек, составляя язык, одушевлял природу; находя в предметах одушевленных различие полов, он переносил сие свойство и на неодушевленные: большие, сильные, грозные предметы получали значение рода мужеского; малые, слабые, приятные, женского. Заметьте, что у нас звукоподражательные слова суть, большей частью, мужеского рода: крик, вопль, вой, свист, визг, бой; отвлеченные имена женского: жизнь, сладость, горечь, печаль; отглагольные среднего: деяние, уныние, бытие и т. д.» [Письмо к издателям 1825: 39]. Дискуссия на тему о символической природе категории рода длилась еще многие десятилетия, но нельзя не отметить с большим удовлетворением, что приведенные (не столь наивные для своего времени) аргументы не убедили И. Ф. Калайдовича, он продолжал последовательно отстаивать формальный подход: «В то время, о котором говорит критик, неизвестно как говорили. Неизвестно, придавал ли человек значение пола именам предметов вещественных. Кто знает, какого рода были существительные: лист, кожа, перо и им подобные? <...> В самом деле: что мы разумеем под словами: стол есть мужеского, книга женского рода? Неужели скажем, что стол означает предмет мужеского пола; книга означает предмет женского пола? Нет, мы видим только, что с существительным стол должно согласовывать прилагательные, кончающиеся на й и ь, а с существительным книга должно согласовывать прилагательные, кончающиеся на а, я» [Калайдович 1825: 52].

Гипотезе о мотивированности грамматического рода можно противопоставить два вида возражений: во-первых, различие в распределении родов в различных языках, во-вторых, явное несоответствие в некоторых случаях между грамматическим родом и родом естественным⁵.

⁵ То же самое можно сказать и о категории одушевленности-неодушевленности. Так, в Грамматике-80 отмечается, что в современном русском языке деление существительных на одушевленные и неодушевленные не отражает полностью существующее в мире деление на живое и неживое.

Что касается распределения родов в различных языках, общепринятым положением в той или иной форме является отражение полового различия внутри лингвистических категорий, а не в специфических условиях его проявления. Иными словами, мотивированный характер имеет сама оппозиция мужской—женский, в то время как формальные средства ее выражения различны в различных языках. Каждый язык может по-разному семантизировать члены оппозиции и выражать их различно на уровне поверхностных лингвистических структур. С лингвистической точки зрения значение оппозиции мужской—женский не постоянно, оно подвижно относительно двух членов оппозиции. В лексике оппозиция в еще большей степени варьируется от языка к языку.

Следующее возможное возражение относится к такому факту — во многих языках, в том числе и индоевропейских, находят случаи несоответствия между родом «естественным», т. е. полом, и родом грамматическим, что может быть отнесено к доказательству произвольного характера и немотивированности грамматического рода. Но если действительно могут возникать разногласия между полом и грамматическим родом, то ничего более не остается, как констатировать, что пол все время осложняет местоименное различие, а также согласование с предикатом. Это показывает, по словам Дж. Лайонза, «что для выделения указанных родовых систем в рассматриваемых языках действительно существует некоторое „естественное“ основание» [Лайонз 1978: 304].

Типологические исследования последних лет, выполненные на обильном материале разносистемных языков, показывают, что семантические признаки-корреляты именной классификации

К одушевленному существительным не относятся, во-первых, названия деревьев и растений (сосна, дуб, липа, боярышник, крыжовник, ромашка, колокольчик), во-вторых, названия совокупности живых существ (народ, войско, батальон, толпа, стадо, рой) [Грамматика 1980: 462].

образуют семантическую базу именной классификации в данном языке, и что «не существует языков с согласовательными классами, лишенными семантической базы; но точно так же верно, что не существует согласовательной системы, полностью семантически мотивированной. Первое невозможно ввиду явной избыточности такой системы, перегружающей язык словарной информацией; второе невозможно ввиду грамматического характера разбивания именной лексики на согласовательные классы» [Плунгян, Романова 1990: 41]. «Семантическую» логику именных классификаций, по-видимому, следует искать за пределами собственно языковой структуры в этнокультурных концептах народа-носителя данного языка. Сама по себе эта процедура в большинстве случаев бывает связана с необходимостью проведения реконструкций культурологического характера.

Морфологическая концепция

Род трактуется как формальная грамматическая категория, суть которой — классификация субстантивов, а не отражение внеязыковой реальности (различий по полу или каких-либо иных). Основы этой концепции заложены К. Бругманном, который перенес центр тяжести в вопросе о генезисе рода с внеязыковых факторов на внутриязыковые — внутреннюю аналогию: так, среди субстантивов на *-*ā* были названия лиц женского пола, по аналогии с которыми и другие существительные с таким исходом стали восприниматься как слова женского рода.

Аргументы К. Бругманна можно свести к следующим положениям:

1. Одушевленные существительные на *-o-s* в индоевропейском праязыке первоначально употреблялись безотносительно рода: например, и.-е. **ek^o-o-s* (лат. *equos*) первоначально обозначало 'лошадь' без указания на род. Окончание *-o-s*, таким образом, не могло стать специфическим окончанием существитель-

ных мужского рода без возникновения других окончаний (вначале суффиксов), указывающих на женский род [Бругманн 1897: 22–23].

2. Женский род стал обозначаться формантами *-a-* и *-ie-* (*-i-*) Проверка всех слов индоевропейского языка с этими формантами, как указывает Бругманн, показывает, что первоначальным значением этих формативов было значение абстрактности и коллективности [там же: 23–26].

3. Функция этих формант с обозначения абстрактности и коллективности перешла на обозначение одушевленных существ женского пола. Этот переход имел место в рамках хорошо известного как древним, так и новым индоевропейским языкам общего процесса приобретения терминами, обозначающими качества, значения лица и вещи. Например, в русском и других индоевропейских языках такие слова как *молодость*, *старость*, *слепота*, *беднота*, могут иметь значение как качества, так и лица (коллектива). При этом форманты *-a-* и *-ie-* могли быть приложимы к большому числу слов, обозначающих реальных субъектов женского пола.

4. Следующий шаг: *-a-* и *-ie-* стали обозначать женский пол [там же: 27].

5. Последний этап заключается в том, что эти форманты абстрагируются и становятся продуктивными. Это могло произойти после того, как существительные на *-a-* и *-ie-* вне зависимости от того, обозначают ли они одушевленные или неодушевленные существа, начинают осмысливаться как существительные женского рода.

Аналогичных примеров обобщения значений формантов (суффиксов) в индоевропейских языках множество. В качестве примера Бругманн приводит немецкий суффикс *-isch*, первоначально использовавшийся для образования прилагательных от существительных со значением лица или носителя свойства, который становится продуктивным для обозначения отрицательного свойства [там же: 27–30].

Против концепции К. Бругманна, безусловно имевшей значение для своего времени, можно выдвинуть, по крайней мере, два возражения. Во-первых, у К. Бругманна ничего не говорится о среднем роде, о том, как он возник, когда он отделился от двух других родов и т. п. Во-вторых, ничего не сказано о синтаксических свойствах рода (в частности, при согласовании) и их роли в общем процессе генезиса рода. Это обстоятельство делает концепцию К. Бругманна практически бесполезной [Фодор 1959: 17–18, 19]. Таким образом, роль пола в становлении категории рода существенно ограничивалась: оппозиция по полу из источника категории рода превратилась в результате позднейшей «рационализации» в категорию именной морфологии [ср. Кацнельсон 1972: 26]. «Морфологи» [см. Младенов 1907; Томсон 1913; Тронский 1967] скептически относятся к суждениям «семантиков» о мотивирующем характере мышления древних людей ⁶.

Синтаксическая концепция

Сторонники этой концепции исходят из следующего тезиса Г. Штейнтала: род возможен только в том языке, в котором есть такая синтаксическая связь, как согласование. «Синтаксисты» полагают, что род субстантивов нельзя рассматривать обособленно, в отрыве от рода согласуемых частей речи (в первую очередь

⁶ Ср. близкую точку зрения во французской лингвистической традиции: род — «категория, в принципе основанная на различении полов. Так, существительное может быть мужского рода, женского рода или среднего рода в зависимости от того, как воспринимается означенное существо или предмет <...> Естественный род <...> предполагает соответствие, редко осуществляемое, между грамматикой и природой; вследствие изменений в значении и форме история языков приводит к тому, что понятие естественного рода уничтожается и заменяется понятием грамматического, или формального, рода <...>, который определяется лишь грамматическими признаками» [Марузо 1960].

прилагательных) и постулируют следующую импликацию: если в языке существительное имеет категорию рода, то эту категорию обязательно имеет и прилагательное. Два разных варианта этой концепции предложены И. Фодором [1959; 1963] и В. В. Иоффе [1973]. Оба исследователя считают, что история рода есть история согласования. «Синтаксисты» подчеркивают отдельность рода и пола в языке: род своим появлением не обязан различиям пола, их связь вторична.

Важный шаг в этом направлении был сделан Г. Паулем в его знаменитой книге «Принципы истории языка». Пауль был, скорее всего, первым лингвистом, признавшим важность синтаксических моментов, а именно согласования, в генезисе грамматической категории рода. Он писал по этому поводу следующее: «Нет <...> никакого логического основания для согласования прилагательных в роде, числе и падеже с существительным. <...> Исходный пункт для возникновения согласования образуют такие случаи, в которых формальное соответствие между словами обусловлено не тем, что одно слово присвоило себе грамматические признаки другого, а тем, что оба слова соотнесены с одним и тем же объектом. Когда же согласование стало ощущаться как таковое, оно было перенесено по аналогии и на другие случаи» [Пауль 1937: 362].

Науке сравнительно давно известны последовательные трактовки форм рода в качестве формально-синтаксических, не ассоциируемых ни с какими явлениями действительного мира.

Н. Н. Дурново определяет род как «способность существительных сочетаться с известными формами согласуемых слов (прилагательных и согласуемых в роде форм глагола), отличающую их от других существительных, вступающих для обозначения тех же грамматических функций в сочетании с другими формами тех же согласуемых слов. Эта способность обуславливается или различиями в форме существительных (ср. стол, скамья, окно), или различиями в значении существительных (ср. судья, сест-

ра), или и тем и другим» [Дурново 1924: 97–98]⁷. Логическое завершение формально-синтаксическая теория грамматического рода Н. Н. Дурново получила в работах А. А. Зализняка.

Как известно, А. А. Зализняк пришел к выводу о существовании в языке грамматической категории «согласовательного класса»⁸, которая не имеет никакой иной природы, кроме отражения «правил согласования» [Зализняк 1967: 74]. Именно эти правила и составляют грамматические значения (граммемы) категории «согласовательного класса», трактуемой как соединение традиционных грамматических категорий рода и одушевленности неодушевленности. Причем А. А. Зализняк, выделив семь формальных согласовательных классов, считает необходимым говорить и о четвертом «парном» роде имен существительных. Автор пишет: «Однородный ряд синтаксических элементов: „согласовательный класс 1“, „согласовательный класс 2“ и т. д. сам по себе образует грамматическую категорию „согласовательного класса“» [там же: 73]. А. А. Зализняк замечает, что «ни номинативные значения „одушевленность“ и „неодушевленность“, ни

⁷ Ср. близкую точку зрения в «Словаре лингвистических терминов» О. С. Ахмановой. Она дает следующее определение: «Род — лексико-грамматическая категория существительных, проявляющаяся в их способности сочетаться с известными формами согласуемых слов (что отличает их от других существительных, вступающих в сочетания с другими формами тех же согласуемых слов)» [Ахманова 1969: 389].

⁸ Согласовательный класс, по определению А. А. Зализняка, есть «такая совокупность существительных, что любые два ее члена будучи взяты в любой грамматической форме (но одной и той же для обоих) „требуют“ при любом типе согласовательной связи одной и той же словоформы (или допускают выбор из одной и той же группы словоформ) любого согласуемого слова» [Зализняк 1967].

В понимании А. А. Зализняка «согласовательные классы и есть роды, то есть каждый согласовательный класс равен совокупности существительных определенного рода» [там же].

номинативные значения пола не являются грамматическими» [там же], так как первые не удовлетворяют требованию регулярности, вторые — требованиям регулярности и обязательности.

А. А. Зализняк выделяет семь согласовательных классов: к традиционной триаде «мужской—женский—средний», каждый член которой представляет два согласовательных класса (одушевленный и неодушевленный), добавлен особый «парный класс», куда вошли имена, употребляемые только во множественном числе и не имеющие рода.

О. Г. Ревзина, автор обобщающей работы «Основные черты структуры грамматической категории рода», пишет: «Грамматический род есть синтаксическая категория» [Ревзина 1976: 4]. Это положение обосновывается частой неоднозначностью морфологического показателя рода у существительных (типа *домаше, слуга*), тогда как синтаксический признак во всех случаях сохраняет различительную силу. Кроме того, именно синтаксическая концепция позволяет объединить категорию рода с оппозицией по одушевленности—неодушевленности, что и было сделано Н. Н. Дурново [1924 а; 1924 б], который выделял у существительных четыре рода в единственном числе (мужской одушевленный, мужской неодушевленный, женский и средний) и два во множественном (одушевленный и неодушевленный).

Второй (после «синтаксичности») важнейший принцип структуры грамматического рода О. Г. Ревзина видит в том, что «род есть суперкатегория» [Ревзина 1976: 7], он охватывает более чем одну часть речи. Причем между родом существительного и родом прилагательного «имеется отношение интердепенденции» [там же]. В плане содержания дефектным является род прилагательного, а в плане выражения — род существительного (вследствие неоднозначности его морфологических показателей). Род существительного является классифицирующей категорией (относится к слову), а род прилагательного (и других согласуемых в роде слов) — словоизменительной категорией (относится к словоформе).

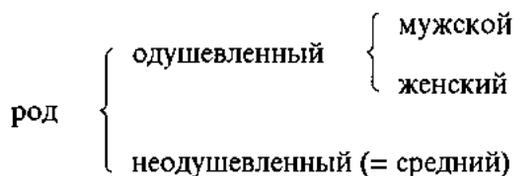
Классифицирующая функция грамматического рода

Одной из основных функций рода как грамматической категории является классифицирующая, т. е. язык с помощью рода различает объекты (денотаты), зафиксированные в структуре этого языка. Об этом же свидетельствует и этимология слова *род* (лат. *genus*, греч. γένος), восходящая к понятию 'класс' или 'тип'. Во многих языках грамматическая категория рода связана с оппозицией мужской—женский. К этой группе можно отнести большинство романских, а также некоторые германские языки. В других языках к этой оппозиции присоединяется еще один член — средний род (например, русский, немецкий языки). Все это свидетельствует прежде всего о том, что грамматическая категория рода не является, вопреки мнению некоторых исследователей, отражением экстралингвистической оппозиции по естественному полу.

Не являются убедительными в этой связи и данные индоевропейской реконструкции, не содержащие подтверждения экстралингвистической мотивированности категории рода. И хотя, как указывал А. В. Исаченко, «своими корнями родовые формы языков индоевропейской языковой семьи уходят в глубокую древность, мы пока лишены возможности восстановить условия, при которых те или иные имена существительные зачислялись в одну из родовых категорий... С точки зрения современного языка грамматический род существительных, не означающих живые существа, лишен какого-либо конкретного содержания: это чисто формальный разряд, немотивированный языковым мышлением» [Исаченко 1965: 50–51].

Лингвистические оппозиции грамматической категории рода связаны не только с классификационной функцией, но и с языковыми средствами выражения этой категории, т. е. с формой. Иными словами, грамматическая категория рода — это согласо-

вательная лингвистическая категория. Причем последняя функция с лингвистической точки зрения более важная и значимая, чем классифицирующая. Об этом же свидетельствует и материал конкретных языков. И действительно, во всех родовых оппозициях оппозиция, как бы отражающая противопоставление по естественному полу (мужской—женский), во-первых, далеко не всегда непосредственно соотносится с внеязыковой реальностью, и, во-вторых, далеко не во всех случаях является единственной родовой оппозицией в языке. Так, оппозиция по естественному полу является далеко не единственной в грамматической категории рода в языках индоевропейской семьи. Здесь основными оппозициями, которые используются для различения грамматического рода, являются помимо оппозиций мужской—женский, оппозиции одушевленный—неодушевленный и личный—неличный. Оппозиции одушевленный—неодушевленный, личный—неличный во многих языках стремятся совпасть, и во многих случаях им удается образовать одну оппозицию. Поэтому наиболее важными следует считать оппозиции мужской—женский и одушевленный—неодушевленный. Такая ситуация применительно к индоевропейским языкам представлена в следующей схеме А. Мейе [1921a], отражающей историческое развитие категории рода:



Таким образом, в общеиндоевропейском оппозиция одушевленный—неодушевленный представляется определяющей, в то время как оппозиция мужской—женский выступает в качестве дополнительной (зависимой) относительно первой.

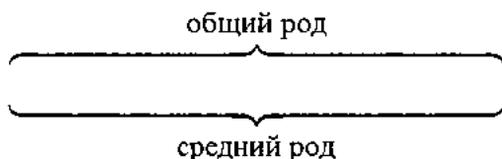
По мере развития индоевропейского языка ситуация меняется: оппозиция по одушевленности—неодушевленности исчезает, а оппозиция мужской—женский—средний становится домини-

рующей. В романских языках средний род исчез и, как и во многих других языках (кельтские, балтийские, албанский), старая индоевропейская система перестраивается в новую с двумя родами, мужским и женским. В некоторых славянских языках разделение на одушевленный—неодушевленный роды развилось вновь позже на почве уже этих языков. В этих языках оппозиция по одушевленности—неодушевленности, или в некоторых частных случаях (как, например, в болгарском и македонском) по личности—неличности, представлена либо внутри мужского рода, либо во множественном числе в зависимости от особенностей, меняющихся от одного языка к другому. В некоторых языках (польский и лужицкие) оппозиции одушевленность—неодушевленность и личность—неличность выделяются как раздельно, так и в комбинированной форме [Ельмслев 1956].

Создается впечатление, что индоевропейские языки за исключением славянских утратили первоначальную оппозицию одушевленности—неодушевленности, в то время как оппозиция мужской—женской сохранилась почти везде, хотя и в несколько измененной форме. В действительности же эта оппозиция создает возможность развития системы с четырьмя родами. В таких системах средний род может противопоставляться как мужскому, так и женскому. В некоторых языках (например, датский) есть еще и общий род, который в зависимости от условий употребления выступает и как мужской и как женский род одновременно.

Таким образом, возможны три следующих варианта системы родов:

- 1) Схема для языков с четырьмя родами:



отдельных языках такие классификации могут достигать шестидцати ¹⁰.

В противовес такой расточительности в тюркских и угрофинских языках грамматическая категория рода совсем отсутствует, даже в личных местоимениях.

В языках семьи алгонкин (американские индейцы) нет разделения на мужской и женский роды, но различается одушевленность—неодушевленность, и в некоторых случаях можно усмотреть разделение на личность—неличность (точнее, человеческий—нечеловеческий).

Все семитские языки имеют оппозицию мужской—женский и обладают феноменом «поляризованности», согласно которой некоторые существительные мужского рода в единственном числе переходят в женский род во множественном числе.

Грамматический род — категория широко распространенная в языках мира — существует, во-первых, для согласования, и, уже во-вторых, служит классификационным целям. И все же возникает вопрос, каковы «внешние» функции грамматических родов? И прежде всего как связаны в нашем мышлении и опыте лингвистические роды с реальностью? Во всяком случае видно, что способ, посредством которого язык вырабатывает именно такие, а не другие черты, уместные для систематизации категории рода, ставит перед необходимостью отделить нашу классификацию от реальности и допускает эксперимент. Рассматриваемый под таким углом зрения язык не остается нейтральным в отноше-

¹⁰ Феномен согласовательного (именного) класса может быть очень четким. В суахили (семья банту), который располагает шестью именными классами (родами), классный показатель существительного определяет не только формы единственного и множественного чисел, но также еще и окончания глаголов, прилагательных и всех модификаторов, в том числе и префиксов для согласования с подлежащим. Причем согласование по роду (именному классу) распространяется практически на все члены предложения, и родовая маркированность становится особенно избыточной.

нии рода. Языковая структура влияет на символическую и познавательную систему предмета, о котором здесь говорится, поскольку роды пытаются представить как естественные категории, к которым приводит реальный опыт. Но до каких пределов простирается «естественная» мотивированность грамматических родов и какова связь, соединяющая категории языка с реальным опытом жизни?

Многие лингвисты считают род категорией явно грамматической или, скорее, грамматикализованной, возникшей по чисто лингвистическим причинам. Можно говорить о чисто механической категории, цель и смысл которой заключается лишь в простых средствах согласования. В такой перспективе род предстает семантически немотивированным, совершенно произвольным и свободным от какого-либо значения, поддающегося какой-либо объективной проверке.

Как было показано Л. Ельмслевом [1956], в действительности в некоторых языках (например, в языках северо-западно-кавказских, где система именных классов уникально определяется функцией грамматического согласования) категория рода представляется семантически немотивированной, в других же языках ситуация противоположная. Именные классы в языках банту, например, связаны с непосредственным общением с окружающим миром и приводят к довольно конкретной классификации называемых объектов. Все это наводит на мысль о существовании своеобразной шкалы, идущей от полюса абсолютной немотивированности к полюсу полной семантической определенности. Но в смысле теории вопрос о категории рода представляется намного глубже, так как в конечном счете с лингвистической точки зрения он сводится к «различению семантической субстанции морфем» [Ельмслев 1956: 116]. Ибо если приписать морфемам семантическую базу, отрицая существование чисто синтаксических операторов, лишенных значения, то необходимо в этом случае допустить существование семантической субстанции, не поддающейся эмпирической проверке. Это положение имеет особую цен-

ность для целей настоящего исследования. Поставить проблему различения полов в языке равносильно постановке вопроса о существовании «скрытых» семантических категорий, которые не проявляются обязательно на уровне поверхностных языковых форм. Очевидно, допускать существование скрытой (глубинной) семантики, объективно не проявляемой в лексике, значит создавать проблемы и в конечном итоге оказаться под угрозой обвинения в «иррациональности». С другой стороны, как полагает Л. Ельмслев, «необходимо раз и навсегда покончить с иллюзией, будто имеются семантические факты, данные нам в непосредственном наблюдении и будто бы участие разума исследователя не оставляет в них следа» [там же: 117].

На эту же особенность обращал внимание и П. С. Кузнецов. Он подчеркивал, что «основанием для разделения существительных на классы является согласование по классу с существительными различных зависящих от них в синтагме слов. Если бы согласования не было, различные префиксы (в суахили — *А.Ш.*) играли только словообразовательную роль, <...> и никакого бы разделения на классы не было бы (если не считать классами совокупность слов, объединенных одним словообразовательным аффиксом). Количество классов определяется количеством различных совокупностей формальных средств согласования <...> у всех зависимых от существительных слов — прилагательных, числительных, притяжательных местоимений, притяжательных частиц, глаголов» [Кузнецов 1965: 5].

Если мы рассмотрим признаки, из которых складываются рассматриваемые грамматические категории в индоевропейских языках (женский—мужской—средний, одушевленный—неодушевленный, личный—неличный), то сможем выделить некоторые семантические оппозиции по следующим свойствам: сначала различие между полами, потом противопоставление между наделенными жизнью и безжизненными и, наконец, различие человека и окружающей его реальности, т. е. разделение на культуру и природу. Эти фундаментальные смыслы определены антрополо-

гами как структуры, несущие смысл, как базовые семантические оппозиции, на которых формируются категории, обосновывающие опыт. Возможно, именно на этом примере можно показать связь категорий чисто семантических, понятийных и грамматических в виде следующих оппозиций:

$$\frac{\text{мужской}}{\text{женский}} \approx \frac{\text{мужчина}}{\text{женщина}}; \quad \frac{\text{одушевленный}}{\text{неодушевленный}} \approx \frac{\text{наделенный жизнью}}{\text{лишенный жизни}};$$

$$\frac{\text{человеческий}}{\text{нечеловеческий}} \approx \frac{\text{культура}}{\text{природа}}.$$

Здесь возможно следующее возражение: есть языки, где таких категорий нет, и поэтому универсальность этих оппозиций может быть поставлена под сомнение. И действительно, «логика классификации» в различных языках различна. В любом случае кажется, что существует отношение между категориями языка и действительностью, даже если степень такого соответствия меняется от языка к языку. Так, например, в языке суахили (семья банту), располагающем системой именных классов (т. е. родов), сильно отличающейся от индоевропейских, все существительные разбиты на шесть классов с регулярностью, которой нет в нашей (индоевропейской) системе. Почти все имена, которые обозначают одушевленные существа, принадлежат к первому классу, неодушевленные предметы — ко второму классу, деревья и растения — к третьему, животные — к четвертому, абстрактные имена существительные — к пятому и т. д. По-видимому, отражение в языке различий по естественному полу (мужскому и женскому) не является универсальной чертой всех языков, хотя и очень распространено. В истории развития индоевропейских языков не было такой стадии, когда бы это различие отсутствовало. Во всяком случае, об этом свидетельствует история языков, принадлежащих к этой языковой семье и обладающих категорией рода, от германских до славянских, романских, индо-иранских, греческого, кельтских и т. д. Вопрос о том, почему эта оппозиция, не будучи

универсальной, так распространена, требует глубоких размышлений. Во всяком случае, речь идет о том, как объяснить тот факт, каким образом грамматическая категория рода связана с аналогичной оппозицией на семантическом уровне, и как семантическая оппозиция, в свою очередь, соотносится с естественным различием полов, т. е. с экстралингвистической оппозицией мужчина–женщина. Видно, что эта оппозиция представлена на различных уровнях: грамматическом, семантическом и «естественном», (т. е. экстралингвистическом), которые связаны между собой, но не эквивалентны друг другу. Проблема здесь, прежде всего, сводится к тому, что язык стремится отразить в своей структуре оппозицию объективной реальности, существующую независимо от языка. В качестве средства и механизма избирается символическая семантика. Таким образом, в языке маркируется оппозиция, денотативное значение которой естественной оппозицией уже обозначено.

Начнем по порядку. Это положение слишком спорно, и мало лингвистов согласятся с этой точкой зрения. Сформулируем ее еще раз. Отображение различия полов в языке через систему родов призвано обозначать некоторым образом различие, в котором отразились наше восприятие и оценка реальности, влияющие на наше видение мира. Нет никаких сомнений, что род как грамматическая категория воспринимается как отражение естественного порядка вещей. Таким образом, мы от слов, относящихся к категории либо «мужской», либо «женский», переходим как бы к объектам, ими обозначенным. Спорность этого вопроса касается еще и причинно-следственных явлений. И действительно, что является первичным: то ли семантическая категория языка мотивирована экстралингвистической оппозицией «мужской–женский», или же мы выделяем эту категорию в объективной действительности потому, что она нам задана априорно в структуре языка. Как может показаться, данная задача не имеет решения. Если, к примеру, задаваться вопросом, как представлена в структуре языка разница полов и каковы феномены проявления этих разли-

чий, то мы, естественно, из грамматики перейдем в область лексической семантики и проблема мотивированности примет характер замкнутого круга, так что решить данную проблему, оставаясь при этом на лингвистической почве, не представляется возможным. Если же речь идет о грамматической категории рода, то здесь важно установить диахронически гипотетическое происхождение связи (если она в действительности существует) между грамматической категорией рода и внеязыковой реальностью.

Род как лингвистическая категория

Грамматическая категория рода как любая другая лингвистическая категория, обладая знаковой природой, наделена следующими свойствами: семантикой, синтактикой и прагматикой. Поэтому чисто лингвистическое описание этой категории предполагает в той или иной мере характеристику указанных аспектов. Кроме того, лингвистическое описание, будь то чисто синхронное или историческое исследование, с необходимостью предполагает учет соотношения формы и значения. Очевидно, что здесь исследователь сталкивается с принципом «асимметрического дуализма языкового знака» (по С. О. Карцевскому), в соответствии с которым отсутствие изоморфизма между единицами плана выражения и плана содержания (значения, смысла) предполагает возможность соответствия одной единицы плана выражения нескольким единицами плана содержания и наоборот — одной единице плана содержания может соответствовать несколько единиц плана выражения. Это положение имеет принципиальное значение не только на синхронном уровне, но и в диахронии, потому что изменение как в плане содержания, так и в форме влечет за собой с неизбежностью соответствующие изменения значения и наоборот. Следует, кроме того, иметь в виду, что грамматический род — категория комплексная, образующая как прави-

ло многомерные оппозиции, изменения которых вызывает множественные изменения в обоих планах.

Но вернемся к знаковым характеристикам лингвистических форм грамматического рода. Итак, во-первых, род как лингвистическое, и значит знаковое, явление предполагает наличие соответствующей формы. В языке — это морфологические формы, выражающие грамматический род, или имеющие значение рода ¹¹.

Во-вторых, грамматические формы связаны с соответствующими грамматическими значениями. Система этих значений образует семантику (в смысле Ч. Морриса) грамматического рода. Как уже было показано выше, в систему грамматических значений, образующих семантику грамматической категории рода, помимо чисто родовых значений (мужской, женский, средний) входят (по крайней мере в индоевропейских языках) еще и значения одушевленности—неодушевленности, лица—нелица. Таким образом, граммема (элементарное далее неделимое грамматическое значение) — это сущности, входящие в состав означаемых грамматических знаков языка (в нашем случае грамматических форм рода), и составляющие часть означаемого знака, т. е. грамматическая форма может соответствовать нескольким граммемам или их сочетаниям. Вообще говоря, вопрос о соотношении грамматического значения и языковых средств его выражения применительно к категории рода и особенно в исторической ретроспективе приобретает особую сложность в связи с отсутствием в русском и других славянских и шире — индоевропейских языках специфических средств его выражения ¹². Материальным носителем категории рода являются обычные флексии существи-

¹¹ В некоторых языках сказанное соответствует грамматической категории именного класса.

¹² Имеются в виду, естественно, лишь словоизменятельные формы, а не словообразовательные форманты.

тельного. И поэтому категория рода является очень важной для формирования грамматического своеобразия имени существительного, являясь наиболее характерным его признаком. Она образует как бы «каркас» всей системы словоизменения имен существительных, что выражается в противопоставлении женского и неженского склонений. Оппозиция относительно категории рода характерна для парадигмы единственного числа. Во множественном числе данное противопоставление нейтрализуется, в чем выражается тенденция к противопоставлению парадигм единственного и множественного числа. Связь категории рода имени существительного с категориями числа и падежа проявляется также в том, что их грамматические значения выражаются одной системой флексий. Вместе с тем некоторые флексии являются показателями определенного грамматического рода. Например, флексия *-у* служит показателем существительных мужского рода, противопоставляя их в родительном и предложном падежах существительным среднего и женского родов: *песк-у*, но: *окн-а*, *гор-ы*; *в снег-у*, но: *на окн-е*, *в изб-е*. Поскольку в горизонтальном ряду парадигм флексии *у* существительных, принадлежащих к разному грамматическому роду, могут совпадать, оппозиция относительно категории рода выражается всей системой флексий. Противопоставление относительно категории рода выражается и синтаксически — флексиями согласуемых с существительными изменяемых частей речи (атрибутивная и предикативная синтагмы).

В-третьих, синтактика категории рода определяет правила сочетаемости с другими грамматическими категориями. Иными словами, существительное того или иного рода в предикативной синтагме обуславливает соответствующую форму рода у предиката (управление), а в составе атрибутивной синтагмы определяет «родовую» форму определения.

Правила сочетаемости относительно грамматической категории рода в общем виде можно представить в следующем виде [Хомский 1965, Ибрагим 1973: 98–99]:

$$G \rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} / + N \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$

Здесь существительное с маркером *a* принадлежит роду *x*, а существительное с маркером *b* принадлежит роду *y* и т. д.

Такой же тип правила применим и к языкам, где категории грамматического рода типологически соответствуют категориям именного класса. Грамматика языка суахили, например, включает следующее правило:

$$C \rightarrow \begin{bmatrix} un \\ u \\ k \\ li \\ \dots \\ \dots \end{bmatrix} / \rightarrow + N \begin{bmatrix} [+ \text{ одушвл.}] \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ \dots \\ \dots \end{bmatrix}$$

Здесь префикс именного класса (C) «одушевленные» — *un* для существительных второго класса — префикс *u* и т. д.

Систему родовых оппозиций можно представить как бинарную оппозицию женский род — неженский, в которой мужской род выступает как дважды немаркированный. Немаркированность последнего наиболее ярко выражается у личных имен типа *врач, инженер*, которые могут обозначать лиц обоего пола.

Женский род — «сильный, подчеркнутый, наиболее четко оформленный из родовых классов» [Виноградов 1972: 65].

Выдающийся вклад в разработку функциональной концепции категории грамматического рода был сделан Р. О. Якобсоном. В статье «Нулевой знак» [Якобсон 1939] он определяет женский род как маркированный по отношению к мужскому роду, не определяя места для среднего рода, в то время как в более ранней

работе [Якобсон 1932] именно средний род трактовался в качестве обозначающего отсутствие связи с полом, и рассматривался Р. О. Якобсоном как маркированный член в оппозиции с мужским и женским родами в целом.

Грамматическая категория рода — тема, к которой Р. О. Якобсон обращался неоднократно. Помимо более или менее кратких замечаний, разбросанных в различных работах, этой проблеме посвящено две небольшие статьи («The Gender Pattern of Russian» [1960] и «On the Rumanian Neuter» [1962]). Обобщающего же исследования так и не было написано. Особенностью подхода Р. О. Якобсона к проблеме грамматического рода является то, что род рассматривается в терминах теории маркированности (признака), первоначально разработанного Якобсоном применительно к фонологии, и лишь потом подвергнувшегося широкому семиотическому обобщению и перенесенному на другие уровни языка и, в частности, в морфологию.

Поскольку сама якобсоновская теория маркированности уточнялась и разрабатывалась на протяжении многих лет (практически с конца двадцатых годов), а в зависимости от этого менялись и представления о роде, имеет смысл подробнее остановиться на эволюции представлений о роде у Р. О. Якобсона.

В русском языке персонификация подсказывает оппозицию женский род — с одной стороны, мужской и средний роды — с другой. Р. О. Якобсон [1932: 9–10] считает, что средний род в качестве обозначающего отсутствие связи с полом является маркированным членом оппозиции, противопоставленным мужскому и женскому родам в целом. Что же касается немаркированного члена, то женский род, выражающий связь с женским полом, противопоставляется мужскому роду, который ничего подобного не выражает. Для доказательства этой корреляции Р. О. Якобсон не представил ни одного примера. Несколько лет спустя Р. О. Якобсон [1939: 212] ставит маркированный женский род в оппозицию с мужским родом, не определяя точного места для среднего рода, хотя он и использует выражение «не средний»,

подсказывающее, что средний род маркирован относительно мужского рода. Интересно, что при этом он намекает на персонификацию объектов только женского рода, так как не решился объединить мужской и средний роды в один класс.

В статье «Shifters, Verbal Categories and the Russian Verb» Р. О. Якобсон [1957: 130] предлагает различать два типа грамматического рода — субъектный и несубъектный. Субъектный род противопоставляется среднему роду как маркированный немаркированному. Внутри же субъектного рода есть подразделение на женский (указывающий на то, что субъект действия не мужчина) и женский (не уточняющий пола): *Вошел врач, женщина лет сорока*.

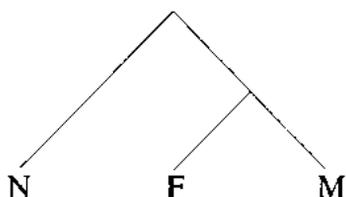
В докладе на V Международном съезде славистов Р. О. Якобсон [1958: 161] вновь возвращается к классификации 1939 года, предлагая противопоставлять женский род неженскому (мужскому и среднему), уточняя при этом, что различие между женским и неженским родами имеет место во всей парадигме единственного числа, а мужской и средний род противопоставляются друг другу только в позиции именительного падежа единственного числа.

Здесь важно иметь в виду то различие, которое существует в выражении грамматической категории рода у частей речи, изменяющихся по категории рода (прилагательные и анафорические местоимения) и именами существительными, не изменяющимися относительно рода. И если первые характеризуются полной коррелированностью между родом и типом склонения (т. е. женский род изменяется по женскому типу склонения, мужской и средний — по соответствующим), то вторые не обладают свойством такого соответствия. И действительно, существительные женского рода и среднего изменяются по соответствующим парадигмам, а существительные мужского рода склоняются по парадигмам женского или среднего рода. Кроме того, суффиксальные производные от существительных мужского рода с экспрессивным значением (типа *домшико, домщице, домшина*) изменяются по парадигме

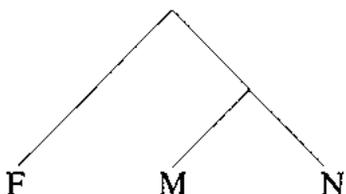
женского, либо среднего рода, сохраняя при этом ассоциативную связь с мужским родом.

В связи с этим можно противопоставить женский род неженскому. Иными словами, женский род как маркированная форма противопоставляется единству немаркированных форм — мужскому и среднему родам, причем иерархия внутри этого объединения остается неясной.

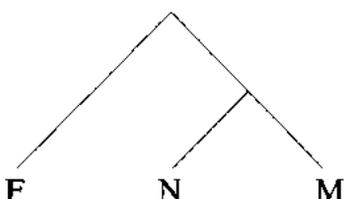
Схематично это изображается следующим образом. Здесь маркированные формы располагаются левее немаркированных:



[Якобсон 1932];



[Якобсон 1957];



[Якобсон 1939; 1957; 1958].

Приведенные схемы показывают, как менялась точка зрения Р. О. Якобсона в период между 1921 и 1958 гг. Но прежде чем подробнее охарактеризовать точку зрения Р. О. Якобсона в окончательном виде, необходимо кратко остановиться на некоторых особенностях, оставшихся незамеченными в трех работах.

Так, с одной стороны, все три рода везде разбиваются на две бинарные оппозиции, с другой стороны, женский род всегда маркирован по отношению к мужскому роду. Первая особенность, проходящая через все научное творчество Р. О. Jakobsona, носит методологический и концептуальный характер. Этот принцип восходит к идеологии Пражского лингвистического кружка (пражского функционализма) и, в частности, к концепции Н. С. Трубецкого¹³. И, действительно, оппозиция — краеугольный камень всей концепции Р. О. Jakobsona. Другая особенность — эмпирическая, т. к. все пункты этого положения вытекают из анализа конкретного материала и поэтому всякий раз иллюстрируются примерами. И если в общем виде следует согласиться с ученым в том, что один из членов оппозиции целесооб-

¹³ В письме к Р. О. Jakobsonу Н. С. Трубецкой писал: «В отношении рода <...> дает наиболее рудиментарное противопоставление женский : неженский, проведенное по всем падежам <...>. Эти рудиментарные противопоставления у других склоняемых слов могут разлагаться на дальнейшие противопоставления: «неженский род» — на мужской и средний, «общий прямой падеж» — на целых четыре падежа. Но не все эти вторичные противопоставления существуют одновременно в одной и той же парадигме. Так, например, нормальные местоимения и прилагательные представляют в единственном числе такую картину:

падежи \ роды		неженский		женский
		мужской	средний	
прямые	имен.	тот	то	та
	вин.			ту
косвенные	род.	того		той
	дат.	тому		
	предл.	том		
	твор.	тем		

[Трубецкой 1975: 266–267]. В цитате сохранена орфография оригинала.

разно считать маркированным, то конкретная интерпретация материала не всегда ясна. В самом деле, почему мужской род образует оппозицию с женским родом в двух первых системах и со средним родом в третьей? Можно думать, что причина в том, что имена мужского и среднего рода в современном русском языке изменяются по одинаковым парадигмам (различаясь лишь в именительном падеже), а для одушевленных существительных мужского рода отличается и винительный падеж. Русское склонение, таким образом, позволяет утверждать, что мужской и средний род противопоставляются женскому роду. Кроме того, в системе глагола родовые окончания противопоставляются друг другу только в именительном падеже, что, впрочем, можно свести к категории одушевленности—неодушевленности. Как видно, интерпретация меняется в зависимости от того, идет ли речь о парадигме существительного или глагола, а фактически — по мере того, говорится ли только об именительном падеже или обо всей системе склонения.

Позднее Р. О. Якобсон [1960: 185–186] признал схему 1932 г. ошибочной и предложил считать имена среднего рода маркированной категорией в системе склоняемых форм и категорией немаркированной в системе несклоняемых форм. В данном случае речь идет прежде всего о кратких прилагательных, употребляемых в предикативной функции и о формах прошедшего времени глагола. Эти положения новой концепции отражены в схемах 1957 г. (несклоняемые формы) и 1939 — 57–58 гг. (склоняемые формы) ¹⁴.

¹⁴ В соответствии с комментарием Л. Во [Во 1976: 98] Якобсон говорит о среднем роде как о маркированном [+ не относящийся к одушевленному существительному] и немаркированном в формах прошедшего времени [ø субъект], что соответствует схемам 1932 и 1957 гг. Есть несколько примеров одушевленных существительных среднего рода: *существо, животное, насекомое, млекопитающее, чудовище*, — о которых Р. О. Якобсон [1936: 43] говорит, что два первых выражают одушевленный характер ре-

В системе имени существительного женский род маркирован и противопоставляется неженскому, немаркированному. Имена существительные неженского рода разделяются, в свою очередь, на две группы — маркированный средний род, указывающий на отсутствие разделения по признаку пола, и дважды маркированный мужской род, который не выражает ни небезотнoсительный по отношению к полу характер обозначаемого объекта, ни, в противоположность женскому роду, «неженскость» референта. Примеры: *стол* (м. р.); *товарищ* (м. р.); *Иванова* (ж. р.) — *старший* (м. р.), *врач* (м. р.).

Чтобы подтвердить немаркированный характер среднего рода в глагольной системе, необходимо упомянуть о том, что мужской и женский род указывают на подлежащее того же рода, тогда как средний род может соответствовать либо подлежащему среднего рода, либо отсутствию подлежащего (например, *было темно, народу пришло* и т. п.).

Следует отметить, что Р. О. Jakobson, не идя дальше упоминания об обратимости оппозиции «маркированность–немаркированность» [Холенштейн 1975: 159–160; Во 1976: 98], осторожно указывает лишь на перестановку (shift) в дистрибуции двух форм. Такие перестановки часты. Jakobson пытается найти обоснование маркированности форм рода в формальном (фонетическом) облике падежных форм.

Л. Ельмслев [1956: 170] сделал замечание о том, что первоначальная схема Р. О. Jakobsona 1932 г. (кстати, единственная, с

ферента прямо самой основой. Относительно трех других существительных Р. О. Jakobson [1960: 184] указывает, что средний род выражает отсутствие разделения по признаку естественного пола. Эти недифференцированные по признаку пола существительные суть либо неодушевленные, либо просто указывают на большие группы одушевленных существ. Сюда же можно отнести и существительное *подмастерье*, которое вопреки морфологическому облику обозначает референта мужского пола.

которой мог познакомиться Л. Ельмслев во время написания своей работы), в действительности была переделанной схемой А. Мейе. Изменения, внесенные Р. О. Якобсоном, были связаны с введением принципа маркированности. А. Мейе [1921: 211–212 и др.] утверждал, что в индоевропейском языке существовало противопоставление мужского и женского рода (как родов одушевленных) среднему роду (как роду неодушевленному). Некоторые исторические индоевропейские языки сохранили отдельные черты этого деления. Так, женская флексия в лат. *māter* идентична мужской флексии в слове *pater*; женская флексия в слове *fāgus* (бук) идентична мужской флексии в слове *lupus* (волк). Вначале не было для существительных женского рода видов склонения (лат. *gosa*), противопоставленных мужским склонениям (лат. *dominus*), и мужской и женский род существительных распознавался только по форме их детерминативов (определителей). Типологически близкая ситуация наблюдается в английском языке, где род существительных не имеет особой формы (т. е. категория грамматического рода практически отсутствует) и распознается лишь по личным местоимениям в анафорическом употреблении — *he* для слов мужского рода и *she* для слов женского рода, *it* — для слов среднего рода.

В прилагательных, которые только и позволяли отличать мужской род от среднего (ср. греч. ἵπλος «лошадь» и «кобыла»), разница была не во флексии, но в основе, и со времени индоевропейской эпохи мужской род и средний род не различались. Женский род появлялся в целом как форма, образованная от мужского рода. Таким образом, двусмысленность родовых оппозиций проявляется изначально. А. Мейе ставил акценты на «сублогический» характер системы родов [Ельмслев 1956: 170], что позволяло, по его мнению, не различать первоначально категорию одушевленности–неодушевленности. Но если обратить внимание на морфологические формы выражения рода, то тогда видно, что средний род совпадает (или в отдельных случаях приближается) к мужскому роду, когда они противопоставляются женскому роду.

С этой точки зрения русская система не многим отличается от латинской ¹⁵.

В исследовании А. Мейе содержится, кроме того, объяснение употребления форм одушевленного рода (мужского и женского) по отношению к фактически неодушевленным референтам (*вода, огонь, деревья, светила, сон, лень, ночь* и др.). Вопрос же о совпадениях форм мужского и среднего рода не ставится ¹⁶.

В некоторых языках оппозиции по роду реализуются по-разному в единственном и множественном числе. Одна из таких систем описана Р. О. Якобсоном [1962: 187–189] на польском материале. Так, в польском языке у существительных мужского рода в единственном числе различаются два подрода — класс предметов (неодушевленные и абстрактные) противопоставляются всем другим существительным. Такое подразделение проявляется в омонимической форме винительного и именительного падежей единственного числа для первого класса и винительного и родительного падежей для второго класса:

(1) *Widzę dom* [A = N];

(2) *Widzę brata, kota* [A = G].

Во множественном числе разделение родов двух указанных видов не подчиняется этому правилу: во множественном числе имена лиц противопоставляются всем другим (одушевленным и

¹⁵ В русском языке нет слов женского рода, которые склоняются по типу слов мужского рода, в то время как в латинском есть определенное число слов женского рода (например, *fāgus*), которые склоняются по типу слов мужского рода (*dominus*), но если абстрагироваться от незначительного числа противоречащих примеров, общая схема остается прежней или, во всяком случае, близкой.

¹⁶ Среди многочисленных примеров отношений индоевропейского рода и мифологии, приводимых А. Мейе [1921: 221], есть только один, связанный с обозначением имени божества (скорее бога, чем богини) солнца в Авесте.

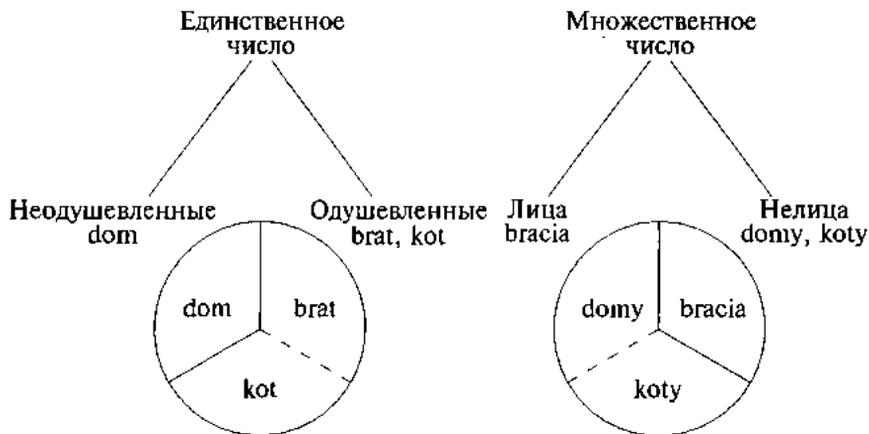
неодушевленным) существительным. Позицией различения (релевантности) форм этих двух типов служат винительный–родительный падеж (для лиц) и винительный–именительный (для нелиц):

(3) *Widzę domy, koty* [A = N];

(4) *Widzę braci* [A = G].

Польский язык, таким образом, располагает двумя родовыми оппозициями в рамках только мужского рода: в единственном числе — одушевленные–неодушевленные существительные (причем, маркированы неодушевленные существительные), во множественном числе — лица–нелица (здесь маркированы лица).

Схематически это можно изобразить в виде следующих хем, где маркированный член оппозиции помещен слева:



В единственном числе граница между классом *brat* и классом *kot* изображена в виде пунктирной линии, это в какой-то степени искусственная граница, если смотреть на нее с точки зрения склонения. Во множественном числе граница между классами *domy* и *koty* тоже условна.

Таким образом, мы попытались показать, что среди существующих точек зрения на лингвистическую природу граммати-

ческой категории рода наиболее убедительной и отвечающей языковой реальности является та, согласно которой род — это прежде всего грамматикализованная согласовательная категория, разделяющая всю именную лексику языка на классы (роды), отличающиеся друг от друга не своей семантикой, а грамматически выраженным способом синтаксического соединения с зависимыми словами. Такой подход является единственно приемлемым для функционального описания категории рода в связи с прочими именными категориями. Многочисленные же попытки дать категории грамматического рода семантическую мотивацию не были успешными, т. к. группа существительных (именной класс или род) объединена единым грамматически выраженным способом согласования с зависимыми словами, а не общей семантикой. Такая группа, как правило, не является семантически однородной, появляются многочисленные исключения. Все это еще раз подчеркивает чисто грамматический статус этой категории, не мотивированный никакими внешними реалиями (в том числе и естественным полом).

ЛИТЕРАТУРА

- Аксаков 1880 — Аксаков К. С. Опыт русской грамматики // Полн. собр. соч. М., 1880. Т. III. Ч. II.
- АТЯС 1936 — Античные теории языка и стиля / Под общ. ред. О. М. Фрейденберг. М.; Л., 1936.
- Ахманова 1969 — Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М., 1969.
- Бодуэн де Куртене 1900 — Бодуэн де Куртене И. А. Лингвистические заметки: О связи грамматического рода с мирозерцанием и настроением людей // Журнал министерства народного просвещения. 1900. № 10.
- Бондарко 1976 — Бондарко А. В. Теория морфологической категории. Л., 1976.
- Бругманн 1897 — Brugmann K. The Nature and origin of the noun gender in the Indo-European languages: A lecture delivered on the occasion of the sesquicentennial celebration of Princeton University. New York, 1897.

- Буслав 1959 — Буслаев Ф. И. Историческая грамматика русского языка. М., 1959.
- Вандриес 1937 — Вандриес Ж. Язык. М., 1937.
- Виноградов 1972 — Виноградов В. В. Русский язык: (Грамматическое учение о слове). Изд. 2-е. М., 1972.
- Во 1976 — Waugh L. Roman Jakobson's Science of Language. Lisse, 1976.
- Востоков 1831 — Востоков А. Русская грамматика. СПб., 1831.
- Гаспаров, Сигалов 1974 — Гаспаров Б. М., Сигалов П. С. Сравнительная грамматика славянских языков. Тарту, 1974.
- Гвоздев 1973 — Гвоздев А. Н. Современный русский литературный язык. М., 1973. Часть I.
- Грамматика 1980 — Русская грамматика. М., 1980. Т. I.
- Греч 1834 — Греч Н. Практическая русская грамматика. СПб., 1834.
- Докулил 1967 — Докулил М. К вопросу о грамматической категории // Вопр. языкознания. 1967. № 6.
- Дурново 1924 — Дурново Н. Н. Грамматический словарь: (Грамматические и лингвистические термины). М.; П., 1924.
- Дурново 1924a — Dournovo N. De la déclinaison en grand-russe littéraire moderne // Revue des études slaves, 1924. 4. 2.
- Дурново 1924b — Dournovo N. La catégorie du genre en russe moderne // Revue des études slaves. 1924. 4. 3–4.
- Дурново 1969 — Дурново Н. Н. Введение в историю русского языка. М., 1969.
- Ельмслев 1956 — Ельмслев Л. О категориях личности–неличности и одушевленности–неодушевленности // Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972.
- Зализняк 1967 — Зализняк А. А. Русское именное словоизменение. М., 1967.
- Ибрахим 1973 — Ibrahim Muhamed H. Grammatical Gender. The Hague, 1973.
- Исаченко 1965 — Исаченко А. В. Грамматический строй русского языка в сопоставлении со словацким. Морфология. Ч. I. Изд. 2-е. Братислава, 1965.
- Иоффе 1973 — Иоффе В. В. Происхождение и развитие категории рода в праиндоевропейском языке: Автореф. канд. дис. Ростов-на-Дону, 1973.
- Калайдович 1824 — Калайдович И. Ф. Замечания о родах грамматических в языке русском // Сочинения в стихах и прозе. Труды Общества любителей Российской словесности. М., 1824. Ч. V.
- Калайдович 1825 — Калайдович И. Ф. Ответ на критику // Сын отечества. 1825. Ч. 101. № IX. Отд. II.

- Кацнельсон 1972 — Кацнельсон С. Д. Типология языка и речевое мышление. Л., 1972.
- Кобов 1972 — Кобов И. У. Проблема грамматического рода в античной грамматической науке // Античность и современность. М., 1972.
- Кузнецов 1965 — Кузнецов П. С. К вопросу о количестве именных классов в суахили // Африканская филология / Отв. ред. Н. В. Охотина. М., 1965.
- Лайонз 1978 — Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. М., 1978.
- Мартине 1969 — Мартине А. Нейтрализация и синкретизм // Вопр. языкознания. 1969. № 2.
- Марузо 1960 — Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов. М., 1960.
- Мейе 1921 — Meillet A. Linguistique historique et linguistique générale. 1. Paris, 1921.
- Мейе 1921a — Meillet A. La catégorie du genre et les conceptions des Indoeuropéens // Linguistique historique et comparée. 1921.
- Мелик-Оганджян 1966 — Мелик-Оганджян Л. К. Синтаксические и стилистические особенности имен существительных общего рода в современном русском языке // Сборник научных трудов Ереванского политехнического института им. К. Маркса. Сер. Общественные науки. 1966. Т. 24. Вып. I.
- Милославский 1981 — Милославский И. Г. Морфологические категории современного русского языка. М., 1981.
- Младенов 1907 — Младенов С. Промените на граматическия род в славянските езици // Изв. на семинара по славянска филология при Университета в София. София, 1907. Кн. 2.
- Немировский 1938 — Немировский М. Я. Способы обозначения пола в языках мира // Памяти Н. Я. Марра. М.; Л. 1938.
- Павский 1850 — Павский Г. П. Филологические наблюдения над составом русского языка. Изд. 2-е. СПб., 1850. Вып. 1-3.
- Пауль 1937 — Пауль Г. Принципы истории языка. М., 1960.
- Пешковский 1956 — Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. Изд. 7-е. М., 1956.
- Письмо к издателям 1925 — Письмо к издателям // Сын отечества. 1825. Ч. 100. № V.
- Плунгян, Романова 1990 — Плунгян В. А., Романова О. И. Именная классификация: грамматический аспект // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1990. Т. 49. № 3.
- Потебня 1968 — Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. Т. 3. Об изменении значения и заменах существительного. М., 1968.

- Ревзина 1976 — Ревзина О. Г. Основные черты структуры грамматической категории рода // Проблемы морфологии современных славянских и балканских языков. М., 1976.
- Сепир 1934 — Сепир Э. Язык. М.; Л., 1934.
- Томсон 1913 — Томсон А. И. Происхождение форм им. и вин. пл. и грамматического рода в индоевропейском языке // Изв. ОРЯС. 1913. Т. XVII. Кн. 4.
- Тронский 1967 — Тронский И. М. Общинеоевропейское языковое состояние: Вопросы реконструкции. Л., 1967.
- Трубецкой 1975 — N. S. Trubetzkoy's letters and notes. The Hague, 1975 (Janua linguarum: Studia majora, 47).
- Фодор 1959 — Fodor I. The Origin of Grammatical gender // Lingua. 1959. 8. 1; 8. 2.
- Фодор 1963 — Fodor I. La typologie des langues slaves et le genre grammatical // Славянска филология. София, 1963. Т. III.
- Холенштейн 1975 — Holenstein E. Jakobson ou le structuralisme phénoménologique. Paris, 1975.
- Хомский 1965 — Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. М., 1972.
- Якобсон 1921 — Jakobson R. Novejšaja russkaja poezija // SW, V¹.
- Якобсон 1932 — Jakobson R. Zur Struktur des russischen Verbums // SW, II¹⁷.
- Якобсон 1936 — Jakobson R. Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre: Gesamtbedeutungen der russischen Kasus // SW, II¹⁷.
- Якобсон 1939 — Jakobson R. Signe zéro // SW, II¹⁷.
- Якобсон 1957 — Jakobson R. Shifters, Verbal Categories and the Russian Verb // SW, II¹⁷.
- Якобсон 1958 — Якобсон Р. О. Морфологические наблюдения над славянским склонением // SW, II¹⁷.
- Якобсон 1960 — Jakobson R. The Gender Pattern of Russian // SW, II¹⁷.
- Якобсон 1962 — Jakobson R. On the Rumanian Neuter // SW, II¹⁷.

¹ SW, II, V — Jakobson R. Selected Writings, The Hague, 1971. Vol. II, V.

Актуальные проблемы современной
русистики: Диахрония и синхрония.

Подписано в печать 4.10.1995.

Формат 60 х 90/16.

12.1 уч.-изд. л., 17 л. л.

Тираж 1000 экз.

Зак. 1605

ИПО "Лев Толстой"

Тула, ул. Ф. Энгельса, 150

